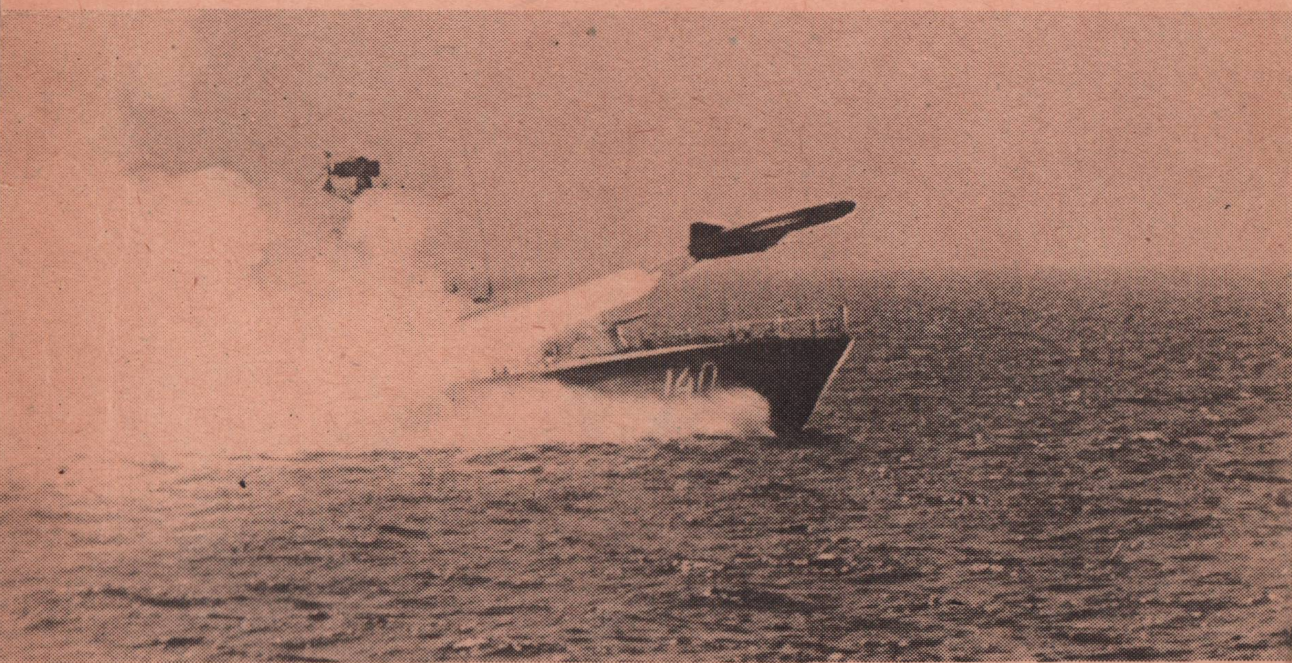


Д
АЛЬНИЙ
В **ОСТОК**

7
1976



Тихоокеанский флот. На учениях

Фото М. Родина



Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ. РСФСР
И ХАБАРОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ГОД ИЗДАНИЯ 43-й

С О Д Е Р Ж А Н И Е

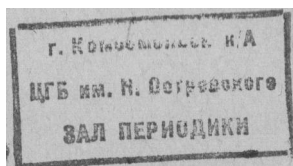
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Александр Романов — ПТЕНЦЫ, «ЗДРАВСТВУЙ, ЮНОСТЬ В ЗАЩИТНОЙ ПИЛОТКЕ...», ВСПОМИНАЯ УЗКОКОЛЕЙКУ, «МОГУЧ НЕОГЛЯДНЫЙ ПРОСТОР...», РОЩА, СПОРТИВНОЕ, «ЭХ, РОБКИЙ МАЛЬЧИК!...», «ТУЧИ НАХЛЫНУЛИ...», МУЖСКАЯ РАДОСТЬ, «КАЛИТКА. ТЕМНАЯ ДОРОЖКА...», стихи	3
Александр Урванцев — «ПРОПАХШИЙ ДО КОСТЕЙ МАХРОЙ...», «В ВЕРХОВЬЯХ КЕРБИ БЬЮТ КЛЮЧИ...», «И ВОТ ТАЙГА...», «КРЫЛЬЦО РЕЗНОЕ, КРАЙ СЕЛА...», СТАРЫЙ АВТОБУС, стихи	6
Михаил Шиханов — СОСЕДИ, повесть	8
Анатолий Максимов — ТРИ РАССКАЗА: ...И ЕЩЕ ДЕНЬ, РАЗВОД, ЗЕМЛЯКИ	52
Михаил Вальгиргин — ХОЗЯИН ТУНДРЫ. ХОРОШО РОДИТЬСЯ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, ПЕСНЯ УЛИЦЫ, СЕРДЦЕ ТОСКУЕТ, «НЕ ЗА СТУЖУ ВЕКОВУЮ...», стихи	62
Вячеслав Сукачев — НА МАЛЕНЬКОМ ЗАБЫТОМ ПОЛУСТАНКЕ, повесть	64

ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

Сергей Мещерский — ПРИЗВАНИЕ ВАЛЕНТИНА ГОРЯИНОВА, очерк	97
Г. И. Щедрин — ЭЛЕКТРИК С «С-55»	106
М. Жилин — НА ОХОТУ... С ФОТОРУЖЬЕМ	112

ИЮЛЬ • 1976



ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

Евгений Сытников — В МИРЕ КАЧЕСТВА 115

ДЕЛА И ЛЮДИ

Николай Улаев — ВРЕМЯ ПОИСКОВ, ОТКРЫТИИ И ТРЕВОГ 121

ЗА РУБЕЖОМ

Д. Попов — СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ В ГОД СВОЕГО
200-ЛЕТИЯ 130

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

И. Михнова — КОГДА ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО 139

Л. Зельцер — НА ПОРОГЕ ЗРЕЛОСТИ 141

Н. Наволочкин — АДРЕСОВАНО ДЕТАМ 143

В. Пушкин — ТРИДЦАТЫЙ ПРАЗДНИК ЖИЗНИ 145

П. Гонтмахер — САХАЛИНСКИЕ ТРОПЫ ШТЕРНБЕРГА 147

С. Владимирский — ТОРЖЕСТВО РОССИЙСКОЙ КОММУНЫ 148

НОВЫЕ КНИГИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 152

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Альфред Прозоров — ВАРЕЖКИ, САНКИ, рассказы 153

КОРОТКО, О РАЗНОМ 157

Главный редактор **Н. М. РОГАЛЬ**

Редакционная коллегия:

**В. Н. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, В. М. ЕФИМЕНКО,
Н. Д. НАВОЛОЧКИН (зам. главного редактора),
В. Е. РОМАНОВ, В. М. САНГИ, П. В. ХАЛОВ.**

Ответственный секретарь **К. С. ОВЕЧКИН**

Рукописи объемом меньше авторского листа не возвращаются.

Технический редактор *Л. А. Польщикова*. Корректор *А. Е. Москвитин*.
Адрес редакции: 680610, г. Хабаровск, Комсомольская ул., 80. Телефон 33-13-68.

Подписано к печати 18/VI 1976 г. ВЛ 07005.
Бумага 70х108/16. 5 б. л., 14 усл. печ. л., 16,19 уч.-изд. л. Тираж 30 000 экз.

Заказ № 476. Цена 50 коп.

Хабаровское книжное издательство, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.
Типография № 1 Краевого управления издательств, полиграфии и книжной торговли,
г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.



«Дальний Восток»,

1976

Александр РОМАНОВ



ПТЕНЦЫ

Я видел:
война в этом поле свое отстучала.
И поле молчало.
Оно за войну одичало.
Косилось
глазницей пустого заросшего дота.
Лоснилось
мазутными пятнами у поворота
разбитой дороги...
Спасибо —
все кончилось нашей Победой в итоге.

Спасибо, что поле,
пока я месил его глину,
меня пожалело,
не сунуло под ноги мину.

В одном из окопов
нашел я пробитую каску с гнездом.
Пичужка, и та,
как могла укрепляла свой дом.

Птенцы притаились.
Военного времени крохи
еще не привыкли
к послевоенной эпохе.

* * *

Здравствуй, юность в защитной пилотке, —
с громкой песней, бровями вразлет!
Не твои ли шинель и обмотки
вмерзли в пасмурный ладожский лед?

Сколько лет протекло-пролетело!..
Современники жизни иной,
«Метеоры» спешат то и дело,
белопенной играя волной.

Мир. Приволье.
Но стоит немного
подождать до восхода луны —
засверкает дорожка-дорога,
ледовитая трасса войны.

ВСПОМИНАЯ УЗКОКОЛЕЙКУ...

Рельсы шли,
серебрились под кронами леса.
Возле шпал
зеленела согретая солнцем трава,
И траву не смущало
такое соседство с прогрессом.
У прогресса тогда
невеликие были права.

Музеи осмотрев,
они и «Незнакомку»
заученно-легко
читают наизусть,

Не уступай!
Поверь,
и ты свой путь проложишь.
Подарен мир тебе.
Но есть всему предел.
Возьми свой мир, возьми,
пока еще ты можешь.
Я — не успел.

* * *

Тучи нахлынули.
Тучи, как черные тени
к теме дождей,
надоедливо-слякотной теме.

Как мне рубля
не хватает порой до получки,
так не хватает и дня
без проклятого ветра и тучки.

Берега мне не хватает,
рыбацкого счастья-покоя
там, где высокий камыш
дружит с глубокой рекою.

Слышал не раз:
если смерть
явится и приголубит —
кто-то потом за меня
доотдохнет. Долюбит.

Я не берусь возражать.
Лишь размышляю негромко:

— А хорошо ль утруждать
лишней заботой потомка?

МУЖСКАЯ РАДОСТЬ

Пивной ларек «Мужская радость».
Назвал же кто-то!
Что влечет
мужчин к нему?..
В нем горечь-сладость
не только по усам течет.

Сосед тшедушный
постепенно
вступает в громкий разговор.
Он рад.
Он вырвался из плена
своих раздумий на простор.

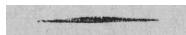
Сдувает пену. Горячится:
возьму свое, мол, погоди!..

Но властен голос продавщицы:
— Закрыта «Радость». Выходи!

* * *

Калитка. Темная дорожка.
Полночный месяц на трубе.
Сквозь щели ставенки
окошко
напоминает о себе.

Шуршанье, вздох...
Береза ль это
Во сне вздохнула не спеша?
А может быть,
вдали от света
с душою шепчется душа?



Александр УРВАНЦЕВ



* * *

Пропахший до костей махрой,
похожий с виду на бродягу,
который день в тайге глухой
живу и никуда ни шагу.

Окончен долгий мой маршрут,
Трепавший до седьмого пота,
и в ожиданье вертолета
домашний грезится уют.

Здесь от тоски хоть волком вой,
зарывшись с головою в спальник,
Здесь под тобою мох сырой,
А над тобой медведь — начальник.

Тажный дом, река, утес
да за окошком дождь для скуки.
Одно веселье — лает пес
и ласково мне лижет руки.

Не с этого ли по утрам
под этот дождик морсящий
трамвайный лязг, и шум, и гам
мне вспоминается все чаще.

Я сотни верст прошел тайгой,
она мила в жару и в стужу.
Но, быт припомнив городской,
Скажу: а чем же дома хуже?..

* * *

В верховьях Керби бьют ключи —
земные нервы,
деревья падают в ночи
в верховьях Керби.

Какая в них гудела мощь
да отгуляла...
Кому сегодня эта ночь
последней стала.

Чья крона больше не звучит,
храня поверья...
Деревья падают в ночи
в верховьях Керби.

И сквозь тяжелую тайгу
От Макалана
несется эхом долгий гул
до Камакана.

Деревья падают в ночи,
и ветер, вздрогнув,
крылами бешенно стучит
и в дверь и в окна.

Проснешься ночью — не до сна,
в тревоге жгучей
шаллю птицею луна
уходит в тучи.

Через распадки и ручьи
несутся звери.
Деревья падают в ночи
в верховьях Керби.

* * *

И вот тайга,
за сотни верст
людей не встретишь тут.
Палатка — дом мой,
тих и прост
бродяжий мой уют.

Ушел из дома и сказал:
— Пока! Не скоро я...
Глядят в костер мои глаза,
молчат мои друзья.

Я с каждым часом все грубей,
а, уходя в тайгу,
я доказать хотел тебе,
что многое смогу.

А звезды над тайгой дрожат,
и завтра в путь без троп
туда, где речка Селемджа
и перевал Эзоп.

Но вот как — пересилив брод,
на твердой встав тропе, —
я понял: есть мне путь вперед,
но нет пути к тебе.

* * *

Крыльцо резное, край села,
и лес багряный и оранжевый...

Не ты ли голубей звала
и в косы ленты заплела,
прохожих смехом заворачивая.

Жила ты, волею дыша,
в улыбочке светили зубы, —
навстречу трудно сделать шаг,
не тронуть, словно край ковша
с прохладой родниковой, губы.

Гадалкой приходила в сон —
пришла служанкой и сказала:
— Устала я, пойду в полон...
И семь синиц на семь сторон
из рукавов выпускала.

СТАРЫЙ АВТОБУС

Едва дождались воскресенья,
и нас от мелочных забот
за город в горы,
в лес осенний
автобус старенький везет.

Ни дать ни взять, как есть — бродяга,
ему на свалку бы,
а он
скрипит, усталый работага,
как старый мой аккордеон.

Куда ему с таким обличьем,
ведь он по внешности своей —
как соучастник битвы птичьей
нахохлившийся воробей.

Но я скажу:
— При чем тут внешность
и скрип сидений и колес?
Давно свою он роздал нежность,
когда работал на износ.

Но он об этом не расскажет,
сердчишко вот уже сдает.
Но он живет пока и даже,
смотри — за город нас везет!



СОСЕДИ

ПОВЕСТЬ

1

Сквозь щели ставня лениво сочились зеленоватые сумерки нарождавшегося утра. Сенька босыми ногами прошлепал по полу и, щелкнув выключателем, глянул в передний угол, где лежала мать. Он прислушался к ее хриплому дыханию, натянул штаны и, выключив свет, скрипнул дверью.

— Сень, а Сень, — остановила мать, — спроси Петруху: огулялась ли Зорька?

— Спрашивал... Нет, говорит. К осени, может. Да ты спи, мама, спи!

Утро легонько знобило и освежало. Сенька прошел в огород, вытянул бадью из колодца и, поеживаясь, умылся. Вытер рубахой лицо, прошел к огуречной грядке, сторонясь красных, тяжелых от росы маковых головок, сорвал небольшенький, с пупырышками огурец, откусил и швырнул в картошку. «Горечь... Поливать бы надо путем, да все руки не доходят. Скорее бы мать оклемалась...»

Сенька снял с плетня подойник и прошел за избу, где в сараюшке жила корова. Зорька нетерпеливо замычала и ткнулась в плечо розовыми, с черными крапинками губами. Сенька почесал ей шею, машинально шупая, нет ли клещей.

— Как спала, дорогая? — приговаривал Сенька. — Кого во сне видела? Пастуха Петруху?

Зорька кивнула головой.

— А скажи, голубушка, — продолжал Сенька, подмигнув корове, — трезвым был Петруха, аль под мухой? Видел я вчера, как он пушнину в магазин сдавал... Ах, ты же не знаешь, какую пушнину мог сдавать Петруха! Так вот, кумекай — пушниной он называет винную посуду. Усекла?

Довольный произнесенной речью, Сенька открыл калитку загородка, в которую усердно тыркались два теленка — белый с рыжими подпалинами на боках и рыжий с белой звездочкой на лбу. Белый с рыжими подпалинами был Зорькин, а рыжий с белой звездочкой на лбу — приемыш. У тетки Федоры, соседки, корова наелась протравленного зерна на току и — надо же! — скопытилась. Прибежала тогда Федора к матери.

— Помоги по-соседски, Полина... Быть может, Зорька твоя и моего к себе подпустит? Из ложки телка теперь пою, из соски, из блюдечка, а он брыкается, титьку вымогает. Измаялась я...

— Уж больно своенравна Зорька моя, — говорила мать Федоре. — Но кто знает, быть может, сжалится над сиротинкой!

И Зорька сжалилась. Подтолкнули под нее рыжего с белой звездочкой, переступила Зорька нервно с ноги на ногу, повела рогами,

да остановилась, словно подумав о чем-то. А теленок долбит вымя, причмокивает: рад-радешенек.

Сам Сенька видел, как посмотрела Зорька на свою родную телочку — виновато посмотрела, замычала тихо, словно простонала, а затем лизнула рыжего с белой звездочкой, дескать, что с тобой, горюшко мое, поделаешь, выкормлю, так и быть.

И Сенька привязался к рыжему, всегда его первым к Зорьке подпускает, ведь молоко поначалу самое жирное, самое вкусное. Вот и сейчас Сенька потрепал по загривку сироту, и тот шмыгнул к Зорьке.

Утро набирало спелость. Зеленоватая сутень треснула, словно арбуз, и над речкой выплеснулась алая струйка зари. Над домами закустились дымки, запахло дровяным смольем, печеной картошкой, подгоревшим молоком. Деревня застучала ставнями, забренчала по дойникам, и неожиданно запели охрипшие, словно простуженные или еще не совсем проснувшиеся петухи.

Сенька доил неторопливо, но сноровисто — пальцы привычно сдавливали и тянули соски, струйки молока жестко ударили в подойник. «Коров доить — самое что ни на есть мужицкое дело: силенка нужна. А где она у баб? Настырностью брать им приходится. Сули мне золотые горы — а на ферму не затащишь. Мужик-то, он хитер! То, как я, баранку крутит, то, как Петруха, за стадом на коне прогуливается, то, как председатель наш Виктор Петрович. Уж если что поднимет за день, так это кружку пива».

Закончив рассуждать так о мужицкой хитрости, Сенька подоил корову и выгнал ее на улицу.

— Как мать-то? — спросила подошедшая к заплоту Федора, сверкнув сквозь щель синими глазами.

Сколько ни помнил себя Сенька, его всегда удивляли глаза Федоры. Они никогда не были усталыми и безучастными, тоскливыми или испуганными. Глаза Федоры словно ожидали какого-то, одной ей ведомого чуда, они светились уверенностью и добром.

— Не легчает мамане, — сказал Сенька. — Отец за знахарем уехал.

— За Феофаном Заиграевым, поди? — Федора пышными, упругими грудями навалилась на кромку забора. — Знаю я Феофана... Встретились как-то на пароме, разговорились... Ведь он мне сродственником, Заиграев-то, доводится... Ну и пожаловалась я ему по бабьей дурости, что Пеструха молока сбавила. И глядь — через день за-явился! Репей, говорит, кто-то у твоей кормилицы обрезал. Гляжу и дивлюсь — верно, кто-то самый конец хвоста у коровы обкромсал.



Михаил Михайлович Шиханов родился в 1937 году в Бурятии, в старинном городе Кяхте. Окончил педагогический институт в Улан-Удэ, работал в кяхтинской газете, в республиканской молодежной газете, в радиокомитете. Сейчас сотрудник журнала «Байкал».

В 1960 году в местном издательстве вышла первая книга его стихов «Сарана», в 1970 — вторая — «Путь к себе», в минувшем году третья — «Первоснежье». Бурятское книжное издательство готовит к изданию новый его поэтический сборник «Моя Сибирь».

Предлагаемая читателю повесть — первое крупное прозаическое произведение поэта.

Ну и сделал Феофан наговор на отруби, наказал, чтобы утром и вечером поило из них готовила...

— От поила и бык вымя отпустит, — пошутил Сенька.

— Не знаю уж, отчего прибавила Пеструха, — рассмеялась Федора белыми ядрышками зубов. — Пришлось мне Феофану бутылку коньяку поставить.

— Коньяку?—удивился Сенька.

— С тремя звездочками, — подтвердила Федора и сказала: — Ступай. Я прогоню корову-то. Не чаевал еще, наверное?

Сенька поставил на плитку чайник и сунул в него кипятильник. Принес из сеней кринку, снял сметану и позвал мать.

Третий месяц мается она хворобой. А все из-за отца вышло. Поехал он весной по сено за речку. Поехал по дороге, присыпанной опилками, чтобы лед подоле держался. И мать с ним, чтобы помочь. Нагрузили сена — и домой. И то ли отец маху дал, заехав на обочину присыпанной дороги, то ли весна взяла свое, да только лед проломился, и трактор ухнул на дно. Вытолкнула мать растерявшегося отца из кабины и сама всплыла. А отец хлоп-хлоп руками и воду глотает. Ведь он не тутошний, с Байкала родом. Хоть и рыбак, а плавать не умеет — байкальская вода, известно, студеная, и купаться в ней не тянет.

Ухватила мать отца за шиворот и тянет на лед. А он одно: «Отпусти. Одна спасайся, сына расти...» Но все-таки мать вытащила отца на лед и дома спиртом отогрела. А самоё ее простуда в три погибели согнула. Поначалу в больнице отвалялась, а теперь вот дома... Корит ее отец: «Надо было этого самого ратификату хватануть, он бы и растопил стужу внутри». Да где там! Непьющая мать.

Сенька отпивает глотками из стакана чай и смотрит на мать. Она пьет из блюдечка, придерживая его сухими, узловатыми пальцами. Пьет неторопко, с удовольствием.

— Ты бы, Сеня, картошку поокучивал. Дождик-то вчерашний был в самую пору.

— Я бы вечер начал, — говорит Сенька, — но до потемок в гараже провозился. Коробка передач полетела.

— И что у тебя за коробка? С крыльями, что ли? То и дело летает,— пошутила мать.

Нравится Сеньке, как мать улыбается. Лицом она светлеет и выглядит моложе, хотя к глазам и сбегает ручейки морщинок.

Сеньке кажется, что мать его вовсе не стареет. Какой была до его службы в армии, такой и осталась. Вот только болезнь ее покачнула.

— Мама, а ты веришь знахарям?

— Испыток не убыток, авось, хуже не станет.

— А может, лучше в больницу?

— А кто за отцом да за тобой доглядывать станет? Вас, мужиков, надо на вожже держать. Дай волю — и понесется сломя голову. Взять хошь отца... Пойдет чай собирать по соседям. А чужой чай — и горе невзначай.

Сенька молча встает из-за стола, берет в сенцах тяпку и идет в огород.

Заря, не успев распалиться, погасла. Солнце еще не проклюнулось, но кромка неба уже посветлела. В предчувствии восхода застрекотали ласточки.

Осыпая с листьев росу, Сенька окучивал картошку. Крутился возле гнезд, сшибая тяпкой острые стрелы пырея и горчичные головки рыжика, обрезая толстые белые корни осота. Время от времени он

останавливался, разгибая приятно побаливающую спину, и садился перекурить.

Когда пригрело солнце, Сенька снял рубаху, тихо радуясь тому, как в тело входит ласкающее тепло. Не заметил, как подошла Федора.

— Бог в помощь, — сказала она улыбочиво, сняла кофту, отвернулась и запрягала в тесный лифчик выскользнувшую грудь. Затем подогнула подол юбки, высоко обнажив розовые крепкие ноги, и взялась за тяпку. Окучивала она легко и расторопно, словно гребла не землю, а воду. Как ни старался Сенька угнаться за нею, но не мог.

Федора лет на пять—шесть моложе матери, а выглядит вовсе молодо. Это оттого, что живет одна-одинешенька, живет спокойно и тихо. Пожила она года два с Василием Конопатым и разошлась. Сама-то Федора не развелась бы, да Василий от нее ушел.

— Детей с нею не сочинишь, — оправдывался Василий, — а так она баба медовая. Да мед, вишь, с горчинкой.

Василия Федора перед людьми не срамила: дескать, вольному воля. И в замужестве ни в чем не попрекала его, не корила за то, что любил в рюмку заглянуть, и за то, что хозяином был непутевым — ни топора, ни молотка в руки не брал. Столб гнилой и то заменить не мог. До сих пор в Кривопишино рассказывают, как однажды Васька Конопатый зачерпнул из проруби воду и глядь—в ведре щука плещется.

— Куда это ты, нечищенная, залезла!

И выбросил щуку.

Вот такой был Василий Конопатый: не расчетливый, не рачительный, как полагалось бы быть мужику.

Василий состоит учетчиком в бригаде, над тетрадкой в клеточку маракует. И чем он только приглянулся Федоре? Или тем, что песни поет залиvisto? Или тем, что журнал «Вокруг света» читает? Как бы там ни было, а Федора всем дала от ворот поворот, а Ваську Конопатого приветила. А он и подковырнул ей жизнь!

Брат и сестра зовут Федору к себе, в город, а ей, знать, в деревне любо, хотя специальность у нее — кто куда пошлет: заболел доярка — идет коров доить, нужна повариха трактористам — Федору кличут, некому овец пасти — так есть же Федора... В посевную она — прицепщица, в сенокос — прокосы ведет, в уборочную — горючее по бригадам развозит. В общем, крестьянствует Федора.

— Сенья, тебе жениться надо, — сказала Федора, не поднимая головы от работы, — Матери подмога будет.

— Мне-то успеется, — хохотнул Сенька, — а вот вам-то надо о себе подумать! Баба без мужика все равно что телега без колес.

— Где уж нам уж выйти замуж, — рассмеялась Федора, — мы и так уж как-нибудь. — Замолчала, огребла полдюжины картофельных гнезд и добавила: — Я же была за Васькой, попробовала замужества...

По голосу Федоры нельзя понять, то ли она жалеет, что жизнь ее с Василием была нескладной, то ли усмехается: «С кем связалась, дуреха!»

Сенька знал, что после того, как Василий ушел от Федоры, она раза два-три ездила на край света со своей злополучной болезнью, о которой на всю деревню разрезвонил Василий. Откормит борова к осени, сдаст в сельпо — и на курорт. Уйму денег угробила.

Бабы незлобиво подсмеивались — дескать, сообразить бы, как не забрюхатить, а она другой бедою мается. А как узнать Федоре, помогло ли лечение, если она после горького своего замужества никого к себе на пушечный выстрел не подпускает?

Мать, бывало, жалеет Федору: «Каждой птахе хочется гнездо свить да птенчиков вывести, на то она и птаха, а Федоре будто крылья обрезали».

Когда Федора отлучается из деревни, за ее домом и невеликим хозяйством — коровой с телятками, поросятами, курочками да рыжим котом — доглядывают мать и он, Сенька. Но чаще ей отец пособляет — то заплот починит, то новые ясли выдолбит, то дымоход прочистит, по-соседски дрова распилит мотопилой «Дружба», то поросенка заколет и освежает, то редким ее гостям поможет белоголовую одолеть. Мало ли в чем нужна помощь одинокой бабе?

— А у Васьки-то жена опять на сносях, — сказал Сенька.

Сказал и осекся. Ему вовсе не хотелось уколоть Федору, но слова вырвались сами собой. И зачем он об этом бухнул Федоре? Лучше бы умолчать. Чтобы перевести разговор на другое, начал:

— А помнишь, Федора, как твой Василий назвал поросенка моим именем? Мать моя кличет боровка: «Васька, Васька, Васька!..» А Василий кормит поросенка и отвечает матери через забор: «Сенька, Сенька, Сенька!..»

Федора прыснула смехом, разогнула занемевшую спину и заложила руки за голову. Ее полнеющее, но все еще крепко сбитое тело сочилось здоровьем и грубоватой силой. Выгоревшие на солнце брови и завитки у висков, облупленный, с веснушками нос подчеркивали ее доверчивую простоту.

— Попросила бы я сынка у Василия, — сказала Федора раздумчиво, — в дети бы попросила, да теперь уж не надо. — И она посмотрела на Сеньку пристальными, прищуренными от солнца глазами.

Солнце незаметно поднялось над головой и уже не грело, а припекало голые плечи Сеньки. По солнцу Сенька и определил, что ему пора в гараж, а оттуда в колхозную контору.

— Хватит, тетя Федора... Спасибо. Мне свой газик зауздывать надо. Я, может, вечером доогребаю.

Федора закинула на плечо тяпку. Сказав, что сегодня будет стричь овец, она нырнула в калитку, запрятанную в густом черемушнике.

Сенька, подойдя к колодцу, плеснул в лицо две-три пригоршни воды из долбленного корыта и выскользнул за ограду. Пахло прелью, недавно рассыпанными конскими яблоками и уже размороженным малинником. Ветерок, густея, доносил запах речной сырости и лиственного леса.

На улице пустынно и тихо. Так бывает всегда, когда Сенька к восьми часам идет в гараж. В эту пору трактористы уже в поле, доярки вернулись с фермы домой, босоногие пострелы досматривают последние сны. А старики и старухи еще не доковыляли до скамеек за воротами, чтобы погреться на ласковом солнышке.

Сеньке хотелось встретить Раису Петровну, спросить, не видела ли она во сне его, Сеньку Синицына.

Раиса Петровна приехала к ним в прошлом году, окончив медицинское училище в Улан-Удэ.

И Сенька встретил Раису. Но ничего не спросил, потому что шла она с Катюшкой Заиграевой — бухгалтершей из конторы. Он поздоровался уважительно, как принято здороваться с врачами и учителями, подмигнул Раисе и тут же смутился. Катька, наверное, это заметила. Смутилась и Раиса. Отвела глаза в сторону, и шиповником зарделись мочки ее ушей. Сеньке понравилось, что Раиса смутилась. Правда, он и сам не знал почему. Раньше она его никогда не стеснялась. Скажет, бывало, Сенька, насмешливо-галантно приподняв кепчонку:

— А я вас, Раиса Петровна, во сне видел!

— И как я была одета, дорогой товарищ Сенья Синицын? Быть может, в костюме Евы?

Остра на язык Раиса Петровна. Палец в рот не клади. Городская, понятно.

Нравится Сеньке Раиса, но он ей в этом ни за что бы не признался. С шуточками и прибауточками проще и легче. Иной девахе можно и руку за пазуху сунуть, как той же Катюшке Заиграевой, а к Раисе Петровне другие ключи нужны. На то она и Раиса Петровна!

В гараже, как всегда, шумно и по-мужички весело. Один вымаливал у завгара запчасты, другой комментировал футбольный матч, третий маялся с похмелья. Сенька посоветовал ему лучше закусывать и завел свой газик. К колхозной конторе он подкатил без пяти восемь. И тут подошел Василий Конопатый. Согнулся пополам, зашептал:

— А моя-то благоверная пока ничего. А пора бы... Откостерит уже ее врачиха: мол, переходила. Баба бабу ни в жизнь не поймет.

Василий Конопатый был не прочь еще почесать язык, но тут распахнулось окно, и выглянул Виктор Петрович. Был он, как всегда, в белой рубаше с цветастым галстуком.

— Жив-здоров, Сенья? Скатай-ка к стригалим, за Федорой.

С осени Виктор Петрович стал приходить в контору не раньше восьми. Народу в приемной спозаранку уйма, а председателя нету, дома еще. Как так? На то он и председатель, чтобы вставать ни свет ни заря. Так было и до Виктора Петровича, так было поначалу и при нем. И вдруг — на тебе! Заявляется на работу, словно в городе на производстве! Да это еще полбеды, председатель может себе и поблажку дать, но ведь он и другим наказал: «Начинайте рабочий день в восемь». И заместителю, и агроному, и бригадирам. Надо коня тебе за дровишками пораньше поехать, а начальства — никого. Надо муки или денег выписать, а в конторе до восьми хоть шаром покати. А в деревне, известно, испокон веков дело раным-ранешенько начинается. Ну и учудил Виктор Петрович! С его причудами мало-помалу свыкались, но чтобы (в колхозе-то!) работать от звонка до звонка?! И мужики шумели, и бабы, и районное начальство. Но, как ни странно, беды не случилось. Конечно, в посевную али в страду со временем считаться не будешь, вкалывают люди.

Кто как, а Сенька с Виктором Петровичем с самого начала был согласен. И не потому, что возит Суходолова, что баранку перестал крутить до самой полуночи, а просто-напросто раскинул мозгами: «Пора и деревню на городской лад переиначивать. Пора».

Сенька прикатил на стригальный пункт, затормозив, позвал Федору. Она как раз стригла поваленную наземь барануху.

— Суходолов тебя вызывает.

— Погоди, я живо...

Федора левой рукой держала за ногу овцу, а правой снимала с нее белую пушистую шубу. Полуголая овца смотрела бездумно и безропотно желтыми навывкате глазами.

— Зачем я ему понадобилась? — спросила Федора.

— На табор, к косарям отправит, — предположил Сенька. — Двенадцатого петров день, после него и косить начнут.

— А-а,— неопределенно протянула Федора. — Мало ли баб в колхозе?

— Да не все поварить умеют, — польстил ей Сенька. — Если жидко в котле, ты, говорят, сказку-приказку добавишь.

— Ты уж скажешь, — Федора махнула рукой и отпустила барануху.

Та заблеяла довольно и, высоко вскидывая несуразно тощий зад, понеслась к отаре.

Сенька не ошибся — председатель упросил-таки Федору кашеварить на покосе. Часто Сенька угадывает, о чем думает Суходолов. Глянул вчера на поле, занятое паром: «Овсяг поднялся. Завтра Виктор Петрович луцильник сюда направит». И точно: отправил сегодня. Знал Сенька, что Виктор Петрович поедет по лугам, будет прикидывать, где косить поначалу. Так бы оно и вышло, но случилось непредвиденное — только скрипнул Виктор Петрович сиденьем, как послышался крик:

— Эй, погоди!..

К машине бежал Василий Конопатый.

— Анна при смерти!

— А Раиса Петровна где? Беги к ней!

— К чабанам она куда-то умотала!

И пришлось Сеньке везти в районную больницу побелевшую от боли Анну.

Больше всего Сенька боялся, как бы Анна не разродилась по дороге. Но успели вовремя. Завели Анну в больницу, погодили малынько, и медсестра сказала, что одним мужиком в Кривопишино стало больше.

Василий Конопатый попросил остановиться возле магазина и принес на закуску кулек кильки.

— Дешевка! — восторгался он. — Тридцать копеек за кило. А все ж таки рыба, как ни говори.

Сенька пить отказался. Василий осерчал:

— Ты и дармовую пить не хочешь? За сына моего не хочешь? За наследника моего не хочешь, да?

Василий пил из горлышка, похрумкивая килькой. На ухабах его потряхивало и подбрасывало, и тогда он держал бутылку двумя руками, осторожно и нежно, словно птицу. От выпитого Василий завеселел и уже не обижался на Сеньку, философствовал:

— Собачья жисть у тебя, Синицын. Горло промочить и то нельзя. Ты послушай меня, послушай. Подавайся, брат, в город. Таксистом примут. А там одних чаевых — на квартиру кооперативную... И жену себе модную присмотришь. У нас-то в деревне кого ловить? Не тот ассортимент, сам знаешь.

— Ну, а ты, Василий, почему не продашь свой дом в Кривопишино? — спросил Сенька.

— А я, брат, чистый воздух люблю, — сказал Василий. — Встану утречком, а в огороде пчелы над ромашками. Сладостно душе-то!

— Ромашки... — усмехнулся Сенька. — Да ты бы лучше весь огород капустой да луком засеял. А то не огород у тебя, а луговина! Чем семью кормить-то будешь? Ромашками?

— А мне, Сеня, личное хозяйство противно, — распаялся Василий, — я ведь только за колхоз, за общество радею.

— Лодырь ты, — начал закипать Сенька. — Прихлебало, а не радеть.

— Лодырь, говоришь? — возмутился Василий и кинул в рот горсть рыбешек. Прожевал и пояснил: — Знаешь ты, что умственная работа вдвое тяжелее физической? А ведь я как-никак учетчик. Должность немаленькая!

— Как бы у тебя шарабанчик не сломался, — позлорадствовал Сенька и начал насистывать песню.

— Вот еще чо я хотел тебе сказать, — продолжал Василий, выбросив на обочину пустую бутылку. — Ты вот и так и сяк меня пону-

жаешь... Бог с тобой! Я человек не обидчивый. Но у себя под носом ты суших безобразий не видишь! Отец-то твой Федору огулял.

Сенька проскрежетал тормозами.

— Повтори!

— Вот то-то и оно-то, — отшатнулся Василий, довольный произведенным впечатлением. — В общем, так вот... Федора и моя Анна столкнулись у фельдшерицы. С глаза на глаз, как вот мы с тобой. Ну, обследовала она и ту, и другую и говорит... Вначале моей говорит: мол, все у вас нормально. А потом, значит, Федоре. Поздравляю, говорит, вас с будущим ребенком. У Анны аж глаза на лоб, а Федора-то ни жива ни мертва, побледнела, как редька, а потом ка-ак заревет! Ревет да причитает: «Будет, знать, и в моем доме праздник!»

Василий замолчал и шмыгнул высоким тонким носом.

— А при чем тут отец? — прохрипел Сенька.

— Известно при чем, — шевельнул разлапистыми бровями Василий. — Не от святого же духа Федора зачала? А кто у ней гостит больше всего? Да тут еще Полина слегла не вовремя. А мужики, они, известное дело... Ну вот, хошь тебя коснись.

— Федора про отца сказала? — спросил ошарашенный Сенька, покусывая побледневшие губы.

— Как же! Скажет она тебе, — протянул Василий. — Уж я ее знаю. Умеет язык держать за зубами.

— Быть может, и не отец вовсе? — неуверенно проговорил Сенька, проглотив горькие слюни. — Мало ли мужиков.

— Но она, знать, одного отца твоего и почитает, — сказал рассудительно Василий. — Вот поспеет времечко, и видно будет, в кого дитя уродилось.

Сенька спустил машину с тормозов и погнал ее, словно пьяный. Он ехал и все никак не мог поверить, что между отцом и Федорой могло что-то быть. Нет, отец ни при чем тут. Не мог он мать обмануть... И Федора не могла. Василий жужжал о чем-то над ухом, но Сенька не слушал его. Он был с самим собой. «А что если все это правда?»

2

Знакомой тропинкой Феофан Заиграев дошел до кедровника. Сел на замшелую колоду и, вытирая вспотевшую лысину, стал осматривать кедр. На мохнатых ветках чуть покачивались чешуйчатые темно-фиолетовые шишки. «Будут орехи, если кедровка не спустит...»

Прошлой осенью ему не пофартило. Припасов завез на месяц в тайгу — копченой свинины, муки да крупы, лагунок омулей, картошки. Думал кулей тридцать орехов взять, а это, считай, ежели по двадцать копеек граненый стакан... Можно сыну новую моторку spravить. У того и прежняя была ладной, да накрыл его рыбнадзор — и лодку отобрали, и сети. Да еще и штраф — пришлось корову продать. Можно было, конечно, взять с книжки в сберкассе, да разве это дело — перед народом нараспашку? Забил корову, отвез на базар, а сам всю зиму брал у соседей молоко помесечно, по тридцать копеек за кружок. Но зато все поняли — нет у Феофана лишнего рубля за душой. По весне он купил корову, заявив, что выиграл пятьсот рублей по «Спортлото». Выиграть-то он выиграл, но всего-то трешницу грешную. Но пусть люди думают, что неожиданно-негаданно счастье ему привалило.

Сидел Феофан на поваленной кедрине, поглядывал на шишки, начиненные молоденькими, молочными орехами, и вспоминал прошлую осень. Тридцать мешков рассчитывали добыть, а взяли только восемь.

Мошкой навалилась кедровка, язви ее, и давай шелушить шишки, давай шелушить! И что за напасть?! Откуда пригнал ее леший? За неделю кедрач опустошила!

Заиграев снял ичиги, раскрутил портянки и пошевелил желтыми пальцами. Достал из выгоревшего френчика кожаный кисет, развязал ремешок и крепко ругнулся:

— Тыфу ты! Газетку дома забыл!

Стал шарить по карманам. Высыпал на ладонь мелочь, пересчитал. «Восемьдесят шесть... Еще четырнадцать копеек — и целковый». Нашел оторвавшуюся пуговицу, гребешок, затем вынул измятый червонец. «Был бы уж рубль, сгодился бы по нужде на три-четыре закрутки». Феофан разгладил на колене десятку и положил в кармашек брюк. Это Анна, жена Василия Конопатого, отблагодарила, когда ее корова на колхозном поле овсюга объелась. А делов-то было на пять минут... Заговор прочитал да две бутылки мыльного раствора выпоил.

Заиграев сунул руку в задний карман брюк и — о, фарт! — вытащил ровно обрезанный газетный лист. Он ухмыльнулся и, довольный, начал читать, шамкая губами:

«Не верьте знахарям!

Кто из вас, граждане, не слышал о чудесах, творимых знахарями? Невежи, вовсе не знакомые с медициной, часто просто безграмотные, они берутся лечить от всевозможных болезней. Они заговаривают от «дурного глаза», «ладят святую воду» от испуга, «присушивают» к девушке полюбившегося ей человека и творят прочие «чудодейственные» явления. Не верьте этому! Я тоже многие годы обманывал людей... за определенную мзду. Доверившиеся мне люди давали мне деньги, мясо, водку».

«Водку-то давали редко, — усмехнулся Феофан, — чаще всего са-могон». Он свернул козью ножку и сладко затыкнулся. Махорка сегодня казалась вкуснее, чем когда-либо прежде. На завертки пошла районная газета, где он, Феофан, при всем честном народе костерил себя на чем свет стоит.

Заиграев знал написанное назубок. «К знахарям идут за мнимой помощью люди темные, малознающие, не понимающие суть вещей». Нравится и поныне Феофану эта непонятная фраза «суть вещей», услышанная им по радио. Знайте, мол, и я ученостью не обижен, знаю кой-чего.

Что идут к знахарю «люди темные», — он нарочно вставил, чтобы заметку напечатали, не отказали. Где сейчас «люди темные»? Старухи — и те про космос толкуют, про сердце искусственное. По телевизору насмотрелись!..

Солнце, поднявшееся над косматыми макушками сосен, пригрело спину. Кто-то тихо шумнул в багульнике и пропал. «Белка поди. А может, соболек за кедровкой шмыгнул?» Феофан скользнул глазами по крупной подписи под статьей: «Заиграев Ф. М., бывший знахарь из села Кабаново». Сложил гармошкой листок и сунул в кисет.

Что ж вы, люди добрые, на честного человека напраслину возводите! Ну, был грешок за мной, свел я его, как бельмо с глаза. Раскайся. Газеты надо почитать!

Заиграев развязал котомку, глотнул из фляжки чая, круто заваренного и забеленного молоком. Затем вытащил чулки, связанные из конского волоса, обулся в них, спрятав ичиги в дупло колоды. Вынул из мешка разобранные ружье «белку», сложил и сунул в верхний ствол патрон с жаканом.

Заиграев шел неторопливо и бесшумно, осторожно прислушива-

ясь. Ни сучок, ни шишка не хрумкали под чулками из конского волоса. Он неспешно раздвигал ветки, желтыми кошачьими глазами просверливая чашобу. Заиграев шел посмотреть, уродились ли орехи, и выбрать место для балагана, но тайга есть тайга. И грех упустить случай, если подвернется изюбр или соболь. Правда, соболь июньский никудышный — рыжий, как ондатра, но можно его задымить, в сутолоке барахолки сойдет он за черного баргузинского. А если угодит под мушку марал, то мяса в нем не меньше, чем в двухгодовалом бычке.

Заиграев понимал, что его прогулка пахнет браконьерством. Жестко власти взялись нынче за всякого, кто без позволения зверя в тайге промышляет. Но риск — дело благородное. Да и риск не шибко большой леса эвон сколько, не измерить его, не сосчитать, а сторожей — егерей да лесников — по пальцам перечесть. Браконьера найти им в лесу труднее, чем иголку в стогу. Заиграев шел почти без опаски.

Поднимаясь вверх по ключу, он спугнул два табунка рябчиков, но стрелять не стал. Когда играешь по-крупному на мелочи не надо застриться.

К полудню он вышел на каменистую россыпь, усыпанную зеленой пока смородиной. «Рясная, — отметил он. — Можно бы зайти сюда с горбовиком¹ по осени, да далековато. Есть и поближе ягодка». Пройдя щебенчатую россыпь, Заиграев вышел на то место, где бил кедрины колотом в прошлом году. Нашел и колот — двухпудовый чурбан, насаженный на короткую жердину. Никто не тронул и его решето, сплетенное из проволоки. А вот балаган обветшал, остался от него лишь скелет из жердей.

Шагая от дерева к дереву и приглядываясь, много ли шишек, он решил, что и нынче заберется сюда шишковать.

Кедры здесь не тонкие и не толстые, каждая лесина — как телеграфный столб. Стукни колотом легонько — и шишки градом посыплются. Неожиданно промеж темной зелени хвои он увидел бурого зверька с черными бусинками глаз и, не успев подумать, что встретил соболя, вскинул ружье. Соболь метнулся, затем сорвался с ветки и упал ему под ноги.

Все случилось так быстро, что даже не екнуло сердце. Заиграев поднял тушку и оглянулся. Соболь был неказистый — схожий с рыжей кошкой. «Ничего, наведем марафет, — успокоил себя Заиграев. — Сказывают, можно соболя какой-то парфюмерией переукрасить. А встряхнешь шкурку, искры все равно побегут и каждый волос будет сам по себе. Соболь и есть соболь...»

Сев на траву, он развязал котомку и начал жевать пирог, запивая чаем. Заиграев был сейчас благодушен и умиротворен.

Покончив с чаепитием, он повернул домой. Шел и напевал одно и то же:

Раз, два, три, калина,
Чернявая дивчина
В са-а-аду ягоду брала!

Домой вернулся уже затемно. Зашел в избу и увидел перед телевизором Григория Синицына.

— Каким ветром тебя занесло?

— По делу я к тебе, — сказал полупешотом Григорий, стрельнув глазами в сторону дочери.

Дело не волк, в лес не убежит. Чайку попьем, за чаем и рас-

¹ Горбовик — ящик для переноски ягод и грибов.

скажешь, что за неволя тебя привела. Ко мне с добром-то редко заходят. Все помощи испрашивают.

— Как же, как же, — поддакнул Григорий. — Друг дружке помогать — первое человеческое дело.

Из дому Сеницын уехал накануне вечером. Уехал в соседнюю Ивановку, где, слыхивал, жила бабка Матрена, в войну гадавшая по обуглившейся бараньей лопатке — живы ли мужья солдаток? Но бабка Матрена, оказывается, давным-давно преставилась.

Григорий переночевал у сваты, а утром по ее совету торкнулся в дом Феофана.

Чтобы ублажить Заиграева, Григорий выставил на стол предусмотрительно купленную бутылку «Экстры». Опрокинули по стопке, закусили поджаренной картошкой, и Феофан спросил:

— На что жалуешься?

Григорий коротко и шепотом рассказал.

— Правда, я со всем этим завязал, но разве тебе откажешь? — Феофан снова разлил вино по стопкам. — Сегодня я тебе, завтра ты мне.

— Да я-то ничего, — сказал Григорий, наклонившись к Заиграеву кряжистым телом. — Полина занемогла с того раза, как трактор лед проломил и ушел под воду. Полина-то рядом со мной сидела... Слыхал?

— Слыхал. А врачи-то что говорят? Простудилась? Было воспаление легких?

— Было. В больнице ее на ноги подняли, выписали.

— На то они и врачи. По шесть лет в институтах учатся на всем готовеньком, — назидательно заметил Феофан и поднял стакан. — За твою благонравную... Тащи-ка нам пирог. Чего стесняешься? Григорий свой человек, — сказал он затем жене.

Жена Заиграева, низенькая и толстая, словно лагунок, принесла пирог на противне. Надрезала верхнюю корку и, сдвинув ее на угол, облизнула пальцы.

Пирог был еще теплым и духовитым. Сеницын подцепил кусок и понял, что в пироге костерка — молодой осетр. Давно он не пробовал осетрины, с той поры, как постановили омуль не ловить в Байкале. А то вместе с омулем и осетры попадались. Рыбакам по закону надо было отпускать рыбу на волю, да разве не дрогнет рука, если поблизости начальства нету? Вот и продавали омулей по десять штук за бутылку «Московской», могли и костерком удружить верному человеку. А теперь?..

— Сын рыбешки добыл, — перехватив взгляд Сеницына, сказал Заиграев. — У дружков купил. Свою-то лодчонку с мотором и сетями у него рыбоохрана забрала. Лопухий! Мог бы по-мировому договориться, когда застучали! Отдал бы рыбу, бог с ней! И не поминайте лихом, словно не видели. А тут... Эх-ма!

Заиграев выпил, забыв чокнуться с гостем.

От Кабаново, а тем более от Кривопишино до Байкала далеко, но все испокон веков чувствуют за спиной славное море. В стародавнюю пору едва ли не каждый двор имел на берегу свое зимовье. И в войну Байкал спасал солдаток и солдатских детишек. Снаряжали бабы бригады на Байкал. А соленый омуль с картошкой по тем временам — деликатес. Да и сейчас кто бы отказался?

И после войны, до самого запрета на лов омуля, колхоз «Заря» держал на море бригаду. Понине на берегу стоят потрескавшиеся колхозные лодки. Придет, чай, день, и сызнова неводить станут. Байкал — он работник, людям помогать привык!

— Да ты выпей, Григорий, — вспомнил о госте Заиграев. — Выпей и закуси. Что бог послал, тому и рады. Можем еще одну сообразить, к продавщице на дом сбегаем. — И он оглянулся на дочь, отрешенно уставившуюся в телевизор.

Та не прислушивалась к разговору за столом, лишь изредка перекидывалась словами с матерью, суетившейся в кути.

— На бога надеешься, и сам не плошаешь, — сказал захмелевший Григорий. — И не боишься, словно креста на тебе нет! — сказал и осекся, вспомнив, зачем он сам-то пожаловал в этот дом. Помолчал. — Да-да, всяк живет, как умеет.

— Вот то-то и оно, — согласился хозяин и принялся обсасывать голову костерки.

Неуютно, словно не на свое место сел, чувствовал себя Синицын в доме Заиграева, хотя тепло от выпитого вина приятно растекалось по телу и жаром отдавало в лицо. Ему было не по себе от жесткого взгляда Феофана, от молчания его старухи и дочери.

Ну и живут! Не ругаются и не смеются поди. Да разве попрешь против Феофана, когда он, невысокий и жилистый, кажется властным и могутным, словно один весь дом занимает?

И никак не мог Григорий ни припомнить, ни представить Заиграева смеющимся. «Быть может, таким и должен быть знахарь, — рассуждал он про себя. — Как рассмеешься, если с нечистой силой водишься?»

— Ну что, сходим до продавщицы? — спросил Феофан, вытирая руки вовремя подсунутым женой полотенцем.

— Хватит, — сказала дочь, обернувшись к столу, и тряхнула рассыпчатыми светлыми волосами. — Зачем за полночь людей беспокоить?

Заиграев пожал плечами: мол, что с ней, с дочерью, поделаешь. Придется послушаться. Синицын удивился: Катюха-то его, видать, с характером. Сказала — и точка!

Катя была в мать — невысокая, тихоголосая, и было непонятно, почему Феофан не посмел пойти против дочери, когда от выпитого вожжа ему под хвост попала. Григорий Катю знал мельком — видел, что она в конторе щелкает на счетах. Хотя и намалеванная по-городскому, не бросалась она в глаза своею статью. Но одно время поговаривали, что за ней ухлестывает его Сенька.

— Не хватало нам только со знахарем сродниться! — намекнул как-то Григорий сыну.

— Брось ты, отец, наговаривать, — притворно возмутилась Полина.

Сенька отмолчался, словно не понял, о чем разговор. И вот — надо же! Григорий Синицын распивает с Феофаном и толкует о житебытье, словно тот ему родней доводится. Вот уже поистине, неисповедимы человеческие пути-перепутья!

Захмелевший Заиграев, оглянувшись на дочь, тихонько запел:

Два налива
Прошли мимо,
Две костери
Просвистели,
И ушли два караса,
Вот и рыба наша вся.

«Уж в твои-то сети, Феофан, попадет рыбешка», — подумал Григорий и сказал:

— Дак, когда к нам-то поедет?

— Утречком. К молоковозу присватаемся... — сказал Феофан и зевнул, показав крепкие желтые зубы.

Старуха постелила Григорию в сених, на раскладушке. Постелила молча и сердито. «Да она глухонемая поди?» — беззлобно подумал Сеницын.

В сених после душной избы было свежо, но Григорию не спалось. «Дома меня потеряли... И от бригадира нагоняй будет».

Григорий смотрел в открытые двери на мохнатые звезды, на огонек в зимовейке, возле которой трясла простыни Катя. «Перепугалась Полина за меня, вот и мает ее лихорадка... Как там Сенька один с хозяйством управляется? Женить парня надо бы. Да разве ему посоветуешь? Сам себе на уме». Начиная дремать, Григорий услышал приглушенный дверью разговор в избе.

— Много-то с него не дери, — говорила жена Феофана, — с уважением человек пришел. Цельный день тебя караулил. Ну, а пирог-то ты меня зря заставил вытащить. Проговориться Сеницын может. Сам знаешь: подальше положишь — поближе возьмешь.

— Ладно уж, спи, — нехотя отвечал Феофан. — Ногу-то сдерни... жарко.

Григорий заметил, что кто-то вошел в сени.

— Вы спите, дядя Григорий?

По голосу Сеницын узнал Катю.

— Не сплю, — сказал он. — Душно, к дождю вроде... Завтра петров день, а наш престольный не буёт без дождя.

— Извините, дядя Григорий, — сказала Катюха, прислонившись к стенке и прислушиваясь к затихшему дому. — Ну, зачем вы к отцу приехали! Разве он поможет тетке Полине? Чепуха все это! Ездите, меня только позорите!

— Да ты что, бог с тобой, — встрепенулся Сеницын. — Не пришел бы, кабы не беда.

— У Полины вашей, наверное, нервное потрясение, — говорила, всхлипывая Катя. — Ей к врачу-невропатологу надо. — Она замолчала и, шмыгнув носом, сказала; — Оставьте отца в покое... Мне в клуб ходить стыдно, все переглядываются: колдунья пришла. И Сенька ваш... Ну, пожалейте меня, пожалейте! Мне к людям хочется, а вы дорогу запруживаете.

Катя громко всхлипнула, повернулась и села на ступеньку крыльца.

Григорий хотел встать, подойти к ней — леший, мол, его дернул сюда заявиться, но вспомнил, что он в исподнем.

— Да ты не плачь, дочка, — сказал он. — Ноги моей в вашем доме больше не будет. Да и не верю я...

И все же утром Григорий вместе с Феофаном сел в кабину молоковоза, и они поехали в Кривопишино.

3

Самый приметный дом в Кривопишино — дом Суходолова. Он меньше колхозной конторы, тем более не сравнится ему с клубом, который отгрохали залетные мастера-плотники (окна — верхом на коне проехать можно), но дом председателя все же самый просторный в деревне. Четыре комнаты, потолок — не допрыгнешь. Веранда с цветными стеклами.

И воду из колодца таскать не надо — сама течет из трубы, вкопанной в землю. Раскопегарил титан, согрел воду в бочонке, отвернул кран — и плавай в ванне, пузыри пускай.

Когда построили этот двухквартирный дом — вся деревня поглазеть приходила. «Ну и хоромы! Совсем как в городе!» Все знали, что в одной половине будет жить Виктор Петрович, а в другой сосед его, Василий Конопатый, поскольку своя изба у него стала совсем худой. Но Василий наотрез отказался выкочевывать из отцовского пятистенка: пушай, дескать, кто другой благами цивилизации пользуется! Ясность в это дело внесла его жена, Анна.

— Амбара нету — раз, завозни, сеновала — два, нет курятника — три. Ну, и сама я привыкла с веничком в баньке париться, а не в корыте хлюпаться. Это четыре!

После того как Суходолов справил новоселье, вторая половина дома долго пустовала — не было охотников. Приходили люди, дивились, причмокивали языком, но заявлений на колхозную квартиру так никто и не писал. Наконец отважилась сюда вселиться семья учителей. Хозяйства домашнего они не держали, если не считать гураненка, подобранного учителем в тайге.

Гураненок стал любимой забавой Суходолова. Привезет он с поля охапку свежей травы, поднимет над головой — встает на цыпочки гураненок, тянет шею, а потом взбрыкнет тонкими ногами, даст круг по ограде — и в атаку! Норовит рожонками председателя пощекотать.

Суходолов поднялся ровно в шесть утра. С давних пор у него эта привычка. В прошлые годы к шести уже был в конторе. Ну, а когда провел «реформу», определив и себе и другим восьмичасовой рабочий день, можно было бы дрыхнуть до семи. Но поднимался он в прежнюю рань.

Одевшись, он заглянул в комнату отца. Знал, что тот тоже уже на ногах.

— С днем ангела, отец!

— Спасибо, сынок, спасибо!.. — и, улыбнувшись, дернул седой бровью. — И тебя с праздничком... С петровым днем.

— Будь он неладен! — хохотнул Виктор Петрович. — Завтра покос начинается, а тут голова с похмелья.

— Кому надо, тот и в будний день праздник себе смастачит.

— А я тебе, отец, подарочек припас, — Виктор принес темно-синий плащ из болоньи. — Вот. Легкий, от дождя и ветра прикроет.

— Раньше-то за болоньями гонялись. Мода была. А теперь вот только коров в них и пасти. Помодничаем перед коровами! — Отец скомкал плащ и сунул в сумку, где уже была фляжка чая и краюха хлеба. — А скот-то, Витюха, мне пасти и вовсе негде! Куда ни ткнись — поля, сколько вы нынче свеженины-то подняли! Так недолго и все пастбища распахать.

— Все не все, а распахать будем, — сказал Виктор. — Хлеб нужен. На Звонкой Луг целуюсь.

— На Звонкой? — У отца поднялся полынок бровей. — Да там только скот и пасти. Бросовая земля.

— А мы распашем и овес с горохом посеем.

— Тебе виднее, — нахмурился отец. — Но только я так скажу: зря заритесь всю землю разворочать. Какой толк из того же Звонкого Луга? Он, может, и родит кое-что попервости, а потом песком и пылью задохнется. Нет, Звонкой Луг лучше не трогать!

— Посмотрим, батя, посмотрим, — сказал Виктор и вышел во двор.

Прошел к лиственничным чуркам и взялся за топор. Он любил поутру размяться с топором или лопатой. Сам нынче сажал картошку, сам за огородом досматривает.

Виктор колот дрова и думал об отце. Не советует Звонкой Луг шевелить. Ветровой эрозии боится. Резонно. Но как, позволь спросить, с каждым годом все больше хлеба получать? Удобрений — пока мало. Паровой клин почти на нет свели. И все бы ничего, если б дожди шли по расписанию. А то в июне пусто и в июле, а в августе хлещут без передыху.

Расколов дюжину чурок и сложив дрова в поленницу, Виктор так и не решил, как быть со Звонким Лугом. Быть может, прав отец? Не кто-нибудь, а он в тридцатых годах первой коммуной в Кривопешино заведовал. А после войны, вернувшись с тремя орденами и двумя ранениями, вновь потянул председательскую лямку. Тянул бы и поныне, да в пору восхождения на трон «королевы полей» выступил защитником чистых паров. В отчетах писал, что все земли засеяны, а сам держал потайные чистые пары. Держал в стороне от накатанных дорог. И если у соседей урожаи увяли, то «Заря» процветала. Соседей укоряли, призывали брать пример с Суходолова. Ну, на партийной конференции с трибуны и сказали: славите, мол, Суходолова, а у него пятая часть земли пустует! Под чистыми парами...

И пришлось отцу признаться: мол, все верно, грешен... Неловкая создалась ситуация. Отцу строгача вкатили, и в «Зарю» райком порекомендовал более покладистого председателя. Да и снял его вскоре — переусердствовал покладистый, луга распахивал да засеивал кукурузой, а «королева-то» не росла, чахла на щебенке и на солонцах. Вот тут он, Виктор, и подвернулся. Всего-то год после института покрутился управляющим в Кабаново, и на отчетном собрании ему предложили колхозную печать. Авторитета своего у него, понятно, не было, но был авторитет отца. «Яблоко от яблони далеко не падает». Радрадешенек был отец — сын будет тянуть суходоловскую линию. Поначалу встречал в любую мелочь. И то ты, Витюха, не так сделал, и это не эдак. «Зачем Полине отпуск дал? Она его в жизни не брала. А вот ушла, и коров ее засушат!» «Зачем Михаилу помог мотоцикл купить? На мотоцикле он будет с поля к бабе на ночь ездить, да хорошо, ежели к своей. А утром проспит с устатку. Нет, ему лучше на полевом стане ночевать».

На людях, конечно, отец себя так не проявлял. Подойдет при народе, поздоровается, по имени-отчеству назовет да еще руку пожмет, словно утром не виделись. А дома полного отчета за день требует: «Где был? Что видел?»

Поначалу Виктор терпел. Он и не мог обойтись без отцовских советов. А потом решил: «Хватит! Есть своя голова на плечах. Семей и детьми обзавелся, а меня, словно в детский сад, за ручку водят». И сказал отцу: «Сам решаю — сам отвечаю».

Долго отец почти не разговаривал с ним. Порывался то овец пасти, то плотничать, то сторожить колхозные амбары.

— Сиди, — говорил Виктор, — не позорь.

И все-таки выкинул коленце отец — пошел пасти скот колхозников. Раньше-то они по очереди пасли своих Пеструх и Зорек, а тут всамделишный пастух появился. Да еще какой! Сам бывший председатель колхоза, грудь которого вся в орденах и медалях.

Досадовал Виктор, хотя и понимал, что отец и тут на колхоз работает. Раньше доярка или свинарка бросит на день ферму — и причина уважительная, подошла ее очередь стадо пасти. А теперь такие отлучки с работы не нужны.

Позавтракав, Виктор пришел в контору. Сразу приметил, что нет возле крыльца гаизака. «Где Сеньку леший носит? Заспался, наверное, после посиделок».

Виктор отправил Катю Заиграеву за Сенькой, подумав, что тот проспал. Вскоре Катя влетела в кабинет, испуганно вращая темно-зелеными глазами.

— Виктор Петрович, торкнулась я в калитку к Синецким и обмерла. Сенька с отцом воют. Прижал отца к амбару и по салазкам его, и по салазкам! Ну, я вздпяти, и до вас.

— Престольный начался, — насутился Суходолов. — Да что-то уж больно рано.

Он вспомнил, что забыл договориться с продавщицей, чтобы на сенокос и страду она убрала вино с прилавка. «Нету — и баста! Не завозят».

Не хотелось Суходолову идти к Синецким. «Не дело председателя разбирать семейные скандалы. Но ведь за хулиганство им по пятнадцать суток могут припасть, если участковый вмешается! А в сенокос каждый человек на учете. Нашли время, когда сцепиться! Из-за чего бы... Отец с сыном».

Когда он вошел в калитку, драка уже кончилась. Сенька сидел на предамбаре и плакал, уронив голову на колени и обхватив ее руками. Григорий сидел на пороге дома и отплевывался кровью. Полина вытирала ему лицо полотенцем и приговаривала:

— Так тебе, кобель, и надо! Если б не я, захлестнул бы он тебя насмерть. А я бы и хоронить не стала... Пушай она хоронит! — Полина махнула рукой в сторону избы Федоры.

На заборе верхом восседал Феофан Заиграев и кричал на Сеньку:

— Я на тебя бумагу составлю. В каталажку упеку!

Сенька схватил камень и швырнул в Феофана. Тот неловко покачнулся и свалился в ограду Федоры.

— Что у вас тут происходит? — спросил Суходолов.

Полина промолчала, зло хлестнула Григория скрученным полотенцем, зашла слезами — и в сени. Вернулась, вкатила Григорию подзатыльник и ушла.

Григорий сидел молча, безучастно свесив голову. Кадык на его красной морщинистой шее дергался, взмывались обескрылившие плечи. Григорий словно бы не почувствовал оплеухи Полины и смотрел на председателя задумчивыми синими глазами: мол, только вас, Виктор Петрович, и не хватало здесь.

— Что случилось? — Суходолов тронул Григория за плечо. — С утра пораньше петров день отмечать начали? Эх вы!

Григорий молчал.

— За что ты отца? — спросил Виктор Сеньку.

— Заработал, — буркнул тот. — Пусть сам расскажет...

— Да я, мать твою так, тебя под суд отдам! — вспылil Суходолов. — На отца родного руку поднял! Сопляк!

Сенька призывал ладонью чуприну, отливающую вороньим крылом, и стрелял исподлобья синими угарными глазами.

— Оставьте его, Виктор Петрович, — выдавил из себя Григорий, приподняв тяжелый щетинистый подбородок. — Сами как-нибудь разберемся.

— Фронтовика, ветерана войны изувечил! — закричал с забора Феофан, зажав в руке тяжелую балясину.

— Цыть! — шугнул его Сенька и метнулся к забору, но Виктор встал поперек дороги.

— Со стариком воевать... Молодец! А ну, живо в гараж, машина нужна... — И к Григорию: — Ну, а ты что, как пень, восседаешь? На Никифорову елань сейчас же трактор гони. Там — завтра косить начинаем.

Григорий поднялся, подошел к Феофану, все еще торчащему на заборе, сказал что-то и начал рыться в карманах.

Председатель зашел в избу — в шум и грохот: Полина била посуду. Швырнув на пол горку тарелок, замахнулась фарфоровой хлебницей и замерла, увидев Суходолова. Хряпнула хлебницей об пол, застонала и упала на кровать, зарывшись с головой в подушки. «Да что у них случилось, в самом деле?»

— Полина, что у вас происходит? Ни от кого ни слова не добьешься.

Полина вскинулась с кровати и запричитала, подвывая, словно на похоронах:

— Ох, ти, мне нету моченьки! Ой, я ль его, жеребца, не любила, не тешила? И зачем он пал на мою душу грешную? Да не глядели б мои глазыньки на нее, лихоманку проклятую! Уж я ей волосы повыдергиваю да ошпарю гляделки бесстыжие!

Ни дать ни взять — плакальщица! С песней слезы сыплет! Но кого хоронит Полина? Кому грозит?

— Успокойся, возьми себя в руки. Слезами горю не поможешь,— сказал Суходолов.

Но сам знал: слова его от Полины отскакивают, как от стенки горох.

Так ничего и не добившись, Суходолов ушел. На скрипнувшей половице тихо звякнули осколки посуды.

4

...Когда Сенька сцепился с Григорием и начался крик, сердце Федоры екнуло и оборвалось. Неужели не стерпел, не выдюжил Григорий и сказал сыну?.. Бросилась было на улицу, но тут ее окликнул Феофан Заиграев, вскарабкавшийся на забор:

— Тикаешь, Федора? Тикай, тикай, пока ноги целы.

Она вернулась.

— Чай пить будешь? Пей. Самовар горячий. А я по грибы...

Взяла в казенке тальниковую корзину и неторопко (откуда только смелость взялась?) пошла к воротам. Обернулась:

— День у меня свободный. Рыжики, говорят, взошли.

С улицы побыстрее свернула в заулочек и пошла по огородам, не чувствуя под собою ног, роняя редкие, непослушные слезы. Перелезла поскотину, прошла — нет, пробежала немного и упала ничком в траву. Лежала, не чувствуя ни сырой земли, ни ласкового солнца, ни времени. Она словно медленно и плавно проваливалась в бездну. И бездна не страшила, казалась глубокой и зеленой, зовущей и притягивающей.

И вспомнилась неожиданно речка, чистая, как глаза Григория. И Федора решила пойти к речке... «Пусть ему будет хорошо», — подумала она о Синицыне. Но тут неожиданно что-то в ней шевельнулось под сердцем. Раз, другой... «Что это? Неужели...» Не поднимаясь с земли, Федора прислушивалась к себе. Слушала долго, сдерживая дыхание. «Быть может, показалось?» Но тут вновь кто-то легонько, мягко постучал изнутри, точно не решаясь попроситься. Федора вспыхнула лицом, вытерла запухшие глаза и села. Приложила к груди руку и слушала, как кто-то слепой и беспомощный время от времени тыкался ей иод сердце. Ему нужна была помощь. И помочь могла она, Федора.

Федора встала, подняла корзинку. Вновь перелезла через поско-

тину («Не мять же покос...»), прошла проселком и свернула на тропинку к речке. Идти было легко и вольно, Федора знала, — что идет не одна, что несет в себе того, о котором грезила столько лет, обмывая слезами жесткие пуховые подушки.

Речка погромыхивала валунами, огороженная елями и редкими, почерневшими от сырости березами. Федора боязливо обошла излуку, где мутно рябил омут, и вышла на тропинку. На перекате в воде кто-то стоял с удилищем. На нем были резиновые сапоги и брезентовый дождевик. «Что ж это он в такую жарынь лапшак не скинет?»

Изогнутое удилище подрагивало, словно у рыбака тряслись руки.

Федора не сразу признала в рыбаке Василия. А признав, хотела шмыгнуть в кусты, но тот заметил ее.

— Здравствуй, Федорушка! Грибки промышляешь?

Василий перебрел на берег, бросил в траву связку хариусов, заглянул в корзину («Ого!») и попытался обнять. Федора отступила:

— Знай рукам место...

— По-о-о-думаешь, — протянул Василий, снял дождевик, бросил на траву и сказал:

— Садись. Отдохни.

Федора замялась. «Только этой встречи не хватало». Но стоять перед Василием, устроившимся на земле, было неловко, и она села.

— Как живешь-то? — спросил Василий, закуривая. И ухмыльнулся:— Замуж не собираешься?

— За кого? — подняла на него глаза Федора. — Добрых-то давно разобрали... А пьяниц обстирывать не велика радость.

Федора заметила: Василий осунулся, потемнел лицом, на щеках торчала редкая щетина. «Укатали сивку крутые горки! Экую семью наплодил. Не мудрено».

— Анна не выписалась? Как она?

— А что ей? Родила парнишку. Нехитрое дело, умеючи.

«У меня-то как обойдется?» — невольно подумала Федора и сказала:

— Навестить бы надо Анну, да некогда.

— Нужна ты ей! — распевно вывел Василий, плутовато обшаривая глазами Федору. — Она тебя, как черт ладана, боится! Знает — не ровня. Ты-то вишь какая налилась!

Василий неожиданно притянул ее к себе и поцеловал.

— Отвяжись! — вырывалась Федора. — Платье порвешь!

Она так и знала: Василий начнет приставать. Надо же было им встретиться один на один!

Василий стиснул ее, повалил на дождевик. Федора вцепилась зубами в руку Василия, затем, изловчившись, отшвырнула его ногой. Поднялась, схватила камень:

— Не подходи! Ты думаешь: одна живу, так каждому встречному-поперечному рада?

— Кто тебя знает? — сказал Василий, заправляя рубаху. — Но святой ты напрасно прикидываешься. Всплывет скоро все на чистую воду.

— Что всплывет? — «Неужели и он все знает?» — Испугалась она и сказала: — Ты меня не страшай. Я про себя знаю.

— Не сердись, — пошел на попятную Василий.

— А чего накинул?

— Так ты мне не вовсе чужая, — и Василий улыбнулся. — Кой-когда ты во сне даже гредишься.

— Мели, Емеля!.. Да не вздумай людям сказать об этом. — Федора швырнула в речку камень. — Засмеют.

— Оно само собой разумеется, — согласился Василий, потирая укушенную руку. — Ну и зубы у тебя... Как у сенокосилки.

Федора подняла корзину с грибами и пошла вдоль речки, спиной чувствуя, что Василий смотрит ей вслед.

В деревню она вернулась за полдень. Тревога, забывшаяся в лесу, вновь засвербила под ложечкой. К дому Федора подходила с опаской. Чем ближе, тем сильнее колотилось сердце. «Как там Полина? Пластом лежала, в ограду не выходила, а тут взметнулась».

Федора хотела тихонько открыть калитку, но перед самым домом передумала. «Будь, что будет. Рано ли, поздно, а от разговора не уйти. — От этой неожиданной мысли сдавило дыхание и холодок пробежал по спине. — Полина сама не в себе. А мне-то разве легче?»

Федора просунула руку в калитку Синицыных и повернула закрутку. Ноги — словно она их отсидела. Вошла в сени и распахнула дверь. Полина сидела за столом и пила из блюдца с синим ободочком чай. Увидев ее, Федору, выронила блюдце и, съехившись, прикрыв рот ладонью, уставилась запавшими глазами на Федору и страшно молчала.

— Здравствуй, соседка, — сказала Федора, проглотив подкативший к горлу ком.

Затем переступила порог и, обессиленная, села на стул возле стола. Подняла глаза на Полину («Что же я натворила!») и заплакала, уронив голову на стол, залитый чаем.

— Убей меня, Полина, легче станет. Не молчи только, не молчи.

А Полина молчала, покусывая бледные губы. На желтой морщинистой шее билась синяя жилка, вот-вот готовая лопнуть. Высокий лоб покрылся испариной. Ноздри тонкого носа краснели словно ссадины.

— Заявилась — не запылилась, — процедила наконец, она сквозь зубы. Отняла ото рта руку, размахнулась и ударила. Раз, другой... третий. Федора не поднялась.

— Потаскуха! — завизжала Полина, извиваясь всем телом и скрипя зубами. — Живи с ним, старым порозом, живи! И духу его в моем доме не будет!

— Послушай меня, Полина, послушай. — Федора подняла от стола голову. — Не нужен мне Григорий, не нужен. Крестом, богом клянусь — не нужен. Дитятю хотелось. Кто за меня жить на земле будет?

— Хвостом крутишь, вертихвостка! — размахивала руками Полина. — Мало тебе мужиков в деревне? Приглашай!

— Ты же знаешь меня, Полина, — выдохнула Федора и упала Полине в ноги. — Крестной, дай бог, моему ребятеночку будешь.

— Ах ты, змея подколодная! — завопила Полина. — Ишь чего выдумала! Да я тебя! — И она схватила со стола пышущий паром самовар.

Федора подняла голову, но с пола не поднялась. «Делай, что хочешь. Вот я, вся перед тобой, как на духу...» А Полина держала самовар, держа его дрожащими руками и вдруг швырнула его к печке.

— Уходи, — простонала она и упала на стул.

Федора поднялась и, ступая по разлившемуся кипятку, вышла.

5

Сенокос в Кривопишино всегда начинали с Никифоровой елани. Место там низинное, надо управиться до июльских дождей, чтобы не пришлось вывозить траву из воды: хлынет ливень, и броди в воде по кочкарнику. А трава на Никифоровой елани добрая — мятлик и пырей, люцерна, розовый да белый клевер. Изредка горящим угольком

мелькнет саранка, яичным желтком вспыхнет мак, качнет бархатной головкой черноголовник.

Еще вечером в петров день на Никифоровой елани поднялись первые балаганы, крытые брезентом, тальником и свежей кошениной. А утром и вовсе сталолюдно — и стар и мал притащились ни свет ни заря — кто на телегах, кто на машинах, а кто и на своих двоих, благо, от Кривопишино до покоса верст восемь, а с разговорами — и того меньше.

Лишь проснулось рыжеголовое солнце, вышли на первый уповод. Из края в край вытянулись по лугу косари. Первый прокос доверили Петрухе: уважь, дескать, Семеныч, земляков. Затеппело в груди у Суходолова, но вида не подал, мол, так и должно быть. Как же иначе?

Косит Семеныч легко и размашисто, только в плечах похрустывает. «Вжик-вжик», — выговаривала коса, и зеленый вал поднимался по левую руку. «Вжик-вжик», — и пришлось развязать поясok на красной сатиновой рубаше. «Вжик-вжик», — и скатились в брови соленые дождики, и легкой, приятной болью отозвалось в спине. Суходолов остановился, выдохнул и прошелся оселком по литовке. Оглянулся — кос триста или больше поспевали за ним. «Браво идут, черти! Как на параде!» От цветастых косынок и платьев, от самого разнотравья, осыпанного росами и облитого солнцем, рябило в глазах. Семеныч взмахнул косой. «Вжик-вжик», — и ветер свежестью ударил в лицо. «Вжик-вжик», — и снова у ног зеленое травосочье. Но вот Федора ударила в рельсу у балагана. Суходолов остановился, потер взмокшую спину, закинул косу на плечо и пошел, ступая ичигами по мягкой, волглой стерне. А другие все еще косили, наступая друг другу на пятки: «Пошевеливайся!»

Суходолов вымыл руки и сел за длинный, из досок сколоченный стол, на котором горками поднимались ломти хлеба и стояли миски с маслом и сахаром. Федора подала рисовую кашу и налила чаю.

— А молочка у тебя не найдется? — попросил Семеныч, заметив, что таборщица сегодня как в воду опущенная.

Без чая Суходолов ничего не ел. Каша-малаша иль щи-трещи, а без чая во рту сухо. Но чай он пил без сахара — с молоком. А если чай зеленый, то и с солью. У бурят привычку эту перенял.

Федора принесла молоко.

— Ты чего это, девка? — спросил Суходолов участливо. — Какой комар тебя укусил?

— Сон худой приснился, Петр Семенович.

И Федора улыбнулась покрасневшими глазами.

— А ты виду людям не подавай, — посоветовал Семеныч. — Вот сон дурной и не сбудется. Верное средство. Сам на себе испытал.

У Федоры огнёво взялись щеки.

За столом рассаживались косари, покрасневшиеся, взмокшие, проголодавшиеся. Рядом с Семенычем пригнздилась Раиса Петровна.

— И вы свой прокос закончили? — удивился тот, до этого приметив, как она неумело размахивала косой.

— Мне бы и к ночи не управиться, — призналась фельдшерица, — да Семен Синицын помог.

— Знает, кому помогать, — подмигнул Суходолов.

— Один за всех, — не смутилась Раиса Петровна. — и все за одного.

По другую сторону от Семеныча сел Виктор.

— Устал, отец? — спросил.

— Есть маленько...

— На второй уповод я с твоей косой пойду.

— Разомнись, а то еще эту самую сидячую болезнь наживешь.

За столом рассмеялись.

— А на кого ты коров оставил? — спросил Виктор.

— Мальчишек упросил, монпасейками уговорил, — и улыбнулся, вспомнив, как он на трешницу набирал леденцов.

Ели косари весело и расторопно. Одни сгрудились за столом, другие примостились в кустах. Поглядывая на знакомые лица, Семеныч вспомнил первую в Кривопишино коммуну. Тогда, в тридцатых, они, коммунары, жили одной семьей. И оловянные чашки общие, и деревянные ложки общие, и похлебка в котле — одна на всех. Отрезали им землю за Никифоровой еланью — сейте, жните. Сеяли из лукошка, жали серпами. И ничего — ладилось дело.

Попервости в «Заре» скучилось дворов тридцать. А на другой год раздалась в плечах коммуна, середняки — и те записались, скотину-животину на общий двор привели. А конфузоз-то сколько было? Отец Васьки Конопатого говорил: «Жениться вот надумал. Штаны на свадьбу требуются».

А где их взять, штаны-то? Да и у Марьюшки, невесты, платье латано-перелатано. Поскребли в коммунарской кассе и отправили гонца в город. Привез он саржи на шаровары и бумазейки на платице. И пошла-поехала свадьба! Первая в коммуне.

После чая Семеныч принялся отбивать литовки. Постукивал молотком, поплеывая на лезвие, и взглядывал на поляну. Крайним слева шел в белой рубаше Виктор. Не разучился, видать, косить, прет, как конь необъезженный.

К обеду Никифорова елань, словно тетрадка, была наполовину разлинована зелеными валами. Федора трижды ударила мутовкой в подвешенный обрубок рельса, и Виктор первым остановился на загоне.

Обедали. Была баранина с лапшой, картошка с салом.

После обеда Федора сказала:

— Поеду Синицына кормить. А вы, Петр Семеныч, за костром приглядывайте.

Федора запрягла коня, кинула в телегу кошенины, бережно положила в ноги мешок и уехала по кромке поля к речке, откуда доносился добродушный говорок трактора.

Семеныч постукивал по тонкой каемке косы, оттягивая молоток на себя. Сейчас пошли другие бабки — ровные. Положишь литовку наизнанок — и бей с размаху. Но Семеныч привык к старой бабке — округлой, словно луковица. И коса лицом к тебе, и лезвие чувствуешь. А вообще-то, почему ученые мотор к литовке не приставят? Есть малюсенькие сенокосилки — газоны подстригать, а сено косить — нету. Конечно, косят и тракторами. Григорий вон Синицын. Но это на равнине... А в колхозе, считай, больше половины покосов в тайге, в болотине. Взять вот эту же Никифорову елань, кочек — словно звезд на небе. А сколько в колхозе делян, которые заново ольхой да таволжником заросли. По пять-десять копен поставишь — хорошо. Но разве колхоз позарится на эти клочки? Ему стога нужны. Правда, колхозники про эти заброшенные деляны помнят. Кто смел, тот успел: выкосил и зародишко поставил. И он, Суходолов, будучи председателем, смотрел на это сквозь пальцы. Все руки не доходили расчистить заброшенные луговины.

На табор прибежала Раиса Петровна — в синих брючках, в полотняной шапочке с пластмассовым козырьком.

— Уработалась, Петр Семенович! Посмотрите... — И протянула ладони с водянистыми волдырями.

— Кто же тебя заставлял руки калечить?— сказал Семеныч.— Опустить их в холодную воду, жар и поутихнет.

Веснушчатый нос Раиси Петровны розовел редиской, потрескался и шелушился. Коротенькие косички, схваченные резинками и похожие на мышинные хвостики, торчали, как у школьницы.

— Привыкнешь со временем, — утешил ее Семеныч. — Вот выйдешь замуж, обзаведешься коровой. А корове на зиму сено понадобится.

Рад был Григорий, что именно вчера выехали на покос. Не надо было ночевать дома и продолжать свару с Полиной. И откуда только узнал Сенька, что Федора тяжелая? Оно и впрямь — шила в мешке не утаишь.

Только он, Григорий, вошел с Феофаном в ограду, а Сенька встречать. Отозвал его в сторону и спросил, как обухом по голове:

— Отец, Федора, говорят, ребенка ждет от тебя?

— Кто говорит-то? — И подкосились колени.

— Я говорю покамест, — по-волчьи зыркнул глазами Сенька. — А вскоре и вся деревня заговорит.

Холодный пот разом прошиб Григория.

— Ну, было у меня с ней... чего уж там... Было!

И тут Сенька двинул его кулачищем в зубы. Отца-то! Родного!

Помнит Григорий, как он поднялся с земли и, забыв про Феофана, пошел на сына. «Сомну, паршивец! Ноги узлом завяжу!» Он хлестнул с размаху, но Сенька увильнул, сунув кулаком под дых. Григорий схватился за живот, согнулся в коромысло.

...Григорий вел трактор, поглядывая, нет ли камня или валежины. Полотна сенокосилок он опустил едва ли не до самой земли. Не потому, что побаивался агронома или Виктора Петровича, кто мог проверить, не высокий ли срез, а ему и самому было приятно косить так, чтоб было любо-дорого поглядеть.

Григорий в который уж раз вспоминал случившееся. Знала же Федора, чем это может кончиться, знала, да промашку дала... А может, она родить хочет, ведь не раз ненароком речь о ребяточке заводила? А я-то, старый дураплих, попал, как кур в ощи! Что же теперь с Полиной станется? Ревом ревет! Ну хошь на глаза ей не попадайся! А куда денешься? Не к Федоре же перебираться! Да и примет ли Федора? Вспомнил, как он последний раз был у Федоры... Они и крючок на дверь не набросили, так их друг к дружке потянуло. Но вспоминать об этом не хотелось. До того ли нынче? Не лицо, а душа в кровоподтеках.

Григорий повернул к себе зеркало. «Ну и расписал сынок!» И под глазами фингалы, и нос разбух, и губы поднялись, как тесто на опаре. И тут Григорий увидел в зеркало телегу, а в ней — ее, Федору. Григорий заглушил трактор и пошел по нескошенному полю к листовнице, стоявшей неподалеку.

Подъехала Федора.

— Здравствуй! — И привязала к дереву коня, всхрапывающего от паутов. — Проголодался?

Развязала мешок, достала туес с супом, бутылку с чаем, нарезала хлеба, приложив ковригу к груди.

— Ложка-то есть у тебя?

Достала из-за голяшки ложку и протерла кончиком платка, белого, с мелкими красными стружками-завитушками.

Григорий открыл туесок и сунулся с ложкой.

— Погоди... — Федора почти незаметно улыбнулась дрогнувшими губами и вытянула из мешка початую бутылку. — Тебе лично от председателя...

— Так уж и от председателя... лично, — хмыкнул Григорий, по-светлев глазами.

— Видела я косьбу твою. Не косишь, а бреешь. Да выпей, выпей, не гляди на меня.

— А ты?

— Не буду. Да и нельзя мне... — отказалась Федора.

Григорий выпил и начал есть.

Легко ему было с Федорой. Пришла, угощает, и ни слова о вчерашнем, словно ничего и не было. И о синяках ни гугу, будто не видит. И косьбу похвалила, заметила. И эта похвала Федоры была дороже любой почетной грамоты.

— Выпей, — сказал Григорий и налил в кружку.

— Нельзя мне, — сказала и зарделась, смутившись. — Ну разве самую капельку? — И отглотнула.

— А почему «нельзя»? — спросил Григорий, хотя и догадался.

— Сам знаешь...

И замолчала, ласково взглянув ему в глаза. Затем повалилась на спину, закусив травинку, и тихо вздохнула:

— И все же хорошо жить, Григорий! Ждешь, надеешься...

Всегда она вот так. И вспомнил, как у Федоры медведь корову задрал... Пришла с мокрыми глазами и квохчет:

— Выйду во двор — пусто. Все подойниками брякают, с Пеструхами и Буренками речи заводят, а я пальцы ломаю. Жить неохота.

А попила чайку, посудачила с Полиной и вдруг ни с того ни с сего — «а все же хорошо жить!» Чудная, с заскоком.

Григорий хотел спросить Федору, что говорили ей Полина и Сенька, но не спросил. Зачем ей душу растравлять? Вот лежит она на траве, смотри ясно так, то ли на облака, то ли на лиственницу, а в груди, наверно, кошки скребут. Крепится, виду не подает.

Федора поднялась, собрала посуду.

— Поеду, а то люди еще подумают что-нибудь.

И посмотрела непонятно, то ли жалостливо, то ли обидчиво. Отвязала коня, прислонилась щекой к его морде и сказала:

— Ничего, Григорий, все перемелется.

Григорий смотрел вслед телеге и ждал, когда обернется Федора. И Федора обернулась, помахала платком с красными стружками-завитушками.

Сенька смикитил: уж не ради ли него пришла на Никифорову елань Катюша Заиграева? Взяла прокос рядом, справа, и не отстает ни на шаг. Поднажмешь, поплевав на ладони, и она колом рядом катится.

Катюша должна была сенокосничать дома, в Кабаново, но ей, видите ли, здесь глянеться.

— Я люблю, где шумно, — говорит, а сама пуговицу на кофточке вышитой теребит и дуэтом травянистых, чуть с раскосинкой глаз стреляет. А может, он ошибается? Холостых-неженатых в Кривописино — хоть каждый месяц свадьбу играй. Да и в Кабаново есть на кого крючок наживлять, только осенью пятеро из армии вернулись. К дому, к деревне стала молодежь прикипать. Соображает — жить можно. Парни — трактористы да шоферы получают не меньше, чем в городе. А расходов? На сигареты «Шипка», на кино да на беленькую изредка. Остальное — из подполья, из амбара, из стайки, с огорода.

Каждый на мотоцикл целится или на лодку с «Ураганом». Завелась копейка. Ну, а если парней, как раньше, не смущает город, то и девчата тут. Зачем им на сторону? С городскими конкурировать? Правда, кое-кому удастся поступить в институт или в техникум. Ну что ж, тяни до кандидата наук, чтобы знали сельских!

На перекуре Сенька предложил Катюше сигарету.

— Не куришь? Отстаешь от моды, счетовод-бухгалтер. Замечала в кино — что ни краля, то смолит напрапалую!

Сенька хотел подкатиться к Катюше, память, дурачась, при народе, но остерегся — еще Раиска, Раиса Петровна, увидит. Ну и пусть видит! Кто она ему!

Сенька замял о каблук папиросу, кувыркнулся через голову и облапил Катюшу. Та завизжала, вырываясь, горячая и упругая. Бабы захохотали, заулюлюкали, заплескали глазами:

— Давай, давай! Мягше будет!

— Проверь, Сенька, не вата ли под бугорками?

Катюша вырвалась, притворно и безобидно хмурясь:

— Медведь! Бесстыжий!

А вот Раису Петровну потискать Сенька не решился бы. Не та депаха! Близо к себе не подпускает, все шутками-прибаутками отделяется. Ну погоди, обломаю!

К первым звездам с Никифоровой елани, словно с новобранца, сняли пышную шевелюру. Луговина казалась пустой, неудобной и незнакомой.

Закинув на плечи косы, косари неспешно шли к балагану. Люди чувствовали: не просто сегодня день закончили, а причастились к чему-то так необходимому душе. Это было чувство общей, артельной работы, чувство не угнетающей и не сгибающей усталости. И если это настроение жило в Сеньке, то оно струилось и в других.

Ужинали. Картошка с мясом, соленая черемша. И помидоры, красные помидоры, каким-то чудом выловленные в темных кладовых райсоюза.

Сенька сидел за столом рядом с Раисой, смеющийся, раскрасневшийся.

Над столом поднялся Виктор Петрович, застучал ложкой по стакану и проговорил:

— Товарищи! Спасибо вам за хорошую работу, за удадь спасибо. Вы знали, что по традиции первый день сенокоса — наш рабочий праздник. Если и дальше будем так работать, то коровы без сена не останутся. Колхозные коровы. А как прокормить свою личную коровенку? Те, кто занят на покосе, по машине сена, как всегда, получают. Ну, а другие? Доярки, чабаны, свинарки? Не воровать же им колхозное сено? Вот и решили мы раздать заброшенные колхозные покосы. Косите, расчищайте...

Косари одобрительно загудели, но вскоре притихли. Что еще скажет председатель?

А Виктор Петрович продолжал:

— Из деревень многие в город переметываются. А почему? Да потому, кроме всего прочего, что буренку свою прокормить нечем — негде сена накосить. Разве это дело?

Суходолов стал перечислять таежные поляны и болота, где будут косить кривопишнцы. Матренино поле, Медвежий закуток, Леший угол, Черная Ляха... Много было вокруг Кривопишино ничейных пятачков, где можно поставить по пять-шесть копен. У колхоза руки до них не доходили. Правда, у каждой «ничейной» поляны давно был хозяин — Иван, Семен или Петр. И все знали об этом.

— А Студеный Ключ? — спросила Федора. — Я там уж который год по три копны накашиваю.

Одни улыбнулись над прямодушием Федоры, другие рассмеялись. А Суходолов сказал:

— Не знал я этого раньше. А то бы имел полное право сено отобрать. Земля-то колхозная...

— Так ведь и я колхозница, — тихо выдохнула Федора, не понимая, как это могли у нее отобрать воз сена в Студеном Ключе, где трава все равно пропадает.

Суходолов улыбнулся Федоре. И тут заиграла гармошка. Это Петруха не забыл прихватить ее с собой.

Чуть хриплым голосом Семеныч запел:

Ах, девушки-беляночки,
Ходите на поляночки,
А бабами вы будете —
Поляночки забудете!

Взметнулись девчата из-за столов, запели, запритопывали — кто во что горазд!

Сенька знал, что скоро пойдут частушки — ершистые, забористые. Уж если разойдутся девчата, то и бабы не утихомирятся.

В круг ворвалась Ранса Петровна, пропела, высоко взметывая красивые ноги:

Мой миленок,
Как теленок,
Только веники жевать.
Проводил меня до дома —
Не сумел поцеловать.

Петр Семеныч молодецкато выгибал меха, не давая пляшущим передыха. Распалился старый! Это в клубе Петруха играет деловито и чуть торжественно: вальс да танго играет. А тут разобрала его частушка да пляска. Да и весело Суходолову-старшему от веселого гомона, от пылающего костра, от звездного неба... Это не то, что в клубе, при канделябрах. «И как он догадался прихватить на покос гармошку?» — удивился Сенька. Сколько ни помнит себя Сенька, его всегда сопровождала гармошка Суходолова. Новогодний утренник в школе — Суходолов хороводом управляет. Свадьба случится у кого — опять-таки Семеныч веселит гармошкой. И танцев в клубе не было бы, если б не Семеныч. Можно, конечно, и под радиолу танцевать, да не то... Лишь в трясучке можно выламываться.

Гармонист в Кривопишино один — Семеныч. Шоферы, трактористы, доярки в каждом доме народились, а вот с гармонистом не повезло. Есть учителя, агрономы. Колька, говорят, на космонавта учится, а вот гармониста ни из одного кривопишинца не вышло. Слава богу, что Суходолов еще в тридцатые к гармошке присватался, а то бы засохла деревня без музыки.

Помнит Сенька, когда Суходолов председательствовал, то гармошка нередко была ему и в делах колхозных помощницей. В субботу, бывало, в самый разгар танцулек отложит гармонь в сторону и говорит:

— А что, молодежь, если мы завтра воскресник по вывозке удобрений проведем?! — И пошутил: — Кто не придет, тому от клуба от ворот поворот!

И глядишь — уговорил за две минуты.

А возле балагана, возле костра одна за другой вспархивали частушки и кружились вместе с искрами.

По лужайке зеленой,
По-над речкой тихою
Мой миленок, как больной,
Ходит за врачихою.

Сенька вспыхнул лицом, узнав по голосу Катюшу Заиграеву. «И чтоб тебя!.. — скрипнул зубами. — Ишь сочинила! Для того, видать, и приперлась из Кабаново, чтобы свою частушку-нескладушку на люди пустить!» Сенька, зло прищутив глаза, смотрел на Катю. А Катя легко, играючи выбивала дробь у костра, разметав крыльями руки, словно ей и дела не было до Сеньки и Раисы. Мятащиеся рваные отблески плясали на лице и на руках, и Катюша казалась высокой и легкой, готовой взлететь. «Ну и выкинула коленце! — не успокаивался Сенька. — Теперь пойдут языком чесать!» Ему хотелось войти в круг, лихо ударить каблуками и пропеть что-нибудь такое, от чего бы Катюша закрыла глаза руками, вскрикнула слезно и убежала из круга. Но сочинять частушки он не умел. Ну и пусть все знают, что врачиха будет моей! Знайте и завидуйте! Плевал я на ваши частушки, на ваши разговоры! Знайте и завидуйте! Сенька поискал глазами Раю, но ее нигде не было. Она попросила запрячь коня и уехала в деревню.

6

День начинался обычно. Только ступил Суходолов на крыльцо конторы, как его окружили люди. Одним нужно о чем-то спросить, другим выпросить что-то, третьим пожаловаться. Василий Конопатый по своей привычке ухватился за пуговицу и начал:

— Вот какое дельце, Виктор Петрович. Ребятишки тридцать кулей картошки нарыли. Так уж помоги отвезти ее на базар. Сказывают, по тридцать копеек кило цена ей нынче. На новую-то картошку люди падкие. А у меня она в кулак.

— Да отпусти ты пуговицу! — не дослушал Василия Суходолов. — Оборвешь! Руки тебе связывать, что ли?

Василий виновато заморгал глазами и заложил руки за спину.

— Машину бы мне, Виктор Петрович. — И рука Василия вновь по-кошачьи взметнулась к пиджаку.

— Да убери ты руку! — повторил Суходолов. — Машину, говоришь, надо? Ну, хорошо... Сниму с поля — и торгуй на здоровье. А комбайны пусть простаивают — так, по-твоему? — Суходолов заметил, как жар прильнул к щекам Василия. — И что у тебя за натура — ума не приложу. Колхоз для тебя вроде дойной коровы!

Суходолов всегда удивлялся то ли наивности, то ли нахальству Василия. Уж если тот просит выписать мяса с колхозного склада, то стегно, не меньше. А у самого ни погреба, ни холодильника. А если кланчит Василий денег, то не меньше тысячи. Так было на прошлой неделе. Пристал, как репей:

— Хочу мотоцикл покупать. «Урал». С коляской. Добрые люди обещали.

Врет и глазом не моргнет. Ишь обещали! А мне мотоцикл для агронома второй год райсоюз обещает. У меня там родной братан то-вароведом... Да и кто даст права на вождение Василию, если он дальтоник! Цвета не различает: все у него черное — и трава, и небо, и синие глаза жены. Но Василию все нипочем. Сказывают — купил цветной телевизор. А сейчас до чего додумался! Выкопал картошку раньше времени и машину просит в город.

Держи карман шире!

— Так пропадет же картошка, — говорит Василий, сунув руку

в штанину. — Уж больно молоденькая она. — И Василий заискивающе улыбнулся тонкими губами. — Так как же насчет машины? Горожане-то в нашей помощи нуждаются. Подсобить им свежей картошечкой надо.

Суходолов вспылил:

— Экий ты, Василий! Ну, словно паут, прилип. И как не поймаешь — уборка! Машин и без того не хватает! Сдай в сельпо картошку.

— За бесценку, что ли? — удивился Василий. — А мне деньги нужны, хочу баян купить.

— Баян? — переспросил, изумившись, Суходолов. — Зачем тебе баян?

— Как зачем? Ну, «барыню» играть, частушки всякие... А то ведь лишь отец ваш умеет.

Суходолов разулыбался. «Ну и артист! То он без мотоцикла жить не может, то без баяна. Чего доброго, и в самом деле баян купит! Из дома пиликанием, словно дымом, выживет».

Василий жил рядом — огород в огород.

Суходолов прошел в кабинет. Только начал просматривать сводки из бригад, как открылась дверь и вошел Григорий Синицын.

— А, ты, Григорий... Садись. Расскажи, как живешь.

— Да вот живу... На огонек зашел...

Суходолов давно видел: не находит себе места Григорий, давно бы поговорить надо, а тут случай в самый раз.

Григорий видел, что председатель тоже волнуется, барабанит пальцами по столу, щелкает на счетах замусоленными костяшками. Трудно начинать разговор, которого не миновать.

Как в воду прыгнул Суходолов:

— Как здоровье у Полины-то? Заходишь к ней или нет?

— Нет... Да и не пустит она.

— Болеет ведь, Полина-то... Может, путевку на курорт, а? Не догадался я ей раньше предложить. Уж пусть извинит. Захлопотался.

— Не возьмет она путевку, — сказал Григорий. — Не привыкла Полина по курортам разъезжать. Вот одыбается чуток, выйдет на работу — и разом поправится. Она из-за коров себя пуще болезни изводит.

Суходолов посмотрел внимательно на Григория и, извиняясь голосом, спросил:

— Как жить-то, Григорий, думаешь?

Григорий понял, о чем спрашивает Суходолов. И сказал то, о чем не раз думал, тревожно и горько:

— Уберем хлеб, а потом я в город насмелюсь. Устроюсь. Не пропаду.

Суходолов не отговаривал Григория. Он знал, что гоним гони Синицына из Кривопишино, и то не выгонишь. Уж если бы задумал он всерьез в город податься, то не стал бы ждать, когда жатва закончится.

Хотелось Суходолову присоветовать что-нибудь Григорию, — да что тут присоветуешь? В заварухе только он сам разобраться может. И все же хотелось, чтобы Григорий примирился с Полиной.

Григорий ушел, а Суходолов принялся звонить в район, однако линия была все занята и занята, и он, бросив трубку, поехал на поля, где шла жатва.

Вечером по улице подкатил грузовик. Василий вылез из кабины, веселый и пьяный. Шофер подал ему баян. Василий развернул малиновые

меха. Баян захрипел, застонал, выплескивая несурзные, истошные звуки.

Покачиваясь, Василий зашел во двор. Вскоре оттуда послышалась ругань — Анна, жена Василия, ругала мужа. Через распахнутые двери слышалось:

— Гармозень купил! Деньги извел! А на что она тебе?

Суходолов вышел на крыльцо. Через забор было видно, как Василий ломится в запертую дверь.

— Не ломись! Не пушу! — кричала в форточку Анна. — Живи в сараюшке со своей гармозенью!

Суходолов, закрыв плотнее дверь, вернулся к столу, но через окно еще долго доносились взвизгивающий голос Анны и занудливое пиликанье баяна.

Неожиданно дверь распахнулась и в дом вбежала Анна.

— Караул! Спасите!

Вбежав в ограду соседей, Суходолов увидел Василия возле свиней и поросят у корыта. Василий пинал их, отгоняя от корма, и кричал:

— Цыть! Задущу!

Кинулась к корыту и Анна. Хлестала поросят хворостиной, но те от корыта не отступали.

И тут Суходолов увидел в корыте деньги — червонцы, тройки, рубли...

«Что за чертовщина! Свиней деньгами кормят!»

— Горе мое, горюшко! — слезно стонала Анна, вылавливая из отрубей скомканные деньги. Растерянная, она совала их за пазуху, кидала на землю.

Странное чувство владело Суходоловым — хотелось смеяться, но смеха не было. Не зная, как ему быть, Суходолов пнул корыто, и оно опрокинулось набок. Пнул еще, и корыто перевернулось вверх дном.

Василий сел верхом на корыто и стал вытирать с лица испарину.

Анна загоняла свиней в закуток. Управившись с ними, пожаловалась:

— Не пустила я домой окаянного. Он — в сараюшку. Спит в бесчувствии. А деньги перед этим в отруби запрятал. От меня прятал, лихоимец! Ну, а я нагребла отрубей, да и свиньям...

— Всех их порешу завтра! — грозился Василий. — Три сотни сожрали!

После того дня, когда Сенька схватился с Григорием, Полина неожиданно поднялась с постели. Хлопотала в избе, в огороде. Дивилась: «И откуда сила взялась! То едва по дому ковыляла, а сейчас ведра из колодца таскаю».

Полина побелила в избе, до желтизны выскребла ножом сени и каждый день обихаживала огород — проредила морковь, общипала пасынки помидоров, поливала засохший лук. Полина искала в работе забытья от неожиданной беды, от своих тяжелых дум. Искала, но не находила.

«Что ж, огурцы, говорят, с чужой гряды всегда слаще», — думала она о Григории. Не знала, чем не угодила мужу, если его потянуло к другой.

В молодости сошлись они так легко и просто, словно друг для друга и родились. Остановилась как-то поздно вечером машина подле дома. Постучал кто-то в двери.

— Здравствуйте. Нельзя ли заночевать у вас? Машина у меня забарахлила.

И глянул на Полину жердистый парень с певучими глазами. На нее глянул, а потом на стол.

— Чай с сахаром. У вас картошка, гляжу, рассыпчатая, а у меня омулек солененький.

Не дождавшись, что скажет мать, Полина выпалила:

— Ночуйте.— И добавила зачем-то: — Клопов у нас нету.

— Я привезу их в другой раз, — хохотнул парень, разглядывая избу.

Тут и мать поддержала сконфузившуюся вдруг дочь:

— Ночуй, коль такой веселый.

И зачастую с той поры Григорий в Кривопишино. А после Покрова сватов прислал.

Нецелованной повстречала Полина Григория, и потому, может быть, жила с ним бестревожно. Стирала, варила, хлопотала по хозяйству и любила мужа по-молодому свежо и неумело. Ей и в голову не приходило, что Григорий может потянуться к другой женщине. И вот грохотом ледохода ошеломляющая весть — Федора ждет от Григория ребенка! Как же так? За что такая кара? Не скандалила она с Григорием, не корила, внимания к себе особого не требовала. А Федорато! Словно змею подколенную, ее на груди пригрела! Ни в чем не таилась, жалела, бывало, в кручине. А она вон как за все отдала...

Полина намеревалась поговорить с Григорием — и не могла. Приедет тот, попарится в бане, а она и белье ему не соберет — руки не поднимаются за отступником ухаживать. Что ни спросит Григорий — она словно не слышит и не видит. Заживо умер Григорий для нее. Но Полина знала — так долго тянуться не может. А где выход? Наконец насмелилась она переговорить с Сенькой.

— Как же быть нам, сынок? — спросила она за чаем.

— Делов-то! — сказал Сенька, не раздумывая и не дрогнув бровью. — На развод подай. И все тут. Ну, а я тебя в обиду не дам.

Не ожидала Полина, что сын так легко все рассудит. Ишь ему с отцом расстаться, словно шапку старую выбросить. Нет, она так не может. Четверть века прожить рука об руку — и «разведите нас, люди добрые!» Это вроде вовсе у них ничего хорошего не было, не жили людьми, выходит, а существовали.

Не знала Полина, как ей поступить. Но без разговора с Григорием не обойтись. И она ждала, когда он снова придет с полевого стана. «Хоть бы дождь пошел, и комбайнеры семьи свои навестили».

И вот сегодня под вечер зашебаршил по крыше дождь. Полина пошла встречать корову, попала под ливень и мигом промокла. Она забежала в сельмаг и взяла для Григория бутылку. «Пусть согреется, вертопрах окаянный!» Встретила Зорьку, подоила, затопила баню. Затем поставила на печь солянку с мясом и стала с нетерпеливой тревогой поджидать Григория.

Ждать пришлось недолго. Хлопнула калитка — и, мокрый с головы до ног, появился Григорий. Пошаркал в сенах сапогами и вошел в избу.

— Здравствуй.

Сказал сухо, холодно и молча разулся.

— Здравствуй, — сказала, помедлив, Полина. — Замерз поди? А у меня есть кой-чо для сугрева. Сейчас выпьешь, или после бани?

Григорий поднял на Полину тяжелые, непонимающие глаза. Ему было б легче, если б жена, как это повелось с недавнего времени, встретила его молчком. Григорию вовсе стало не по себе.

Полина же открыла шифоньер и, как в старые добрые времена, стала собирать ему белье.

— Замори червячка, — сказала, обернувшись. — А потом уж помоешься. Солянка как раз поспела.

Григорий смотрел на жену. «Неужели простила? — подумал и не поверил: — Нет, не сможет Полина простить, не сможет».

— Не промялся я, — сказал Григорий, невольно потянув носом, — потом уж...

А есть ему хотелось. С обеда маковой росинки во рту не было. Но надо было выйти из дому и побыть хоть минуту наедине.

Григорий взял полотенце и вышел. Достал с чердака березовый веник и юркнул в баню. «И что это приключилось с Полиной?» — думал он, раздеваясь.

Остервенело хлестал себя березовым веником, часто плескал на каменку, чтобы было больше жаркого пара. Он словно хотел наказать себя за провинность перед Полиной. «О себе да о Федоре только думал, а про жену забыл...» Хотелось, чтобы Полина была туг же, потеряла, как прежде, спину и окатила его теплой водой. И, одеваясь, сказала бы насмешливо:

— Шибко-то не изводи себя паром...

Он вздохнул. У нее теперь одно занятие — шею ему мылить и пилить заживо.

Приехал бы Сенька да зашел в баню. Поговорили бы. А то словно чужие — ни слова, ни полслова. Друг друга сторонятся.

Григорий оделся и пошел в избу. Снял сапоги, отдышался на пороге.

— Ну и натопила ты сегодня, — сказал он жене, — спасу нет.

Полина словно не расслышала похвалы.

— Садись, ешь. — И налила Григорию в стакан, обронив: — За что пить-то будешь?

Посмотрела, прищурилась, в глаза мужа. Растерянно, испуганно посмотрела. Григорий на мгновение растерялся, потом сказал как ни в чем не бывало:

— За тебя, за Сеньку.

И выпил.

Полина смотрела, как он накинудся на еду. Смотрела и молчала, раздумывая, как завести разговор.

— Как жить-то будем, Гриша? Извелась я вовсе...

Полина коснулась руки мужа.

Григорий отложил ложку и налил еще из бутылки. Выпил, не закусив, сказал:

— Как жили, так и будем жить.

— Не выйдет по-старому, Гриша. Ты бы вот что...—Полина поперхнулась, словно крошка попала не в то горло. — Ты бы, Гриша, поговорил с Федорой. Может, она к врачу иль к бабке какой обратится?... Расходы мы уж на себя примем. — Полина жалостливо и просяще поглядела на Григория. — А то ведь что получается? Дитя-то твое... Куда ты от него денешься? А сраму-то, сраму! — Полина швыркнула носом и тихо заплакала.

— Не пойдет Федора на такое, — сказал Григорий. — Ей дите жизни своей нужнее. Ты же знаешь... — И, помолчав, поскрипев зубами, добавил: — Никак нельзя ей без ребятеночка. Для того она меня и самустила.

— Мало жеребцов в деревне! — взвилась Полина и заплакала пуше прежнего. — Чем ты ей приглянулся, старый! Посмотри на себя, посмотри! Каким зельем приворотным она тебя к себе приворожила?

— Кто знает, — пробубнил Григорий и встал из-за стола.

А Полина плакала, упав головой на стол.

Помявшись подле жены, Григорий кашлянул громко, потер плечом щеку. Собравшись с духом, сказал:

— Чую, Полина... Ты уж прости. Не пойдет у нас жизнь, Полина. Ухожу я. Совместно, Полина, нам никак нельзя.

Полина прислушивалась к словам мужа, но головы от стола не подняла. А Григорий довольно спокойно продолжал:

— К Федоре пойду. Авось примет. А нет — у Васьки Конопатого в зимовейке заквартирую.

Полина медленно подняла голову, посмотрела на Григория мутными прищуренными глазами, словно старалась что-то разглядеть в темноте.

— Иди, так-то легче будет.

Григорий смотрел на ее побледневшее, заплаканное лицо, ему вдруг захотелось погладить ее по голове, поцелуями высушить слезы. Но он только скрипнул зубами.

— Вещички-то сейчас собирать, или как? — спросила Полина, вытерла подолом лицо и встала из-за стола.

«А мне не к спеху...» — хотел сказать Григорий, но только потер рукой горло, в нем рыбьей костью застряли слова. Повернулся и с досадой хлопнул дверью. «Эх, черт, как все по непутевому вышло!»

Он шел к воротам, невольно примечая каждый камушек во дворе, каждую выбоину. От крыльца до самой калитки тянулась пологая ложбинка — разметали зимами снег, и она незаметно, сама по себе нарисовалась. «Не примечал я ее что-то раньше, — подумал Григорий, — а то бы землей засыпал или песка с речки привез». Открывая калитку, он хотел оглянуться на окна дома, но не решился: а вдруг в окошко Полина смотрит? Встречаться с нею взглядом он не хотел. Не хотел и не мог.

Григорий шел по улице и не знал, куда он идет. Спohватившись, повернулся и пошел обратно. Завидев свой дом, он, крадучись, пошел вдоль забора и неслышно скользнул в калитку Федоры.

Еще и зеленку не выкосили в Кривопишино, как упал снег. Глубокий, по щиколотку коровам. Стадо в поле не выгоняли. Скучая от безделья, Суходолов вздумал смастерить новые пошевни. Еще вчера он набил к полозьям подрези, а сегодня поставил копылы и прибил к ним балясины. Скрепил полозья вязями и начал настилать постельник из сухого дранья. Замахнулся молотком, и тут, словно ножом,хватило сердце. Он скрючился, схватился рукой за грудь. Боль не затихала. Семеныч закусил губы и, шатаясь, пошел в дом. Дрожащими непослушными руками открыл сундук, достал сверток из сыромятной кожи. Развернул и взял пожелтевшую тетрадку, мусоля во рту карандаш, начал писать:

«В урочище Хурай-Хундуй, в трех верстах от зимовья вниз по ключу, возле кедрины без макушки, между серым камнем и трухлявой колодиной, мной, гражданином Суходоловым Петром Семеновичем, за тридцать лет... — Семеныч хотел вытереть со лба холодный пот, но не смог поднять руку. Скрежеща от боли зубами, короткими и частыми вздохами глотая воздух, он дописал: — «выращено в опытном порядке сорок пять корней женьшеня». Хотел расписаться, поставить день и число, но карандаш выскользнул из пальцев. Семеныч нагнулся за ним с кровати и прямо лицом уткнулся в пол. Из разбитых ноздрей потекла кровь, но он уже не чувствовал этого. Так и остались сани без оглобей и с неприбитой доской, так и осталась без росписи

тетрадка. Он писал, не думая ни о своей кончающейся жизни, ни о сыне, которого он не во всем понял, ни о жене-покойнице, а думал о корнях дикийного женьшеня, посаженных и выращенных им втайне от всех на непривычной земле дикого таежного урочища.

Несут Семеныча по деревне в красном домовище. Лежит его голова на подушке, набитой курчавыми стружками. А на лице написано: «Все вы про меня знали, да не все...»

И вот отголосили бабы, бросили на гроб по горсточке сыпучей земли. На поминках попробовали рисовой кутьи, выпили, не чокаясь, по три стопки вина и заговорили о покойнике: мол, надорвался, за колхоз, за людей радая. Вспомнили о сооруженной дедом Семеном потешной мельнице, вспомнили о тетрадке, которую хранил сын его Петруха в сундуке с хитрым кованым ключом. «Одной они породы — любили чудачить». Одни верили, другие не верили, что вырастил Суходолов где-то этот женьшень. И Виктор не верил. А когда разошлись все по домам, а бабы вымыли посуду, стал читать отцовскую тетрадку. Первая страница была замусоленной и наполовину истлевшей. Еще бы! В двадцатых писал отец. Писал корявыми крупными буквами:

«В лесу живем. Партизанам. Вечор у Чистых Ключей Карьку мово насмерть уложили. Добрый конь был... Пойду красть коня у Степана Селиверстыча. Вот помолюсь и пойду».

Виктор вспомнил, как отец рассказывал ему о кривопишинском подкулачнике Степане Селиверстовиче. Это в его бывшем доме сейчас колхозная контора.

На другой страничке отец писал:

«В коммуне у нас уже восемь жаток, сноповязалка, восемь граблей конных и семь сенокосилок. Вчера у Ивановой жатки шестеренка развалилась. Так я ее в доске вырезал и туда горячей меди налил. А потом напильником шаркал. Так и наладил новую шестеренку».

В каждой строчке у отца было две-три ошибки. И твердую «ять» ставил где попало. Виктор знал: отец всего две зимы ходил в школу. Но вскоре, судя по тетради, с грамотой у отца наладилось — помогли, видимо, рабфак и курсы усовершенствования.

«Утром война началась. Мария ревет. А я говорю ей, что все одно немца этого мы зауздаем...»

Виктора удивляло: что заставило отца взяться за тетрадку, которую он никогда у него не видел?

«Вот и отвоевались. Гуляют фронтовики — на работу силком тянешь. Мыслью мужиков за лесом снарядить — строиться надо. Да и душой они в лесу отойдут. Полегчает, может. Кое-кто счесть с бабами сводит».

Вчера убил кто-то Степана Селиверстовича. Нашли его утром подле колодца с башкой проломленной.

Воевали мужики, живота своего не жалели, а он ихних баб огуливал. Не мене дюжины пацанов по деревне носятся».

Виктор вспомнил, что до сих пор никто в Кривопишино не знает, кто порешил любвеобильного однорукого колхозного счетовода Степана Селиверстовича.

Заденет что-нибудь отца за душу — брался он за карандаш, писал без всякой связи с предыдущим:

«Хворает Мария. Еле душа в ней теплится. После родов занемогла. Сказывают, надо ей женьшень достать, настоять на водке — и пусть пьет. Адрес дали. Поеду завтра поездом».

А сына в честь Победы Виктором окрестили. Учитель имя подсказал».

И тут у Виктора накатились слезы. Он проглотил их и продолжал читать:

«Привез я домой три корня женьшеня. Один засох, как кочерыжка, а два живые, в горшке с землей. А земля — глина охальная. И как он живет на ней? Чем питается? И вот по простоте и глупости своей надумал я поселить женьшень у нас. Сбегал наемднн в Хурай-Хундуй, нашел землю подходящую по теплomu косогору, заметил место и посадил корешки. Бог даст — приживутся, а там авось люди добром помянут».

Виктор нетерпеливо читал дальше:

«Подфартило, язви их в душу! Прижились корешки мои. Цветут. Над каждым по зонтику, а в зонтике по восемь зелененьких, выгоревших цветков, хотя солнце их не касается — в тени живут. А на мутовке у женьшеня по три листа пятипалых. Диковинно. Ежели будут жить корешки да здоровствовать...»

Виктор перевернул пожелтевшую, выцветшую страницу.

«Был в Хурай-Хундуйе, беда там приключилась. Заявл корешок один. А на нем уже ягодки поспевать начали... Размял я ягодки на ладони, а в них семена беленькими кругляшками. А другой корешок здоровехонек. Вся надежа на него теперича...»

Виктор не заметил, как и его захватила отцовская тревога. «Выживает ли корень? Нет, наверное...» Но отец словно решил успокоить Виктора. Видимо, уже через несколько лет он написал:

«Вот как все оборачивается... Собрал я лонись семена и посеял, а нынче ростки проклюнулись... Ну, а Марии женьшень не пособил — все мается, все мается...»

А чуть пониже на той же странице было:

«Сердце у меня пошаливает. Хотел я съездить в Хурай-Хундуй, выкопать женьшень и полечиться, но раздумал. Осенью ягодки поспеют, посею... Пусть живет, авось кому больше спонадобится».

И последняя запись:

«В урочище Хурай-Хундуй, в трех верстах от зимовья вниз по ключу, — Виктор с трудом разбирая слова — буквы прыгали сверху вниз, наезжали одна на другую, — возле кедрины без макушки, между серым камнем и трухлявой колодиной мной, гражданином Суходоловым Петром Семеновичем, выращено в опытном порядке сорок пять корней женьшеня...»

Виктор сидел, зажав голову руками, и думал об отце. «Все я, кажется, знал про него. Все, да не все. И подумать не мог, что он затеял акклиматизировать женьшень. И никто об этом не знал. Может быть, отец ошибся и выращивал вовсе не женьшень, а какое-нибудь другое растение? Зачем он таился? Боялся, что засмеют? На отца это похоже. И вот уже при смерти оставил завещание... Верно говорят, что весь суходоловский род на чудинке замешан. Дед вечный двигатель строил».

От многих слышал Суходолов об этом вечном двигателе. Продал дед амбар, продал скотину — двух коров и двух лошадей, продал серебряные ложки, подаренные на свадьбу, и начал строить мельницу — не ветровую, такую, чтобы сама по себе жернова крутила и хлеб молала. Срубил лес. Стрелял в ограду. И — за топор. Сладил к осени колесо — трое вожжей по обхвату. Привязал к нему бревна — одно сверху, другое понизу. «Толкну верхнее — оно нижнее толкнет, — рассуждал старик. — Так и будет колесо вертеться!» Вся деревня, говорят, собралась в их ограду, когда он мельницу пускать задумал.

Суходолов улыбнулся, представив, как дед в красной праздничной рубаше ходил по двору, свысока поглядывая на сельчан. Как потом со скрежетом закрутилось колесо, завизжали жернова, а затем все загрохотало, рассыпаясь в щепки, отшвыривая в сторону людей. «Ну, а я-то чем продолжу родословную? Сумею ли замahнуться на невозможное? Или проживу, как Матвей, без всяких затей?»

7

Вчера вечером Сеньку поймал за пуговицу Василий Конопатый.

— Помоги кабана убить. Приходи утром.

Сенька пообещал помочь. Поднялся ни свет ни заря, открыл калитку и лицом к лицу столкнулся с Федорой.

— Здравствуй, — сказала она.

Сенька промолчал и прошел мимо.

— Сенька, стой! — окликнула его Федора, раздобревшая, тяжело дышащая. — Что же ты, Сеня, не здороваешься? Ну, виновата я перед вами перед всеми... Так что же теперь, без людей мне жить, что ли?

— Как знаешь, — огрызнулся Сенька, нахально посмотрел в усталые глаза Федоры под заиндевшими ресницами и пропел:

Сама садик я садила,
сама буду поливать.
Сама милого любила,
Сама буду горевать.

— Молодой ты еще, — сказала, не обидившись, Федора. — Ни бе-
ды моей, ни счастья не поймешь.

— Счастье твое... Оно, как кипятки, всех ошпарило! — отрезал Сенька.

— Знала я об этом, Сеня. По углям горячим босая шла.

Сенька смотрел на непривычное, постаревшее лицо Федоры, и к злости его прибавилась жалость. Но он не хотел жалеть Федору. «Заварила кашу, вот и расхлебывай! Да ведь не ей одной расхлебывать приходится. И матери, и отцу, и мне. Мать глаза на улицу не по-
казывает. Отец ходит, словно в воду опущенный. А Федоре хоть бы что. Все та же, сама себе радуется. По глазам видно — радуется! И дела ей нет до других. Разговоров занозистых словно не слышит. Все ей, словно с гуся вода!»

Сенька распустил шапку-ушанку, намекнув Федоре, мол, холодно, и ему пора топтать по делу.

— Передай матери, Сеня, — сказала Федора, — что я на нее, как на икону, молюсь. Поняла она, знать, Григория и меня, горемычную, поняла. Живет твой отец у меня, а сам душой к Полине тянется. Постояльцем живет. Меня то Федорой, то Полиной кличет. Жалко мне его. Не себя, а его да Полину жалко. Заплела нас жизнь веревочкой, заплела и не раскрутит.

Утро едва-едва проступало. В сером небе нервно вздрагивали белые мохнатые звезды. Запятнанный месяц скользил над дымами, струящимися из труб, словно хотел согреться. Но упругий дым отталкивал его, и месяц безутешно слонялся над улицей.

Василий встретил Сеньку с откупоренной уже, но не тронутой бутылкой.

— Давненько я тебя поджидаю, — и он кивнул на стол, где, кроме бутылки, были ломти хлеба и блюдо соленой черемши.

Василий разлил по стаканам. Выпили.

— А ты, Сень, тоже не промах...

— Мне сегодня можно. Суходолов снял с машины и в мастерские направил. Тракторы ремонтируем.

— За что он тебя так?

— Сам за руль сел. Зимой-то почти не жгешь бензина.

— Не дал поволынить, значит? — И Василий покосился на недопитую бутылку. — Но это мы на потом оставим. Завалим вот кабана, отрежем уши — и на костер! Уши-то, брат, первая закуска. Кой-кто, правда, больше хвост обожает. Но я предпочитаю уши. Уши для меня, брат, — форменный деликатес.

Выйдя на улицу, Василий разжег костер.

— Пусть жару набирает...

Затем прошел с топором в засадок, где большим белым сугробом ворочался боров.

— Пудов десять потянет, — предположил Сенька.

— Будет, однако, — согласился Василий. — Как раз к Новому году мясо на базар выкину. Думай — не думай, а сто рублей — деньги...

— Больше выручишь. Солить деньги будешь, что ли?

— Пианину куплю, — сказал Василий тихо, сказал, как о давно решенном.

— А на кой черт оно тебе сдалось?

— Ну, как для чего? — поднял изумленно брови Василий. — «Барыню» играть, частушки... и вообще, — для культуры. У кого в Кривопишино пианина есть? У Суходолова — нет, у директора школы — нет, у председателя сельсовета — нет. А у меня будет. Приедут, скажем, корреспонденты поглядеть, как культурно колхозники живут. Вот и сфотографируют меня возле пианины. А это — всему колхозу слава! Не мне одному.

Василий насыпал в запорошенное корыто зерна. Боров, хрюкнув, ткнулся мордой в корыто, и тут Василий взмахнул топором.

Потом Василий отпластал у кабана белые лопушиные уши и кинул на угли костра.

— Сень, готовы деликатесы!

Выпили по глотку и захрустели дымящимися, сочащимися жиром хрящами.

— Ты, Сень, и хвостик-то испробуй...

Василий подошел к борову, хватанул ножом по хвосту, и тут... И тут боров неожиданно вскочил, потряс головой, взревел, словно чудище, выбил наполовину разобранную стенку и, обезумевший, кинулся на улицу. Василий держал в руке отрезанный хвост и не шевелился. Очнувшись, заорал матом и кинулся в избу. Выскочил оттуда с двустволкой и пустился за кабаном. И Сенька, зажав в руке топор, бросился вдогонку за боровом и Василием.

Кабан бежал по заметенной снегом улице, оставляя за собой капли крови. Василий бабахнул по нему из ружья, кабан подпрыгнул, заголосил истошно и понесся дальше. Налетел, то ли сослепу, то ли со злости, на катившуюся впереди телегу и опрокинул ее. Конь завалился набок, захрипел и забил ногами. Возле него стоял перепуганный, вывалившийся в снег парнишка — возница и непонимающе хлопал мокрыми глазами. Сенька рубанул топором гужи и побежал догонять вернувшегося с того света кабана. «Ну и Васяка! Ну и живоглот! Чтоб тебе ни в жись не похмелиться!» А Василий остановился и выстрелил еще раз. Кабан качнулся, то ли от дробы, то ли поскользнувшись, и свернул в проулок, к колхозной конторе. Заметил вдалеке Раису Петровну и понесся прямо на нее. Сенька обогнал запыхавше-

сося Василия, но чувствовал, что кабана ему не догнать. «Сомнет Раису!» — испуганно подумал он и закричал:

— Берегись!

И тут через забор перепрыгнула Катюша Заиграева.

«Куда ты? Разорвет!» — хотел крикнуть Сенька, но горло сжалось, и он только прохрипел.

А Катюша встала у края дороги, заслонив собой Раису Петровну, и ждала озверевшего, залитого кровью кабана. И тут Сенька заметил, что в руках у нее вилы.

Кабан неся на Катюху, а та, побледнев, смотрела на него и ждала, уперев в землю ручку вил. И — р-раз!.. Кабан, словно стукнувшись грудью о невидимую стенку, остановился с размаху и медленно повалился набок. Сенька подбежал и раз за разом ударил его дважды топором.

— Жива? — выдохнул он Катюше.

А та плакала, подрагивая пухлыми губами, размазывая по скулам слезы, и цедила:

— Дураки! С чушкой не управились...

Подрысил Василий и, довольный, расхохотался на всю деревню.

Сенька заметил, что неподалеку лежит на земле Раиса. Лежит, закрыв голову белыми рукавичками.

Катюша подошла к ней и сказала:

— Вставайте. Испужались? Ну, полно реветь-то... Думаете, я не испужалась? Оторвалось сердце и никак на свое место не станет. А я-то думала, что не успею навстречь...

Сенька взял обессиленную Раису за плечи и поставил на ноги. Она посмотрела на распластавшегося кабана и опять покачнулась. Сенька придержал ее.

— Катке спасибо скажите.

Катюша достала зеркальце и, отвернувшись, вытирала под глазами. Сенька подумал: «А ведь я бы не смог с вилами на кабана...» И почему-то ему вспомнилась злая частушка, пропетая Катюхой на Никифоровой слани:

По лужайке зеленой,
По-над речкою тихою
Мой миленок, как больной,
Ходит за врачихою!

Григорий хотел, чтобы Федора родила в Кривопишино, но Раиса Петровна воспротивилась:

— Нет, нет. Мало ли что может случиться? В такие-то годы рожать.

И Григорий вместе с фельдшерницей проводил Федору в райцентр. Помог ей подняться по ступеням больницы и в тот же вечер вернулся домой.

— Корову-то не дои, — сказала, прощаясь Федора, — пусть телеенок молоко высосет.

Но Григорий подоил корову. Умаялся, правда. Корова косила на него большими навывкате глазами и все переступала с ноги на ногу. Григорий подвигался за нею со стульчиком и в сердцах крестил ее разными словами. Но все же он надоил полведерка молока, процедил его через марлю, разлил по эмалированным мискам и вынес в сенцы, чтобы замерзло. Затем нащипал лучин и сунул по тонкой палочке в уже густеющее от стужи молоко. Григорий прикинул, как он утром обольет кипятком закрайки мисок, вытащит за хвостики лучин белые

кругляши, похожие на луны, и положит их в кадушку. «Надо утром молоко снегом присыпать, чтобы не вымерзло», — хозяйственно подумал Григорий.

С того дня, вернее, с того дождливого темного вечера, когда он пришел к Федоре, для него постоянно находилось занятие. В первый же вечер, в тот памятный горький вечер, он принялся чинить будильник. Правда, никакого инструмента, кроме молотка, у Федоры не было.

Возился он с будильником, как мальчишка с новой игрушкой, а Федора приговаривала:

— Да брось ты его, Григорий. Все равно петухи разбудят.

Он был благодарен Федоре за то, что она его ни о чем не спрашивала.

— Здравствуй, сосед, здравствуй, — сказала она в дверях. — Проходи, гостем будешь. — Усмехнулась чему-то своему, потупив глаза, прикрывая живот руками, и добавила: — А коль с вином пришел, то хозяином будешь.

— Будет бутылка, — сказал он в наивности и в веселой злости, по-своему поняв Федору.

И опрометью кинулся в магазин, разбрызгивая лужи.

Из магазина во двор Федоры он вошел уже не так, как полчаса назад. Звякнул щеколдой, хлопнул разбухшей на дожде калиткой, долго шаркал ногами на крылечке. «Все! Я для Полины — отрезанный ломоть!»

Он сидел с Федорой за самоваром и чувствовал — она обо всем догадывается и все знает. Так оно и было.

— На ночь пришел или как? — спросила Федора.

— Коль с вином пришел — хозяином будешь, — напомнил он ей.

В тот вечер говорили они мало. Сидели за столом друг против дружки и всматривались в глаза. Спрашивали глазами и отвечали глазами, боясь обмануть и обмануться. А потом, захмелев, он принялся чинить будильник. Федора постелила постель. Себе на диване, ему на полу. Они поговорили о завтрашней погоде и заснули.

Управившись с коровой и распорядившись с молоком, Григорий принялся чаевать. А еще занимало его то, кто у него будет: сын или дочка? «Ежели сын, то обличьем выйдет в меня». Григорий сам не знал, почему ему хотелось, чтобы сын был похож на него, а если дочь, то на Федору.

Он пил чай и прикидывал, что нужно сделать завтра: «Поначалу позвоню в больницу. Это раз. Потом пойду на работу. Если Федора родила, то надо мужиков угостить. Вечером надо съездить за соломой».

В избу постучали. С морозным паром ввалился Василий Конопатый.

— Чай с сахаром, — протянул он, усаживаясь за столом. — Один домовничаешь? Не родила еще Федора?

— Нет. Чай пить будешь?

Василий отказался

— Я щей настобался. Живот трещит. Ты поди на днях в райцентр поедешь, так уж поищи там для меня радиолу получше.

— До этого ли будет, Василий?

— Я тебя, само собой разумеется, понимаю. Дите ждешь... Но и ты меня пойми да уважь. Радиола мне позарез нужна. — Василий провел ребром ладони по горлу. — А будете ребенка обмывать, так дам вам радиолу на вечер. Играйте. Но осторожно, чтобы и царапины не было.

— Еще не убили, но уже обтеребили.

Не по душе Григорию визит Василия: «И зачем человек приперся? Ишь радиола для него, что свет в окошке!» Но Григорий знал, что неприязнь к Василию у него вовсе не из-за этой непутевой просьбы. Он тихо ревновал к Федоре Василия. Григорий не мог представить, как целовал, миловал Федору Василий. Он знал, что сердится понапрасну да и не имеет права сердиться, но погасить в себе чувство ревности не мог.

— Ладно, пригляжу я радиолу, — сказал он только для того, чтобы Василий поскорее ушел из дому.

Василий ушел. Григорий потыкался из угла в угол, вымыл посуду, поставил ее сушиться на шесток и завалился на диван. Но сон не шел. Василий думал то о Полине, то о Федоре, то о Сеньке. О себе он старался не думать, но как-то все выходило так, что, вспоминая других, он задумывался о своем нескладном житье-бытье. «Живу с Федорой, ребенка жду от нее, а самого все к Полине тянет. Привычка или еще что? Быть может, любовь эта самая. Да и с Федорой мне хорошо. Сердце у нее глазастое, понятливое».

Что ж, все живые друг дружке не чужие. Ну, а Полина сердцем закаменела. Увидит его — на другую сторону улицы переходит. Лихо ей, ой, как лихо! «И какой черт самустил меня к Федоре пристегнуться? А Сенька, ветрогонья голова, шута горохового ломает. На все мастерские, встретившись, орет: «Привет родне!» Паскудник! А что ему скажешь, если рыльце в перьях?»

Хорошо жить в большом городе, к примеру. Ушел от жены и ни разу за год ее поди не увидишь, душу не разбредишь. А тут? В Кривопишино один у одного словно на ладони. Моргнешь — и то увидят. А Полина-то завсегда рядышком, только заплот перемахнуть. Но нет ему туда пути ни через забор, ни в ворота. Нет и не будет.

Долго еще размышлял Григорий о своей стреноженной запутанной жизни и, намаявшись, уснул только под утро. И снилось ему, что он плывет по течению, выбиваясь из сил, пытается грести то к одному, то к другому берегу. Но река сносит и сносит его по стержню, пенистая, темная, словно штормовой Байкал; сносит, и неизвестно, где выбросит.

Проснувшись, Григорий долго не мог отделаться от неприятного посасывания под ложечкой. Подоив корову и набросав ей сена, он затолкал в избу телят, вывалил свиньям ведро вареной картошки, бросил овса курицам, вычистил в сараюшке. Процедив молоко и дождавшись, когда протопится печь, Григорий распахнул калитку в улицу. Шагнул — и лицом к лицу встретился с Полиной. «Откуда она в такую рань? Неужели на ферме уже коров подоили?» Григорий отступил в сторону, чтобы пропустить Полину, но она вдруг остановилась.

— Ты бы не в мастерские шел, Григорий, а в контору... — И Полина спрятала глаза под заиндевелыми ресницами. — Суходолов тебя спрашивал.

— На што я ему? — удивился Григорий.

— Не знаю, ой, не знаю! — сорвалась голосом Полина и метнулась в свою калитку.

Ничего не понимая, Григорий направился в колхозную контору. Он шел, подняв воротник, по серому пепельному утру и все думал о Полине: «Что с нею? Заговорила, а под глазами мокреть, и голос душу наизнанку выворачивает». Григорий шел, здоровался с земляками, не замечая, что люди смотрят ему вслед. Не знал Григорий, что минувшей ночью, подарив ему дочурку, Федора умерла. И никто не спешил, не насмеливался сказать ему об этом.

Феофан Заиграев жил безбедно, но скучновато. Ел да пил, глазел в телевизор да в который раз обговаривал с женой давным-давно обговоренное. Гости навевались редко. Родня его сторонилась, люди шли к нему от случая к случаю, чаще шли те, кто уже одной ногой в могиле стоял. Феофан с такими не связывался, чтобы не подорвать свою репутацию «лекаря».

— Я после врачей ничего не могу, — говорил он удрученно. — Не надо было под ножик ложиться. Ножик-то ихний не шкуру, а само здоровье портит.

Убывало и тех, кто нуждался в наговорах и святой водице. И Феофану жилось скучновато. Можно было в тайгу за белками да соболями податься, да годы не те, в коленях ломит и поясница разламывается. Но есть все-таки бог или черт на белом свете! Кто-то надоумил его новым делом заняться: лечить людей от запоя. Занятие не только благонравное, но и прибыльное.

И однажды Феофан жалостливо, со слезами сказал Кате:

— Конченный человек я, доченька! Спился, спился отец твой. Выручай. Не бросай в беде-бедина! У меня, ежели не смочу горло, сердце так и замирает, так и останавливаются ходики.

— Хорошо, что хоть вовремя спохватился, — сказала Катя. — Поезжай в райцентр, ложись в больницу, там и вылечат от алкоголизма. Лекарства разные да еще сеансы гипноза, говорят.

— Выдумывает он все! — встряла в разговор жена. — Какой есть, пушай таким и помирает.

Феофан зыркнул на жену исподлобья, она затихла и сникла.

— Плохо ты обо мне, Катюха, думаешь, — обидчиво сказал Феофан. — У меня воля есть. Вот только воле этой подсобить нужно. Сыщи-ка ты мне книжонки да статейки всякие о пьянстве. Прочитаю и себе внушение сделаю.

И вскоре он мог читать лекции о борьбе с пьянством и алкоголизмом. А книги по межбиблиотечному абонементу все приходили и приходили. Катюха натащила уйму вырезок из старых газет и журналов.

— Лечись, тятя, лечись, — посмеивалась она.

Феофан старательно и добросовестно читал и перечитывал все, что говорили ученые люди о борьбе с зеленым змием. Вот и сегодня, ожидая ужина, он раскрыл одну из книжек на странице, заложенной старым лотерейным билетом.

«В. М. Бехтерев считал, что алкоголизм — это не простая привычка, от которой человек мог бы освободиться без посторонней помощи. Алкоголизм в представлении Бехтерева — это болезнь, и при том болезнь тяжелая».

Феофан потянул носом и определил: «Нет, щи не скоро поспеют...» Он поднялся, подошел к буфету и налил из графинчика стопку. Занюхал кулаком и вновь углубился в чтение.

«Между характером употребления алкоголя, определяющим изменение реактивности организма к спиртным напиткам, и возникающими вследствие хронической интоксикации алкоголем психическими нарушениями существует определенная корреляция».

Феофан потер ладонью лоб и устало откинулся на спинку кресла. «Эко как закручено! До того мудро-премудро, что ни хрена не поймешь!» Заиграев сидел с закрытыми глазами, завидуя ученым людям, затем крикнул жене:

— Тащи щи! Горячее сырым не бывает.

Он булькнул в стакан, чокнулся с графином и залпом выпил. Ел и раздумывал, как лечить мужиков от запоя.

Одними словами их от бутылки не отповодишь. «Ну хоть меня самого коснись...»

— Хватит. На похмелье оставь, — заворчала жена, убирая почти пустой графин.

Феофан хотел прикрикнуть на жену, но тут звякнула калитка, и он увидел в темном окошке белую шаль дочери.

— Спрячь графин-то... Ну, что нового в Кривопишино? — спросил, он Катю, едва она переступила порог.

— А что нового? К отчетному собранию готовятся...

Катерина сняла шубейку и налила из чугунка шей себе и матери.

— Ну, а что слыхать о собрании? — продолжал расспрашивать Феофан. — Столкнул или оставят Суходолова?

— Ну, а ты как думаешь? — беззлобно усмехнулась дочь, прижав к груди ковригу и отрезая ломти хлеба.

— Оставят, язви его в душу! — в сердцах подсадовал Заиграев.

Катюха знала, почему отец злится на председателя. Просил он Виктора Петровича похотатайствовать перед рыбнадзором, чтобы лодку и сети вернули. А тот отвернулся, дескать, супротив закона не пойду. Просился отец кладовщиком на зерноток, и вновь отказ: «Боясь, что мыши в амбарах заведутся», — остерегся председатель.

— Ну, а еще что нового?

— Григорий Синицын запил, — сказала Катерина.

— Запил? — охнула мать.

Удивился и Феофан.

Доходили слухи до него, что, дескать, суждено ему через дочь с Григорием породниться. И он втайне радовался этому. Сенька парень не промах, не тюха-матюха. К тому же с председателем каждый день рядышком. А потому всю подноготную Суходолова знает, как да с кем он лясы-балясы точит, а может, и шуры-муры и все такое прочее. Через Сеньку можно и подкатиться к председателю. А ежели зауросит — тогда все его карты раскроются.

— Забегала я сёдни к Синицыну, — рассказывала Катя. — Захожу, а он качает зыбку да во всю глотку песню орет: «Шумел камыш, деревья гнулись...»

— Замаялся мужик с девчушкой, вот и запил, — с придыхом сказала мать. — Мужик, он и есть мужик, ни два, ни полтора. Чо с него возьмешь?

— Подошла я к люльке, гляжу — а пеленки-то мокрые. «Что же ты, дядя Григорий, — говорю, — за дочерью не доглядываешь?»

— А чего ты к Григорию шастаешь? — с деланным безразличием спросил Феофан. — Надоумил кто иль сама желание такое изъевляешь?

Катюха чуть смутилась и, глянув на мать, ответила:

— А разве нельзя человека попроведовать? Да и Сенька Синицын просил к отцу зайти.

— И что ты, отец, словно с ножом к горлу пристал? — заступилась мать за Катерину.

— А чо? Я ничо, — отступился Феофан и опять принялся читать книгу «О борьбе с пьянством и алкоголизмом». По слогам шептал мудреные названия лекарств, вызывающих отвращение к спиртному, а сам думал: «Уведет Сенька Катюху, как пить дать уведет. Уведет и спасибо не скажет. Ну, нет, голубчик, не зря я ее кормил и растил! Будешь ты, зятек, служить мне верой и правдой!»

В тот вечер и надумал Заиграев переговорить с Григорием и Полиной. Какого мнения они о свадьбе-женитьбе? Какие расходы на себя примут? А заодно попытаться Григория от запоя избавить.

Не знал, не гадал Григорий, что жизнь будет над ним так яро измываться. Он плохо помнил, как хоронил Федору, все для него происходило как в тумане. Знал только, что верховодила всеми хлопотами Полина, и был уверен, что она сделает для покойницы все, что полагается.

Ушла Федора, оставила ему дочурку. Не ломал Григорий голову, как назвать ее, назвал Марией, как говорила Федора.

Забрав крохотулю из роддома, уже после похорон, он подъехал не к своей избе, а напрямик подкатил к избе Василия Конопатого. Вошел и, не поздоровавшись, вручил сверток с девочкой прямо в руки Анны.

— Корми. Больше некому...

Анна ни слова не сказала, расстегнула кофту и дала ребенку грудь. Марийка, будто чувствуя свою обездоленность, взяла грудь и затихла.

Анна плакала, приговаривая:

— Слава богу, что я своего от титьки не отучила! А ведь хотела, дуреха, хотела...

С того дня и зачастила Анна в дом Федора. Накормит сынишку и скорей шаль на голову: «Марийка поди изревелась!» И не знал Григорий, как благодарить Анну, беспутную, как он считал раньше, бабенку.

Вот и сегодня прибежала Анна. Накормила Марийку утром и попутно в печку чугунок с мясом и картошкой сунула.

— Это тебе, Григорий, на обед и на ужин.

Прибежала в полдень, покормила Марийку и за разговором пеленки простирала.

— Я, Григорий, в беготне к тебе катанки до дыр износила. И за молочко с тебя причитается. Сколько дашь за литр? Тридцать копеек?

И откуда у Анны смех берется? Ребятишек в доме куча мала. И один одного меньше. Да еще Марийку выхаживает. Мужика бы ей стоящего, а то Василий так себе, чудо-юдо. И почему хорошим бабам мужья никчемные попадаютсся?

Вскоре после Анны забежал Сенька. Протянул узелок с яблоками.

— Суходолов просил передать. Из города привез.

— Кланяйся ему, — сказал Григорий и смахнул неожиданно выкатившуюся слезу.

После Сеньки объявился Феофан Заиграев. Вспомнили Федору, поговорили о том, о сем, поглядывая на телевизор, и Заиграев сказал:

— А Сенька-то под мою Катерину клинья подбивает. Ну что ж, я не против. Рад с хорошими людьми породниться.

— Нашел хороших! — криво усмехнулся Синицын. — Да и к чему ты этот разговор заводишь?

— А к тому, что надо и им свою семью-семейку свить.

Знал от людей Григорий, что Сенька к Феофановой Катюхе присмолился. Не по душе ему было все это, поскольку недолюбливал он Заиграева.

— Пусть все само собой образуется, — сказал Григорий.

— Так-то оно так, — не отлипал Феофан. — Но мы-то, отцы, должны сказать: мол, ничего против свадьбы не имеем. Да и расходы на свадьбу надо загодя подсчитать.

Не до свадьбы, не до Феофана было Григорию. Он разговаривал с Заиграевым, а сам прислушивался, не запищала ли Марийка.

— В общем, Григорий, будем считать, что мы с тобой обо всем договорились, — не унимался Заиграев. — Я на свадьбу барашка забью. Можно самогона ведро сварганить... Все шито-крыто — на

свадьбе были. А какая свадьба без похмеля? — Феофан довольно хихикнул, помолчал, уставясь в телевизор. — Ну, а тебе я водчонки принес. Слышал, загулял ты вчера. Да и как не загуляешь, когда такая лихомань нашла?

Григорий недоверчиво посмотрел на Феофана. Непохоже, чтобы он на свои кровные кого-то угостил. Просто так угостил, за здорово живешь. А Феофан поднялся, подошел к вешалке, сунул руки в карман курмушки и поставил на стол склянку.

— Что же ты раньше молчал? — удивился Григорий. — Перебрал я вчера — спасу нет!

— Вот и пришел вспомочь тебе. Запой у тебя, Григорий, форменный запой. Лечиться надо.

— Вот и подлечусь... Разливай. — Григорий ухватом вытащил на шесток чугунок щей, оставленных Анной.

— Погоди, погоди, — сказал Заиграев. — Сначала диагноз я тебе поставлю. Закрой глаза и пройди по одной половине.

— Да ну тебя! — отмахнулся Григорий. — Наливай по маленькой, а то щи остынут.

Феофан налил по стаканам. Но смирил в себе нетерпение выпить.

— А ты пройди, пройди по половине... Это, Григорий, я твою устойчивость в позе Ромберга выявляю.

Григорий ступал по полу, как велел ему Феофан, и чувствовал, что его покачивает.

— Запой у тебя, Григорий, запой! — закричал Заиграев в радости так, что проснулась Марийка.

Григорий качал зыбку, а Феофан говорил:

— Не расстраивайся. Я тебя от алкоголизма в два счета вылечу. Есть у меня одно верное средство... — Феофан достал из кармана пакет с каким-то травяным порошком и сыпанул в стакан с водкой. — А для пущего действия слово потаенное скажу. — И что-то забормотал, пожевывая губы.

Укачав Марийку, Григорий разлил щи по тарелкам и сел за стол. Выпили. Незнакомый, отвращающий привкус водки передернул лицо Григория. У него вовсе пропала охота есть.

Григорий побродил ложкой в тарелке, чувствуя, как его начинает тошнить.

— Полежу маленько, пока дивчина моя песню не начала. — И лег на диван.

Заиграев допил остаток, опорожнил чугунок со щами и распрощался.

Покемарить Григорию не удалось — проснулась Марийка и запищала голодным птенчиком. Потяжелевшими, неуверенными руками Григорий приподнял ее из зыбки и, осторожно ступая по полу, словно по скользкому льду, перенес на диван. Сменил пеленки. Марийка смотрела на него несмышленими глазами и гулькала. «Крохотулечка ты моя, разнесчастная ты моя...» Григорий прижал дочурку к груди и, покачивая, ходил взад-вперед от печки, до переднего, красного угла.

«Враги сожгли родную хату...» — пел он приглушенно, поглядывая то на розовое личико Марийки, то в окошко.

В окошко виден забор, запорошенный снегом. За ним высился дом Полины, его, Григория, дом, рубленный в косую лапу. Григорию иногда казалось, что он видит в заиндевелое окно, как мелькает в избе знакомый платок Полины. Ему казалось, что он видит и ее лицо, почерневшее, с глубокими яминами глаз. «Что же она делает? — попытался отгадать Григорий. — Наверное, посуду моет и ставит на полку подле печки сушиться».

Григорий убаюкивал Марийку, а сам чувствовал, как все нутро его начинает выворачиваться наизнанку. «Какой это дрянью напоил меня Феофан? Черт поганый!» Григорий несколько раз подходил к помойному ведру, но рвоты не было. «Ну, погоди, Феофан! Уж я на тебя, Лысый, такую напасть напущу, последние волосенки выпадут!»

У Григория колотилось сердце, колотилось так, словно барабанщик сыпал частой, мелкой дробью. Он положил заснувшую Марийку в люльку и прилег на диван. И тут его стало давить удушье. Григорий растегнул ворот рубахи и начал мять грудь. Но ему становилось все хуже. Неожиданно потемнело в глазах, поплыли, покачиваясь, красные мыльные пузыри. Григорий с трудом поднялся и на ощупь пошел к двери. Толкнул рукой, но дверь не открылась, то ли примерзла, то ли у Григория не было силы. И тогда он, жадно глотая воздух, пнул дверь ногой и упал на крыльцо. Хотел подняться и не смог. Последнее, о чем он подумал, было: «Эх, дверь не смог закрыть!.. Простынет Марийка...»

На крыльце и увидела Григория Анна, прибежавшая накормить девчонку. Она завопила дико и, не помня себя, перемахнула через забор к Полине.

— Григорий помер! — закричала она в ограде.

Навстречу ей выскочила Полина, в одной кофтенке выскочила, и так же, как Анна, перелетела через заплот. Вдвоем они затащили Григория в избу, где исходила плачем Марийка.

— В амбулаторию! Живей! — распорядилась Анна.

Полина метнулась на улицу.

Анна, причитая: «Не плачь, Марийка, не плачь», — прыснула на лицо Григория водой и стала рыться в комод. «Нашатырь бы ему...» Нашатыря не было, но она нашла трехгранную склянку с уксусной эссенцией. Приподняла голову Григория и дала понюхать. Григорий открыл глаза и повел вокруг тусклым растерянным взглядом. «Живой, значит».

Анна взяла Марийку и приложила к груди, по-бабьи тихо радуясь, как сочится молоко. «И что это с Григорием? Извелся мужик от житья-житухи: вот и не выдюжило сердце. — И еще подумала Анна, ругая себя за эту мысль: — Если скончается Григорий, то возьму Марийку к себе. Одним ребенком меньше, одним больше — какая разница?»

С Марийкой у груди Анна склонилась над Григорием и стала разминать грудь там, где робкой капелью стучало сердце. Но вскоре в дом вбежала запыхавшаяся Раиса Петровна, взяла Григория за руку, определяя пульс, метнулась к сумке и вытащила шприц. И тут появилась, держась за грудь, Полина. Увидев по лицам, что самого страшного не случилось, она прислонилась к косяку двери и тяжелым взглядом смотрела то на распластавшегося Григория, то на Марийку, чмокающую спросонок грудь Анны. Прибежал и Сенька, запарившийся, еле переводящий дыхание.

— Напугали... — выдохнул он. — Это все Феофан Заиграев. Встретил я давеча на улице его. Дай пятитку, говорит, я отца твоего от запоя лечил. Средство, говорит, у меня верное, по-своему соображению составленное.

— Вон оно что! — подняла на Сеньку глаза Раиса Петровна. — Интересно, чем он его напоил? К водке подмешал что-то. Поговорю я с этим профессором!

Анна положила Марийку в качалку.

И тут Сенька сказал матери:

— Мать, давай-ка мы к себе девчонку заберем, а?

Анна глянула на Сеньку, словно только и ждала этих слов, и прикрыла ладошкой заслезившиеся глаза. А Сенька (дурная его голова!) подошел к зыбке, взял Марийку, сунул под полу полушубка, лукаво подмигнул отцу, безучастно глядящему на всех, и распахнул двери.

— Я вот тебе!.. — заругалась Полина и уже вдогонку крикнула: — Не урони! Паразит ты этакий... И кто тебя родил только?!.— Она накинула на плечи пальто Григория, затем отвязала с очепа зыбку. Взяла ее под мышку, жалостливо и извиняюще посмотрела на Григория и вышла.

А Григорий отвернулся к стенке и уткнулся лицом в подушку.



ТРИ РАССКАЗА

...И ЕЩЕ ДЕНЬ

Осенью Петровне занеможилось, думала: не поправится. Она сбывала избу, картошку, а что не купили, то раздавала соседкам на память. И ушла в дом престарелых дотягивать свой век на казенном.

Но весной, видя, как на реке лед набухает разрушительной синью, берега опушаются вербой, она почувствовала в себе здоровье, забеспокоилась.

Утром достала из-под матраца узелок с документами и подалась к Андриюхину выкупать свою избу.

— Не продам назад. — Андриюхин обиженно смотрит вниз, на старушку. — Где я буду держать курей да мотоцикл?

— Я же деньги верну тебе, сосед, на десятку поболее.

— Каво теперь десятка! — сердчает Андриюхин. — Одумайся, Петровна, ведь тебе с иголки хозяйство начинать, лишняя трата денег.

— Продай, мы соседями были!..

Петровна в беленьком платке, лицо и руки сухонькие, чистые, всякая морщина и жилка на виду. Сама кротко улыбается, хотя и страшно ей: а вдруг Андриюхин упрется на своем, не вернет избу.

Прибежала девочка, лет семи, с темными кудряшками, на макушке цветком-ирисом — бант. Девочка, прыгая, жметесь к Петровне, сияет глазами. Бант-ирис так и хочет взлететь с ее макушки. Петровна ласкает девочку, рада ей, забыла про Андриюхина.

Тот смотрит на дочь, на старушку — и соглашается вернуть ей избу. Прикинул: лето она погоношится, а к зиме опять уйдет в казенный дом — уже навсегда. Глазами готова гору свернуть, да слаба на вид.

Пришли две бабки побелить избу. Хозяйка обежала соседок, собрала раздаренную утварь. Вернули ей все, однако сквозь зубы, не от сердца. Это подпортило светлое настроение Петровны.

Огород под уклон к мари. Среди мари искрится овальное озеро. На обгоревших кочках выпирает редкая, зелено-дымчатая трава. Три худых коровы жадно хватают ее. Луговые трясогузки порхают над коровами, выщипывая пух на гнезда.

Жаворонку не до гнезда, ему бы только в небе чистом звенеть и кувыряться. Всю жизнь Петровна встречает весны и не запомнила двух похожих: название времени года всегда одно, но явления в природе происходят разные. Да и в душе Петровны каждую весну волнение незнакомое.

Солнце вон уже куда поднялось! Петровна еще ничего не сделала по хозяйству, на природу любитесь. Надо грядку редиски посеять, семена укропа разбросать, чтобы все иметь свое, как раньше. Нашла на чердаке сарая деревянные грабли без трех зубьев, нагребла кучу мусора, подожгла.

Девочка с лентой-ирисом порхала по огороду, приносила в костер

пучки сухой полыни. Из белого дыма вырывалось пламя — девочка кричала:

— Бабушка, смотри... — Радостным голосом заглушала все звуки утра.

В углу огорода Петровна забылась у колодины и ворота для гнутья полозьев.

Уже лет семь миновало после смерти хозяина. А ей помнится ясно, как вместе делали сани колхозу. Вместе крутили ворот, толкая длинную оглоблю, — гнули распаренные в бане березовые полозья, муж забивал деревянной колотушкой клинья. Если Петровна не могла удержать ворот, так он матерился. Шухарной был.

Словно диловинку, старушка осматривала колодину. Вот здесь тогда-то хозяин затесывал топором, а на этом чурбаке куривал и виновато заговаривал с женой, стараясь загладить свою матерщину. Жалела покойного мужа Петровна, раньше бранила его за ругательства, теперь бы охотно послушала. Ей казалась прошлая жизнь хорошей, в достатке. Жил сам, и Петровне верилось, что ей и веку не будет. При нем-то разве бы пошла в дом престарелых!

Вдвоем делали сани для возки лиственных, что камень, тяжелых бревен, мастерили сани с разводьями, и кошевки, и детские салазки. Теперь в колхозе коней нет, и сани не требуются, и ребятишки с фабричными бегают. Петровна старалась вспомнить: мастер сначала умер или нужна в березовых санях еще при его жизни отпала?..

Круговая тропка, пробитая ногами супругов, долго не зарастает. Старушка заботливо вырвала прошлогоднюю траву вокруг колодины, точно она могла еще сгодиться.

Весна! Всякое дело на земле надо работать скорее, завтра будет поздно. И Петровна не знала, за что сначала браться. Собралась грядку вскопать, но попалося на глаза ведро с известью, плеснула воды и давай подбеливать высокую грушу. Ветви ее припадали к земле, почки ядрено надели. Ширкала травяной щеткой Петровна, доставая глубину складок коры, и думала: урожайной ли была груша прошлым летом? Кажется, неважно. Значит, нынче засыплет плодами.

Петровна выпрямилась, смотрела на почки. Через неделю груша обольется бело-розовым заревом, и будет в огороде светло даже мрачной ночью. Всего-то неделю осталось ждать расцвета груши...

Прошлые годы ее сплелись из одних ожиданий. Девушкой ждала кто возьмет замуж. Нашелся парень — стала ждать детей. Родила сына и дочь ждала достатка. Тут война. Взяли мужа, потом и сына. И опять ждала почтальона, парохода из города с родными. Сам-то



Анатолий Николаевич Максимов родился в 1936 году в Хабаровске. После окончания ремесленного училища работал электромонтажником, мастером-воспитателем в техническом училище. В 1973 году окончил Высшие литературные курсы. Первая повесть А. Максимова «Как я жил в тайге» вышла в Москве в 1960 году. С тех пор писатель опубликовал несколько книг. Среди них повести: «Путешествие в детство», «Барсучата», «Лесные клады», «Тимкина беда», «Высокое напряжение», «Седые тальники», «На Амуре» и другие.

вернулся хромым и матерщинником. А сына убили, прислали только орден. Не заметила Петровна в ожидании, как работала, во что одевалась, как постарела. А теперь что осталось ждать ей? Когда зацветет груша?..

В последнее время она часто видела во сне сына. Снился он маленьким, почти грудным, мокрым и озябшим. И Петровна кутала его в одеяло, прижимала к себе, — искала теплое место, где бы согреть малютку. Днем она забывала о сыне.

На ветке дерева болтались связанные шнурками детские туфли — сбитые, стоптанные. Внучка оставила. Как уж она хотела взять бабушку в город, да мать с отцом отмалчивались.

Петровна сняла с ветки туфли, выгнала из одной паука. Надо написать внучке, пусть едет на лето. И дочь с мужем она извиняла. В городе у них одна комната, самым тесно, в городе-то все с копейки...

Петровна вскопала гряды. Разболелось в пояснице, покалывало, давило на сердце. Она присаживалась на колодину отдыхать.

Девочка с голубым бантом увивалась возле нее, — то косынку снимет с ее головы да повяжется сама, то гребенкой пристанет расчесывать редкие волосы бабушки.

— Звонкая моя непоседа!.. — наговаривает Петровна. — Батька твой добрый: вернул-таки избу мне.

К вечеру старушки выбелили избу, сварили ужин. Петровна купила вина, угостила помощниц, проводила — и опять побежала в огород.

За день трава на мари стала выше, ярко-зеленая; озеро притихло, словно над чем-то призадумалось.

Петровне казалось, что она состоит из окрыленной, любвеобильной души, из глаз, из ясных мыслей — вся. И жизнь ее начинается по-новому вместе с девочкой соседа и ростками травы на кочках. Она подошла к забору и долго смотрела на тропу под склоном. Раньше по тропе возвращались с рыбалки отец и сын. Мальчик бежал впереди, то и дело останавливаясь. Нетерпеливо поджидал отца и снова убегал, чтобы первым рассказать матери про удачный улов.

Петровна вспомнила, совсем мало сделала в огороде за день. Вон и солнце оказалось над сопкой. В тот день шибко торопилось по небу солнце! В последний час перед ночью уже ничего не успеешь, разве посеять подсолнухи?

Утром Андрюхин зашел с девочкой во двор Петровны, хотел узнать, не надо ли ей вспахать огород. Себе будет пахать Андрюхин, сразу бы и соседке можно. Он постучал в дверь, ему никто не ответил; громко звал Петровну, озираясь по сторонам. Куда могла уметнуться старая чуть свет?

Петровна лежала на замшелой колодине. Лежала на боку, удобно подобрав ноги, словно прилегла вздремнуть или успокоить разнывшееся сердце, и вот сейчас, казалось, она проворно встанет и воскликнет: «Заспалась!» Возле нее рассыпаны семена подсолнуха. За ночь разбухли, готовые прорасти.

Девочка заплакала, оглушив отца. Присев на корточки, собирала в горстку семена подсолнуха.

РАЗВОД

К зиме Амур высветлился, распустил пески по отлогим берегам и кротко поблескивает барашками. Над рекой летают чайки и пестрые листья.

Ходит Семен Петрович у реки, ходит и ждет, когда же молодые вернутся из загса. Весь наглаженный, нервно потеревливает галстук с маленьким узлом; ему кажется, что галстук не на месте и давит горло. Ходит Семен Петрович сутуло, лопатки выпятив клиньями, дожидается молодых и напевает:

— Засентябрило...

Ему лет семьдесят, лицо с черными точками: в юности ошпарило порохов.

— Петрович, где ты! — с крыльца дома кричит старушка.

Семен Петрович молчит, ускоряя шаг, поддает носками новых полуботинок камнями.

— Ох, нервный! — с досадой говорит старушка, семена за старичком. — Нервный!.. Хватит пинать камни-то! Нашелся футболист.— Она тоже волнуется.

Оба потеряли покой со вчерашнего дня.

Приехала из Владивостока внучка Зина, привела парня Диму.

«На свадьбу просим, дедушка с бабушкой». А сама и месяца не знает Диму. Чему радоваться старикам, в какие руки сегодня отдадут они родную внучку!

— Может, случайно встретились, да навек будут вместе? — Старушка смотрит снизу в насупленное лицо мужа.

— Мне-то что! — наигранно беззаботно восклицает дед. — Я выпью, закушу да и спать завалюсь, а там хоть трава не расти! Одно меня донимает: где же я видел этого Диму?..

— Вспомнил бы! С женщиной Дима шел, может, и ребеночка нес, — тревожно рассуждала старушка, под впалой грудью сцепив сухие руки. — Теперь ведь редко один раз женятся.

— Ораву ребятшек вел и трех жен! — съязвил Семен Петрович.

К дому подкатило голубое такси, опутанное лентами, на капоте пластмассовая кукла. Старушка кинулась встречать свадьбу. Дед остался на берегу, сосредоточенно осматривая недавно подстриженные ногти на руках.

Знавал Семен Петрович бывших внучкиных ухажеров. Пареньку скромному отказала. Что за муж — рядовой милиционер? Одни ночные тревоги. Ходила с учителем истории. Тоже не сговорились: у него нос загогулиной. Хорош муж с носом загогулиной! Ни людям показать, ни самой полюбоваться на него; в город тоже не выйти рядом — надо самой впереди бежать или его посылать.

Пока выбирала внучка жениха, стукнуло ей двадцать шесть. Поджидала генерала — рядом и простых не осталось. Умчалась она в другой город искать мужа. И нашла Диму...

Да когда же за стол позовут? Есть охота. Эти бабы сто раз будут переставлять рюмки и тарелки!

Наконец позвали Семена Петровича в дом.

За длинным рядом пестро накрытых столов — розово-багровые полосы мужских и женских лиц. Все проголодались, угнетающе молчаливы. Все украдкой и часто поглядывают на выпивку.

Кто-то из гостей пытается шутить, но никто не смеется, никому не весело на трезвую голову. И сидеть истуканами совестно.

Жених (ему лет тридцать на вид), в черном костюме, плотный, лоснисто причесанный, снисходительно посмеивается, словно знает, чем можно развеселить гостей, да выжидает особо подходящего момента. Сидит он вольно; полные крупные руки с золотым обручальным кольцом лежат у тарелочки прочно.

— Давайте нальем, — говорит мать Зины, толстая, дородная женщина.

Дружно прозвенели рюмки, вилки и разом затихли.

Семен Петрович ждал: вот-вот его вспомнят и закричат: «Просим сказать молодым!..» Ведь он самый старый на свадьбе. Он уже придумывал речь: глаза затуманились от великого волнения, щека мелко-мелко вздрагивала. Про него так и не вспомнили. Гости чокнулись и выпили, молча закусывали.

Долго есть и молчать неприлично. Посхватывали бутылки второй раз. Зашумели:

— Горько-о-о!

Молодые поднимались, жених Дима ловко и уверенно брал невесту, как будто знал ее лет десять, притягивал к себе и целовал спокойно.

Свадьба разгулялась: все говорят, кричат, глаза блестят; из рук в руки переходят тарелки с едой.

— Дай слово, я скажу! — порывался с места Семен Петрович.

Гости не слушали старого, любовались Димой.

Дима скинул пиджак, ослабил на шее галстук. Играючи пошевеливал округло кованными плечами, чувствуя в них неумную силу. То посидит он возле матери невесты, рассмешит ее и сам посмеется, подсядет к другому родственнику, подпоет третьему...

Гости чокались с рюмкой Семена Петровича и поздравляли его с башковитым зятем.

Такой нигде не пропадет! С таким внучка будет жить, как у Христа за пазухой. Тоже с головой девка — знала, кого выбрать. Развернулся Дима: балычок на свадьбу достал, красную и черную икорочку. Рассказывает про свои возможности — рот разинешь!

— Димитрий, иди-ка, сюда! — зывал Семен Петрович. — И родне и гостям ты угодил. Зачем меня обижаешь? Иди, потолкуем...

Старушка услужливо пересела на другой стул. Внучкин жених опустился возле деда.

— Ты скажи, где я тебя видел? Видел и все тут!.. Скажи, и я успокоюсь, спать уйду? — Семен Петрович отодвинул ломтик хлеба, рюмку, словно для состязаний готовил место на столе.

— Пугаешь меня с кем-то, дед. Я на всех похожу, и миллионы людей на меня. Я обыкновенный человек! — У жениха лицо улыбочное, красные губы, мокрые.

— Э-э-э! Ты не обыкновенный, Дима! — хмельно посмеивался Семен Петрович и пальцем водил перед носом жениха. — Обыкновенные с черной икоркой свадьбы не играют. Обыкновенные стоят в очереди после работы и покупают, что есть в магазине. Ты, Дима, не обижайся на старика. Это я так, по глупости, наверно, завидую тебе... Где жить собираетесь или квартира есть?

— Есть квартира, дед, правда, однокомнатная, но через год будет и трех. А зимой мы с Зиной прикатим к тебе на собственном «Москвиче», потом — дача... Надо тебе инвалидную коляску — достану, — был готовым на услуги жених Дима; ему казалось, что и дед одобряет его разворотливость. — Я тебе признаюсь: везде у меня блататэ, блат, значит... — Дима хотел обнять, как дорогого родственника, Семена Петровича, но тот отклонился неприятельски. Диму позвали мужчины выпивать.

— Ты погоди! — громко и сердито закричал Семен Петрович, хватаясь за потную руку жениха. — Ты мне ответь!..

— Опять он в политику ударился! — напустилась на мужа старушка. — Тут свадьба святая, а он... Веселитесь, гости! А ну его, старого, совсем опьянел.

— Не трожь меня, а то посуду разобью! — Встал, размахался

рукой Семен Петрович. Его подхватили, уговаривали, тянули из-за стола.

— Уморился старый, ум за ум заходит.

В пустой комнате его разули, уложили на кушетку. Оставили одного.

Окна задернуты тюлем, светила ясная луна; дерево под окном блестело инеем или старостью листьев.

Снежно белела простынями брачная постель.

Семен Петрович отвернулся лицом к стене и крепко зажмурился, этим он как бы отделился от брачной постели. Он сам по себе, он точно в другой комнате. Лучше бы ему уйти на берег Амура дышать сластящим, душистым грибным воздухом. Не мог встать дед: голова трезвая, а ноги отнялись, да и не отпустили бы его. Зачем они его заперли в комнате с постелью? Думают, от старости и выпивки он не в своем уме и стесняться, значит, не надо. Он, выходит, как штука в ковшу деревянная без чувств и мыслей.

Набрякшее, иссеченное порохом лицо саднило. С каких это пор начало побаливать лицо?.. Семену Петровичу не вовремя вспомнилось зимнее поле, сизые цепочки следов по белому снегу; одни следы терялись в утреннем сумраке — солдат добежал до спасительной полосы. Другие следы натывались на трупы: кто-то, словно озябнув, скрючился, кто-то распростерся, пытаясь и в последний миг жизни ползти вперед.

Когда наступила пора молодым уединиться, внучка Зина расплясалась: уморила баяниста — играй ей «Цыганочку» и краковяк! Включала магнитофон с африканскими плясками. И давай выделывать чудеса. Хватала первого попавшегося парня танцевать.

Испуганно выкатывая глаза, озираясь на гостей, к ней подступали мать и бабушка. Что-то строгое выговаривал ей жених Дима. Зина убегала от них, дурашливо хохотала и плясала под грохочущую музыку, куда-то забросив фату. Вздумалось ей разбить два бокала: налет полный вина, выпьет и разобьет... Потом затеяла твердить: куда девали deduшку? Жених сам не в себе, родственники полошаты, готовы скрутить по рукам и ногам Зину да утащить в брачную комнату.

Неожиданно Зина поскуцнела и сама пошла с Димой.

Не включая свет, провожающие послушали, спит ли Семен Петрович.

— Упился, бедолага. Ничего не услышит, ничего не увидит, — кто-то загадочно пропел.

Поцелуй, пожелания счастливой ночи. Дверь заперли на ключ.

Внучка Зина простучала каблуками к светлому окну.

— Что с тобой? Зачем ты меня с ума сводишь! — вырвалось у Димы.

Молчание. Семену Петровичу слышно громкое дыхание обоих.

Внучка в свадебном наряде белая, белая постель.

Оба молчат, тяжело дышат. Что-то произошло между Димой и Зиной такое, что уговорами, упреками и слезами уже ничего не поправишь. Они стояли друг против друга и молчали.

Семену Петровичу было гадко притворяться спящим, он забормотал, заворочался, как бы просыпаясь.

— Где я?.. Вот засентябрило!.. — Он неуклюже встал и заторкался в дверь.

— Я с тобой, дедушка! — Внучка подбежала к Семену Петровичу и затарабанила кулачком в дверь. — Откройте, не хочу! Откройте!..

ЗЕМЛЯКИ

Вызвал меня к себе редактор радио и говорит:

— Возьми магнитофон и поезжай в деревню детства и юности писателя Андрея Маркина. Пусть люди расскажут о своем земляке.

Велено — надо выполнять. Сажусь на самолетик — тень, как от стрекозы, пересекает Амур с желтыми косами, порхает по мелким речкам, лечу, взволнованный, словно когда-то бродил внизу, слушал жесткий шелест осоки, вдыхал запах озер, заросших кувшинками и водяным орехом.

У извилистой реки, под сопкой, — деревня. Самолет легонько шевельнул крыльями и, снижаясь, заскользил по накренившейся земле.

Мое беспокойство нарастает, точно не по книгам знаю деревню Тополевку, а сам бегал мальчишкой ее улицами и переулками, и теперь, после долгих лет, возвращаюсь домой. Встречу ли знакомых и товарищей, не пройдут ли мимо они, так и не узнав меня?

Иду по родине писателя, смотрю на взгорок, заросший молодым дубняком, длинноногим и прозрачным: смотрю на травы в ирисах и красных саранках. Все мне дорого, все будто бы раньше видел.

Меня нагнала повозка; конь заstopорился, кивает головой.

— Садись, раз такое дело, подвезу, — говорит мужчина.

Сижу на телеге, присматриваюсь к вознице. Он коренаст, на большой, крепко посаженной голове волосы выющиеся, светлые, и крупные руки в рыжих волосах, словно в пыльце.

Я узнал в нем прототипа героя рассказа Маркина о пасечнике и прозвище его вспомнил: Ломонос.

Мой попутчик никому нос не ломал ни в трезвом, ни в пьяном состоянии. Маркин его окрестил названием полукустарника из семейства лютиковых — болеутоляющим, полезным от змеиных укусов и ужалов шершней. Что-то лечебное видел Маркин в общении с пасечником, потому, наверно, и назвал его Ломоносом.

— Следовательно? — понимающе кивнул на футляр магнитофона Ломонос. — К нам наезжают ревизор с портфелем и следовательно с чемоданом, похожим на твой. Деревня глухая, ни дорог тут, ни промысла...

— Зато у вас родился писатель Маркин!

— Это покойницы Марчихи сын? — Ломонос особо пристально взглянул на футляр. — Угадал, следовательно, значит? Меня, брат, не проведешь. Попался Андрюшка! Так я ему и говорил: не век тебе волынить.

Ломонос был уверен, что я прилетел из-за каких-то преступлений Маркина, известных только одному Ломоносу. Он рассказывал о писателе, осуждая и сожалея.

Я молчал, уж как думает пасечник о Маркине, так пусть и рассказывает, принимая меня за следователя. Незаметно включил магнитофон.

— Я же ему говорил: сегодня у тебя романы, а завтра как будешь от работы увиливать? Но! Задремал, тетеря... С детства его знаю. Парнишка-то был емчейший, на покосе, бывало, днями не слезил с коня: задница набита, босы ноги искусаны паутами в кровь — он сидит верхом. Другие ребята убегали домой — он терпел. Он, может, тоже удрапал бы, но дома-то голодно было. Без отца рос... До сих пор помню: вытасу его из палатки сонного, посажу на коня — он и проснуться не может, обнимет гриву, спит и едет за копной. Так и ду-

мал: вырастет Андрюха в нужде — будет справным хозяином. Да судьба на романы повернула. Шевелись, колченогий, все лопал бы!.. Бывает он у меня на пасеке, спрашиваю: твое занятие разве мужское? Отец и дед твой крестьянами были, честным трудом хлеб добывали, а ты пошто родителей позоришь?

— Ну и что Маркин отвечал?

— Что он может ответить! Посмеивается себе под нос, щурится на меня. Правда-то глаза ест.

— Что Маркин на пасеке делал? — перебиваю Ломоноса.

Он некоторое время молчит, округлив ясно-голубые глаза, и выкрикивает:

— Как что! За те же романы брался. Я ему: не-е, браток, я не потерплю! Иди вон пырей коси, ящики сбивай. Смеется, однако меня слушается.

— А вы что-нибудь Маркина читали?

— Оставлял мне книжонку, слава богу, техник унес. Андрейку-то шибко не суди, следовательно. Он не до конца испорченный — это тебе и в сельсовете скажут. Все тут виноваты: на глазах рос, а не доглядели, когда зачал портиться. Поговорить с ним, дак умный мужик и с виду здоровый... Жалеем его. Да вон у Кузьмина спроси, как жалеем.

Заехали в деревню. Ломонос кликнул мужичка с маленьким лицом, заросшим русой щетиной.

Кузьмин мне тоже показался знакомым. Где встречал его, в какой повести? Может, по голосу узнаю, чей прототип Кузьмин.

— Расскажи-ка, Кузьмин, товарищу следователю, как тебя разукрасил Андрейка Маркин! — залиvisto засмеялся Ломонос. Конь зашустрил ушами и оглянулся на хозяина.

— Все он врет, врет!.. — заплясал на месте Кузьмин. — Доврался, значит, в суд потянули! — У Кузьмина глаза большие, так и стрижет густыми ресницами.

Да ведь это же неудачник Кузькин! Рассказ про школьного кочегара так и называется «Кузькин».

— Я сам жаловался прокурору и получил письменный ответ: «За художественные образы не преследуем». Там, где меня не знают, может, я и художественный образ, — в Тополевке, как ни переиначь мою фамилию, мою внешность, все одно угадают, что я — Кузьмин.

Мужичок не стоит на месте и крутит на мазутном пальце шестеренку. Конь дремлет, Ломонос смеется.

— Слышу это я по радио: во стока-то часов передаем рассказ Маркина «Кузькин». У меня так и екнуло сердце — про меня! Подоил быстренько корову — Дина, баба моя, в город улетала, — напоил телка и сел слушать. Верно! Про мою сложную житуху заговорил диктор, как тонул я, как на мари зимой замерзал. Чудно! Шутка ли! Весь край про меня слушал!.. Раза четыре сперва всплакивал. Потом Андрейка, стервец, все испортил. Он меня сперва калеккой сделал, а потом пьяницей. Бывает, выпиваю, когда чушку зарежешь или сосед позовет на именины, тут никуда не денешься, но чтобы последнюю курицу продать на пол-литру... Это Митька продавал, а он мне приплел. У меня, погляди, какой дом — в шесть окон! А Маркин меня в хибару загнал. И женил на злощей кикиморе. Она будто бы еды не дает мне и рубаху не стирает... Дина, Дина! — закричал Кузьмин в сторону дома в шесть окон.

Из огорода вышла полная женщина.

— Чего тебе?

— Видали, товарищ, какая у меня баба! — Кузьмин гордо показы-

вал мазутным пальцем через дорогу на жену. — Иди, Дина. Это я так. Тут следователь насчет Маркина интересуется.

— А! — махнула рукой женщина и скрылась в кукурузнике.

— Андрюха его женил на Хивре, — смеялся Ломонос, облокотясь на бровку телеги. — Есть у нас такая злая Хивря.

— Да что меня! Он всю деревню перепутал. Теперь и не понять свежему человеку, у кого чья баба, у кого чей мужик. Кто у речки жил, того Андрейка в гору переселил: видишь ли, не по его вкусу люди сходились и строились. Да что говорить! Красиво нахудожничал у нас Маркин! — Кузьмин рубанул рукой воздух. — Вы, товарищ следователь, что-то не записываете или на память надеетесь?

Я показал мужикам магнитофон. Кузьмин нисколько не смутился, даже обрадовался.

— Хороша штука! Теперь Андрейке от кляуз не увернуться. Я вам еще Дину кликну. Она своими глазами видела, как Маркин с учительницами за черемухой на лодке ездил. Женатый, ребенка имеет, а что вытворяет. Дина!..

— Ты погоди, — забеспокоился Ломонос и слез с телеги, опасливо косясь на магнитофон. — Кузькин... фу ты, Кузьмин, шибко ты того... Парнишка-то был емчейший.

— Не жалей Андрейку! — насакивал на Ломоноса обросший мужичок. — Андрейка врет, одни мы, тополевы, знаем: все он врет. А та-ам думают: он правду пишет, да деньги ему платят. Есть у меня баба Дина, корова пегая, вот так пускай и выводит на белый свет. — Кузьмин быстрее завертел на пальце шестеренку.

— Ты больно того... — укоризненно бормотал Ломонос. — Вы, товарищ следователь, Андрюху пожалейте, — перешел на «вы» пасечник, не спуская настороженных глаз с магнитофона.

И, когда я отвернулся, он бросил на него фуфайку, еще и локтем придавил. Пришлось выручать магнитофон.

Улица пустынная, теленок вышел на перекресток, потоптался и лег. За бугром застрекотал мотоцикл.

— Серега катит! — заметил Кузьмин. — У него еще расспросите про Маркина, товарищ следователь. Серега тоже сочиняет. Да что Серега! Нынче каждый школьник стихи или книги пишет. Раньше, когда мы учились, такого не было.

— Это верно, — загрустил Ломонос. — Раньше прибежишь со школы — да за лопату, да за вилы, не до романов было. Испортил ребят Андрюха Маркин, а сам парнишкой-то был емчейшим!..

Мотоциклист тряско объехал телка и затормозил возле нас; деревенским он подал руку, мне, к тому же отрекомендовался: киномеханик Выборов. Ему лет двадцать пять, плечист, быстр в движениях.

— Ну, Выборов, милиция Маркиным занялась, — строго сказал Ломонос, — и тебя, глядя, потянут, тоже портишься.

— Много ты понимаешь, «портишься», — передразнил пасечника киномеханик. — Я не Маркин, врать не буду. — Грубовато оттолкнул Ломоноса, взял магнитофон, мне указал на заднее сиденье:

— Поехали. В будке поговорим.

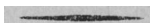
Мотоцикл взревел — мы с Выборовым очутились в кинобудке. Он вытащил из стола несколько общих тетрадей, каждой хлопал передо мной. — Только и слышишь по радио, по телевизору: Маркин, талантливый. А что у него такого?.. — Выборов дернул ко мне табуретку, ухнулся рядом, одним пальцем неприязненно перебрасывал страницы книги своего односельчанина. — Вот про собаку. Да я на каждом шагу вижу таких шавок. Ну, что тут особого, что? А вот мой рассказ про охотничью собаку. Она пять медведей задержала, волка зада-

вила. Не печатают. Маркин все детство на косе пескарей проловил — его печатают. — Выборов взглянул на дверь и полупшепотом добавил. — Маркина хотели в пример школьникам выдвинуть: знаменитость, значит. Раскопали классные журналы. А у него сплошные тройки, на осень оставался и на второй год... — Выборов подозрительно снизил голос. — Вы случайно не знаете: Маркин сам пишет или нет? Как это так, плохо учился, но печатают. Я вот с техникумом, у жены ветеринарное училище — мое не берут, почему, а?

В будку ввалились Ломонос и Кузьмин, враждебно уставились на магнитофон. Ломонос решительно сказал мне:

— Мы тут с горячки напороли глупости... Сожги, брат, к лешему. Сними грех с души...

Я пришел на берег быстрой реки, сел в тень дикой груши разгороженного сада. За рекой, за дубовыми релками — сопки в густой тайге, сизые, как бы в изморози. Я забыл о том, что этот край подарил мне писатель. Для меня все здесь издавна знакомое и близкое. Моя родина!



Михаил ВАЛЬГИРГИН



ХОЗЯИН ТУНДРЫ

День изо дня уже который год
Бессменно, от заката до рассвета
По необъятной тундре он идет
Хозяином. Не так-то просто это.

Что б смело и без устали он шел
Путем непроторенным, каменистым,
Его взрастил отважный комсомол,
Теперь он стал по праву коммунистом.

Родился в тундре он и вырос в ней.
Она была не щедрой на подарки:
Скупая — чтоб он в жизни стал добрей,
Холодная — чтоб сердце было жарким.

Здесь он проделал первые шаги.
С опасностью встречался здесь воочью.
Он слушал песни яростной пурги,
Его мороз баюкал лютой ночью.

И вот уже дни детства далеки,
И пурговать ему давно не ново.
Он вырос и сказали старики
Ему напутственное слово:

«Вот стадо. Будешь ты пасти его.
И, знай, что нет почетнее задачи.
От силы, от умения твоего
Зависит, чтобы жизнь была богаче».

С тех пор призванью верный своему
Наш парень бригадиром стал отличным.
И стала тундра матерью ему,
А крепкий ветер — спутником привычным.

Прославил он отныне весь свой род,
Не ведая в труде своем покоя,
И грудь его широкою народ
Украсил Золотой Звездой Героя.

Идет сквозь непогоду он и тьму,
Готовый до последнего момента
Служить трудом народу своему
Прославленный пастух Иван Аренто.

ХОРОШО РОДИТЬСЯ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ

Горячее сердце мое
к этой земле студенной,
как море —
к песчаному берегу,
намертво прикипело.
Проходят волны —
мои года.

И тают, как чайки
в седом поднебесье.
Старею ли я?
О, да!
Вот стану, как тундра
и как вода.
Когда же умру я,
Наверно, останутся
мои песни.
И дети мои
будут горды
не только дарами
земли и воды.
Навстречу грядущим
векам
лететь-улетать еще
юным моим
землякам.
Какое великое счастье
родиться на этой земле!
Откуда до чуда —
полшага.
Откуда, словно
в оленьем разгоне,
завтрашний день
человечества —
как на ладони.

ПЕСНЯ УЛИЦЫ

Ничего перед собой
не видеть. Хоть тресни.
И пурги протяжный вой,
Кажется, нам песней.

И в тепле, глаза смежив,
дочка улыбается.
Песни уличной мотив
ей, наверно, нравится.

Дней погожих не жалею,
на пургу не сетуй.
Пусть и нам, друг, веселей
будет с песней этой.

СЕРДЦЕ ТОСКУЕТ

Вот туча показалась
Самой земли темней,
И сердце мое сжалось,
Тоскует все по ней.

Уехала далеко
Подружка в институт.
А мне так одиноко
И так тоскливо тут.

И спрятались вершины,
И стонет воронье.
А вдруг она решила,
Что я забыл ее?

Нет, милая, не надо!
Я жду в момент любой.
И будет, как награда,
Свидание с тобой.

И песня ввысь несется,
Какая благодать!
И вновь сияет солнце,
— Оно — умеет ждать.

* * *

Не за стужу вековую,
Не за взмахи снежных крыл
Эту землю горевую
Навсегда я полюбил.

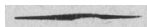
Полюбил за то, наверно,
Что сама она от ветра,
От заката до темна
Меньше нас защищена.

Широки ее просторы,
Необхватны взглядом горы
И озера и моря
Это все при ней извечно
А кому же не известно?..
Что счастливою она
Не была ведь рождена!

Поступь твердую в походе,
Цель на добрые дела
Это ты, моей Чукотке
Власть советская дала.

Это ты, нас отогрела,
Ты учила чаучу,
Что б ему любое дело
Нынче стало по плечу!

*Перевел с чукотского
А. Пчелкин.*



НА МАЛЕНЬКОМ ЗАБЫТОМ ПОЛУСТАНКЕ

ПОВЕСТЬ

Глава первая

К вечеру опять замело. Я это понял по тому, как тоскливо застонал ветер в трубе, уныло загудели провода и тоненько дзенькало плохо пригнанное стекло в окне. Выпростав руку из-под полушубка, я отыскал в темноте папиросы и закурил. Мне не хотелось вставать, что-то делать, включать свет. Это была одна из тех редких минут, когда жизнь скользит мимо нас и мы нимало о том не сожалеем.

Старенький, изрядно обшарпанный диван, вначале показавшийся мне ложем спартанца, теперь таил в себе покой и уют. И я, прикрытый полушубком, хорошо угревшийся на левом боку, следил безразлично и покойно за огоньком папиросы, прислушивался к вою ветра.

Кажется, я опять погрузился в ту божественную полудремоту, когда мысли обретают крылья и человек медленно парит над простором своей жизни. Но неожиданный грохот пробудил меня, я открыл глаза и увидел у печки Милю. Присев на корточки, она легко и ловко заталкивала в топку большие кедровые чурки. Я видел только ее профиль, и то лишь при бликах печного огня, но меня в который уже раз поразило совершенно детское выражение этого лица. А теперь оно еще и подчеркивалось полусумраком комнаты, легкой прядкой волос, выбившихся из-под пухового платка Мили и разбурмачившимся с мороза лицом.

Притворив дверцу, Миля осталась сидеть на корточках, как-то по-ребячьи сутуля узкие плечи и заглядевшись на огонь. Что было в этом взгляде? Всегдашние заботы девушки, ожидание счастья, или же и она успела испытать какие-то муки, смутные противоречия души? Не знаю, не берусь судить. Но иногда Миля взмахивала рукой, качала головой и вообще выказывала признаки серьезно взволнованного человека.

Мне было совестно и дальше тайком наблюдать за нею, я взял еще одну папиросу и чиркнул спичкой. Миля тотчас вскочила на ноги, с испугом оглянулась на меня и смутилась. Некоторое время она была совершенно неподвижна, словно загипнотизированная крохотным огоньком моей спички, но вдруг улыбнулась и выбежала с чайником в руке на улицу.

Лежать в темноте мне расхотелось, и я включил свет. Вся крохотная комнатенка, в которой кроме моего дивана стояла еще в противоположном углу походная раскладушка, через край переполнилась ярким электрическим светом. На мгновение я зажмурился и потер глаза кулаками, а когда открыл их, Миля уже включила чайник и быстро прошла мимо меня в соседнюю комнату, где временно

проживал главный инженер леспромхоза. Я слышал, как наводила она там порядок, и, чтобы не мешать ей, вышел на улицу.

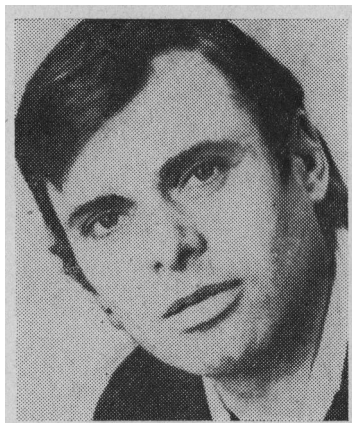
Зимнее морозное небо, красноватый диск луны в черных и мгновенных провалах туч, темная стена тайги сразу же за домами — все мне показалось как-то по-особенному значительным и тревожно таинственным. Что-то в этой ночи беспокоило и будоражило меня, хотелось куда-то пойти и кого-то встретить и кому-то излить свою душу. Но куда пойдешь, перед кем откроешься? Мой сосед по комнате, единственная более или менее близкая мне здесь душа, и тот задержался где-то по службе. Да и трудно мне было бы открыться перед ним, молчаливым, уже в возрасте человеком, ревизующим какие-то леспромхозовские дела...

Я прошелся по крохотному дворику, прислушиваясь к однообразному посвисту февральского ветра, и воротился в гостиницу, тщательно притворив дверь за собой. Миля уже закончила уборку: маленький столик был покрыт свежей скатертью с ломкими складками после глаженья, сменены занавески на окнах, на подоконнике появился неизвестный мне цветок в консервной банке. Мой диван был аккуратно застлан, так что в первое мгновение я и не знал, куда мне присесть — всюду чистота, строгий женский порядок.

Сама Миля, возбужденная проделанной работой, стояла у печки и вопросительно смотрела на меня. Ну, конечно, кто бы не понял этого взгляда, этого робкого вопроса, тайного ожидания, и я со всей энергией, на которую только был способен, выразил свое восхищение. Миля опять смутилась, засмеялась и выбежала из комнаты. А мне стало как-то неловко, словно я в чем-то обманул ее сейчас.

Аркадий Васильевич, так звали моего соседа, пришел поздно, чем-то расстроенный и, как показалось мне, слегка под хмельком. Сняв полушубок и шапку, он тщательно причесал волосы, чему-то неопределенно хмыкнул и тяжело опустился на раскладушку, не замечая или делая вид, что не замечает меня.

Это был человек чуть выше среднего роста, худощавый, лет пятидесяти, с правильными чертами лица и быстрыми внимательными глазами. Впрочем, как я заметил, взгляд его глаз был скорее тревожно-вопросительный, чем внимательный. Наружность его более располагала, чем отталкивала при первом знакомстве, но он, словно в противовес этому, трудно и неохотно сходил с людьми. Я так думаю, что



Вячеслав Викторович Сукачев родился в 1945 году в Северном Казахстане. После окончания средней школы работал матросом в Архангельске, геодезистом и бурильщиком в Забайкалье, строителем и комбайнером в Приморье, корреспондентом Хабаровского радио по городу Амурску. Сейчас редактор Хабаровского книжного издательства.

В. Сукачев участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей. Им издана книга «У светлой пристани», в которую вошли повесть и рассказы. В. Сукачев один из авторов сборника о строительстве Байкало-Амурской магистрали «Великие версты», многих рассказов, опубликованных в журналах.

Член Союза писателей СССР.

это был человек весьма добросовестный на работе и сильно обремененный семьей. А может быть, я и не прав, как это часто бывает при слишком беглом знакомстве с человеком.

Мы довольно долго просидели в молчании, и я уже раза два подкладывал дрова в печку, а Аркадий Васильевич все продолжал хранить какую-то отчужденную молчаливость. Наконец я не выдержал и заговорил первым:

— Чаю хотите?

Несколько минут он не отвечал мне, словно бы и не слышал вопроса, а потом вдруг обернулся и пристально посмотрел на меня.

— Чаю, говорите? А что, я бы не отказался. Только покрепче. У меня брат хорошо заваривает.

— Ну и мы не лыком шиты, — попытался пошутить я, но Аркадий Васильевич моей шутки не принял.

— Вот скажите вы мне, молодой человек, вы, корреспондент газеты, неужели любовь требует разлуки? Неужели только в этом случае и сохраняется она?

Честно признаться, вопрос озадачил меня, и я с некоторой растерянностью ответил:

— Нет, почему же? Мне всегда казалось наоборот...

— То-то же, наоборот, — насмешливо посмотрел он на меня, — да только не всегда наоборот-то получается.

С этими словами Аркадий Васильевич вскочил с раскладушки и рассерженно принялся ходить по комнате. Признаюсь, за всю эту неделю я впервые видел его в таком состоянии, и за одно это мгновение он открылся мне больше, чем за семь дней совместного проживания под одной крышей.

— Что, готов чай?

— Еще минут пять, и можно будет пить.

— Ого, а порядок-то у нас какой, — впервые обратил внимание на преобразившуюся комнату Аркадий Васильевич. — Никак Миля старалась?

Я давно заметил, как менялся, теплел взглядом этот человек при одном упоминании о Миле. А когда она при нем занималась уборкой, тут уже и говорить нечего: он как-то неловко пытался помочь ей, но больше мешал и становился растерянно суетлив. Вот и теперь по лицу Аркадия Васильевича пробежала легкая улыбка, казалось, нос его самую малость вздернулся, и, заложив руки за спину, он в задумчивости остановился посередине комнаты.

— А что, не говорила ли она вам что-нибудь сегодня? — с легкой настороженностью спросил он меня.

— Разным счетом ничего. Да я и не умею с ней разговаривать.

— Ну-ну...

В это время с шумом распахнулась дверь и на пороге появился высокий человек в лисьей шапке и черном полушубке нараспашку. Еще с порога он весело оглядел нас, как-то очень доброжелательно улыбнулся и, уже раздеваясь, сметая снег с валенок, сказал глуховатым с мороза голосом:

— Заседаете? Ну и молодцы, и чай у вас, я вижу, есть.

Это был Сергей — главный инженер леспромхоза, молодой и веселый парень, как я уже успел заметить, встречаясь с ним по делам командировки. Между тем Аркадий Васильевич надулся и опять с отчужденным видом уселся на раскладушку.

— Ох и намерзся же я в тайге, — говорил Сергей, сбрасывая рабочую спецовку, — будь она неладна, работа такая: день копытишь, ночь не спишь, а получишь мат да шиш. Это у нас так лесорубы гово-

рят, придумал какой-то подлец, остряк-самоучка... В кино желающие есть? Васильич, что молчишь?

Аркадий Васильевич неопределенно хмыкнул, дернул плечом и ничего не ответил.

— Не хотите? Ну так я один пойду. — Сергей, в белой нейлоновой рубашке, при галстукe, производил меньшее впечатление. Ему очень шла простая одежда, полущубок нараспашку, но и теперь он был недурен собой.

Сергей присел на раскладушку Аркадия Васильевича и с шутилой улыбкой сказал:

— Ну, не сердитесь, я ведь с вами по-мужски хотел, а вы сразу взъерепенились. Ну и забудем, чего там, тем более она...

— Да ладно, — с неожиданной поспешностью перебил Аркадий Васильевич, — мне что, это ваше дело.

Кажется, между ними что-то случилось. Но, когда Сергей уходил, Аркадий Васильевич уже улыбался и охотно принял от меня кружку с чаем. Да я и представить не мог, как можно было сердиться за что-нибудь на Сергея. Мне он казался хорошим, веселым человеком, к я не пытался скрывать своей симпатии к нему.

— Славный парень, — сказал я Аркадию Васильевичу. — С таким, наверное, легко работать.

— Вот уж не знаю, — нахмурился Аркадий Васильевич. — Работать мне с ним особенно не приходилось, а вот... Послушайте, молодой человек, а может быть, и правда в кино сходить?

— Не могу. Мне надо привести в порядок мои записи.

— А я схожу. Все одно делать нечего.

Аркадий Васильевич оделся, хлопнула дверь за ним, и я остался один...

Я уже начинал засыпать, когда они вернулись из клуба. Я лежал, откинувшись к стене, и они, очевидно решили, что я сплю. Аркадий Васильевич на цыпочках прошел к своей раскладушке и осторожно сел на табуретку. А Сергей грохнулся на эту раскладушку, и она жалобно застонала, охнула под ним.

В нашей комнатухе воцарилась напряженная тишина. Так показалось мне, как вдруг Сергей решительно заговорил:

У вас, Аркадий Васильевич, получается по известному принципу: чужую беду рукой разведу. А жизнь, как известно, гораздо сложнее. — Аркадий Васильевич долго не откликнулся, так что Сергей вынужден был спросить. — Разве не так?

— Да ведь не в этом дело, — глухо ответил Аркадий Васильевич, и я представил, как сидит он на табуретке, ссутулив плечи, и задумчиво глядит в одну какую-нибудь точку. — И я никакую беду разводить не собирался. Я о другом.

— О чем же?

Вы вот давеча по-мужски со мной заговорили, ну и я вам по-мужски скажу, не обижайтесь.

Какой разговор, — по тону я догадался, как Сергей сейчас улыбнулся, весело и безмятежно глядя на Аркадия Васильевича, — мы же не красные девицы.

— Скажите, зачем вам нужна была Миля?

Уточняю, — самую малость напрягся голосом Сергей, — она нужна и сейчас.

— Ну, хорошо. Зачем она вам нужна вообще? — упрямо повторил Аркадий Васильевич.

— Странный вопрос, — не сразу ответил Сергей.

— Вы вот мне сказали, что не стоит делать из Мили исключения. И еще о том, что вы противник постоянства...

— Я вам это и сейчас скажу...

Разговор, кажется, получался не для посторонних, но мне ничего другого не оставалось, как выдерживать роль спящего человека.

— Так позвольте спросить вас, — спокойно продолжал Аркадий Васильевич, — какого именно постоянства вы противник? Постоянства любви? Так это уже не любовь. Это... Черт знает что это такое, но только не любовь. А раз так, значит, Милю вы никогда и не любили, а элементарно влюбили в себя простую деревенскую девчонку. Влюбили из эгоизма. Этаким, знаете, Печорин приехал в леспромхоз, покоритель женских сердец.

— Вы передергиваете, Аркадий Васильевич, — сдержанно заговорил Сергей. — Милю я люблю и сейчас. Но я знаю, что все это может скоро кончиться, знаю это по своему опыту. Вот и все.

— Ну, а если в результате этой вашей непостоянности человек остается несчастным на всю жизнь, как вы на это смотрите? — тихо спросил Аркадий Васильевич.

— Мне кажется, — усмехнулся Сергей, — что вы попросту перепутали поколения. Может быть, в ваше время такие чудеса и бывали, ну, а сейчас, простите, вторая половина двадцатого века.

— В наше время любили, Сережа, — грустно сказал Аркадий Васильевич, — а не юродствовали по этому поводу. Да и сейчас любят, иначе... — Аркадий Васильевич внезапно умолк.

— Красиво сказано. А может быть, вы нам позволите все это самим решить?

— Да вы, я вижу, уже все и решили. Мне только очень жаль. Ведь она-то вас любит без всяких ссылок на двадцатый век. Вот в чем дело, Сережа, как вы этого не поймете? А впрочем, конечно, не мне вас судить, — он горько улыбнулся, — не мне... Однако смотрите... Впрочем, давайте-ка спать.

Они разошлись, и я слышал, как долго ворочался Аркадий Васильевич и как мирно посапывал во сне Сергей. А я теперь уже не мог спать. У меня странная привычка. Я люблю представлять жизнь мало-знакомых мне людей. Иногда я бы многое отдал за то, чтобы проверить правильность моих предположений. В другой же раз мне этого не хочется, и жизнь человека остается для меня такой, какой я ее придумал.

Теперь я думаю о Миле. Я думаю о той босоногой девчушке, что часами просиживала на берегу таежной речки и лишь по тихому вздрагиванию земли угадывала проходившие за лесом поезда.

Миля родилась глухонемой. Она не слышала колыбельных песен и не выговаривала по слогам «ма-ма». Прежде всего ей пришлось научиться видеть. Потолок в мелких трещинах, красного петушка на резинке, шевелящиеся губы матери. Она долго не понимала своего несчастья, пока однажды не заметила, что шевелящиеся губы могут заставить людей смеяться и плакать. Тогда и она попробовала шевелить губами, но мать лишь с жалостью и недоумением посмотрела на нее.

Прошли годы; она постепенно обучалась жестам, выработала свой собственный язык на руках. И этот язык был настолько индивидуальным, что она совершенно не умела разговаривать с заезжими глухонемыми. Она не понимала их жестов, а они, в свою очередь, с удивлением смотрели на нее.

Позже она училась в специальной школе. Но самым лучшим учи-

телем была все-таки жизнь. И она самостоятельно, порой с великими мучениями, постигала мир.

Ну, что для нас значит понятие журчания воды на перекате? Разве только когда мы влюблены, мы пытаемся и в этом журчании отыскать для себя какой-то счастливый смысл. А вот Миле пришлось несколько лет смотреть на перекаты, самостоятельно догадаться о физическом происхождении звуков, прежде чем она поняла, что вода здесь должна журчать. И так вот почти во всем.

В селе ее любили, даже, можно сказать, баловали. Но тем больнее ей было, когда она вполне поняла все свое отличие от подруг. А потом пришло самое трудное испытание — время первой любви. А ведь любила она и, может быть, гораздо более других заслуживала любви.

Я хорошо представляю, как постепенно замыкалась Миля в себе, но вряд ли когда-либо ее покидало чувство ожидания чуда. Может быть, она и не умела представить его себе отчетливо, но в то, что оно должно же случиться когда-нибудь, наверняка верила свято. Должно сказать, что и мы все не лишены этого тайного ожидания, порой даже скрытно от себя. Или мы его выдумываем сами, или нам предсказывают его со стороны, но мы в вечном ожидании чего-то хорошего, светлого в нашей жизни. И как бы скучно стало жить, если бы это было не так.

Аркадий Васильевич и Сергей давно уже спали. Печка прогорела, и в комнате становилось прохладно. Я накинул на плечи пальто и некоторое время сидел в раздумье, как и в прошлый раз прислушиваясь к завыванию ветра за окном, а потом достал тетрадь в зеленом переплете и принялся перечитывать все, что было записано мною на этом маленьком забытом полустанке.

Глава вторая

АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Мою жену звать Катя. Вернее, теперь она уже Екатерина Степановна, заместитель главного врача по лечебной части одной из городских больниц. Но мне хочется рассказать о другой — Люде, белокурой медицинской сестре, которую я встретил двадцать пять лет назад. Не скрою, мне гораздо приятнее вспоминать именно об этом периоде моей жизни. Именно здесь, в этом далеком отрезке времени, была сосредоточена самая беспокойная и самая счастливая жизнь моя. Обыденность притупляет не только ощущения, не только мысли и порывы юности, она поступает гораздо хуже — притупляет чувства наши. Вот в чем беда, вот в чем трагедия наша. Она в том, что мы уступаем, мы поддаемся обыденности. И слава богу, что в юности мы еще не подозреваем об этом...

В госпиталь я поступил с многочисленными осколочными ранениями в области шейного позвонка и затылка. Так бывает, когда за вашей спиной разрывается мина малого калибра. А она разорвалась как раз за моей спиной, и случилось это на подступах к большому украинскому селу. Кажется, это была одна из первых серьезных контратак нашей части после долгого вынужденного отступления. Она задумана была без далеко идущих целей — мы должны были дать почувствовать врагу свою силу, ночью нанесли контрудар. Схватка была серьезная, вернулись немногие.

Удар в затылок нескольких раскаленных кусочков металла — это больно, но гораздо больнее и невыносимее, когда рану начинают обрабатывать в прифронтовом госпитале. И еще невыносимее, когда из-под кожи извлекают эти самые кусочки металла.

Но я улыбался. Наверное, это было от нервов. Врач сбоку заглянул в мое лицо, потом в эмалированный тазик, в котором валялось с десяток осколков, хрипловато сказал сестре:

— Славный парень. Но позже он будет плакать.

Когда я уходил, моя голова была похожа на кокон. Врач взял меня за руку и что-то сказал. Я не расслышал. Он засмеялся, я заметил, что у него не было двух верхних передних зубов.

— Вам повезло, — громко прокричал мне. — Осколки были на излете.

Я согласно кивнул головой.

Сестра провожала меня. Она легонько держалась за мою руку, словно бы эта рука была на чеке гранаты — так она боялась сделать мне больно.

— Не ложитесь на спину, — сказала сестра, — и попытайтесь быстрее заснуть. Вы... очень тяжело ранены. Как вы можете улыбаться?

Она была изумлена и подавлена.

— Я еще приду, — пообещала сестра, — только вы не ложитесь на спину, это вам вредно. Отдыхайте.

Но она не пришла. Через несколько часов госпиталь разбомбили с воздуха. Она и доктор погибли в операционной палатке...

В тыловом госпитале со мной обошлись иначе.

— Ходячий?

— Да вроде бы...

— Ищи Степанова, он определит.

Степанов, маленький издерганный ефрейтор, с тоненькой ниточкой усов под крупным носом, был, очевидно, немаловажной фигурой в госпитале. Поймал я его на втором этаже, в бывшей классной комнате. Ефрейтор сидел в кресле и на кого-то кричал по телефону. Я подождал, пока он кончит кричать, и протянул медпредписание.

— Какой фронт? Звание? Ранение? — быстро спросил меня Степанов и, не дожидаясь ответа, махнул рукой. — Иди к Левашовой, она даст место.

Я спустился на первый этаж, и сестра отвела меня в палату.

— Мне бы перевязку надо, — робко заикнулся я.

— Потом, — Левашова плавно выплыла из комнаты.

— Садись, братишка. Курить найдется? — сказал парень, лежавший на койке у стены.

У меня нашлось, и мы закурили. Парень, должно быть, давно лежал в госпитале: над его кроватью висели цветная открытка с видом Кремля и еще фотография какой-то артистки.

— Меня Генашей зовут, — сказал парень, с любопытством уставившись на мою голову-кокон. — Прошу любить и жаловать.

Я лег на кровать, затылком на подушку. Мне было все равно.

Парень кольцами пускал дым. Форточка была открыта и кольца плавно выплывали на улицу. Несколько минут я наблюдал за ними, а потом закрыл глаза.

— На твоей койке летчик лежал, — едва расслышал я голос Генаша, — вчера помер.

Шли первые дни октября. Падали листья и сухо поскрипывали под ногами. Шли первые дни октября, и немцы торопились взять Мо-

скую. Мы это узнавали не по сводкам, а по усиливающемуся наплыву раненых. Мне хотелось на фронт. Генаше — тоже. В сущности, мы не успели повоевать, мы только отступали.

Утром новенькая сестра сделала мне перевязку. Генаша следил за моими гримасами и уговаривал сестру прийти на свидание.

— Девушка, — говорил Генаша, — я умею любить, а ведь это редкость.

— Девушка, вы делаете ему больно. Посмотрите, его лицо сейчас похоже на противотанковую гранату.

— Девушка, а я ведь знаю массу стихов о любви...

— Вам не надоело? — она спросила почти равнодушно, скорее по привычке, чем от раздражения.

— Я буду ждать вас сегодня в беседке. Девушка, если вы не придете, я буду ждать всю ночь и потом весь день.

— Я не приду.

Это уже начинало походить на серьезный разговор, и я с недоумением посмотрел на Генашу.

— Ну что вам стоит? Вам ничего не стоит прийти. А я почитаю вам Блока. Знаете, вот это: «Когда в листе сырой и ржавой рябины заалет гроздь, — когда палач рукой костлявой вобьет в ладонь последний гвоздь...»

Девушка посмотрела на Генашу. Ее руки на мгновение замерли, а потом опять начали ловко и проворно сооружать домик-кокон на моей голове. А Генаша вдруг замолк и отвернулся к стене.

— Вам что-нибудь нужно? — спросила она его. Генаша покачал головой, и она как-то неуверенно вышла из палаты.

Генаше нужны были ноги, его ампутированные ноги, а она не могла вернуть их ему.

В палате нас шесть человек. Особенно запомнился мне старик-ополченец. Впрочем, никакой он не старик — около сорока или чуть за сорок. Но нам, двадцатилетним, он казался стариком. А может быть, так казалось еще и потому, что он умирал, умирал от ранения разрывной пулей в низ живота. А ему хотелось жить, этому ополченцу, бывшему смотрителю московского зоопарка. Он лежал неподвижно, и только глаза, уже затуманенные лихорадочным блеском, с мучительной тоской смотрели на нас.

У окна, головой ко мне, лежал тихий и печальный узбек. Он почти совсем не разговаривал, но мы как-то все узнали о том, что он был в разведке, ходил на ту сторону фронта. Фашисты поступили с ним так: выкололи глаза и отпустили на все четыре стороны. А он был еще так молод и плакал по ночам. Плакал во сне, когда зрение возвращалось к нему.

Этого мальчика скоро выписали, и он уходил, такой стройный и прямой, с такой детской сосредоточенностью в высоко поднятом лице, что мы все почувствовали себя виноватыми за его потерянные глаза.

Был среди нас и легкораненый, «легочник», как прозвал его Генаша. Но как относительны понятия. У парня оторвало кисть руки, и он учился левой сворачивать папиросу. До войны такое несчастье было бы событием всего села, а теперь он числился чуть ли не в счастливых, который через пару недель должен был выписаться вчистую. Да, он научился левой рукой сворачивать папиросу, но управлять автомашиной — уже никогда не сможет, и многому ему уже не научиться. Но разве думали мы тогда об этом.

Вечером Генаша окликнул меня:

Аркаша, — голос его был спокоен, — ты должен сходить туда...

— Куда? — я не понял его.

— В беседку.

— Зачем?

— Не будь дураком, Аркаша. Она будет ждать.

— Да с чего ты взял? — Я перевернулся на бок и посмотрел на Генашу. Плотно сомкнув губы, он умно и жестко смотрел мне в глаза.

— Или ты сходишь туда, или...

Я уже знал немного Генашу. Ему перебило ноги, когда он взрывал береговой склад с боеприпасами. Четыре дня ему не могли оказать медицинскую помощь, и это решило его судьбу. Врач сказал, хоть бы на день раньше. Но дня этого у Генаша не было.

Я медленно брел по садовой дорожке. Наверное, это была пресмешная картина: длинный коричневый халат, увенчанный белой башней из бинтов, и огромные тапочки. Я вынужден был волочить ноги по земле, скрывая пальцы, и вообще прикладывать массу усилий для того, чтобы они не слетали с ног.

Но через десять шагов я решительно обо всем забыл. Знаете, бывают осенью такие вечера, когда особенно светлая грусть приходит к вам. Нет никакой причины, никаких особых обстоятельств для грусти, а вы между тем печально грустны. Грустны оттого, что где-то жгут листья и на вас наносит легким дымком, что воздух прозрачен и уже по-осеннему свеж, наконец, оттого еще, что вам двадцать лет, а вы еще не любите. В это время особенно ощущается одиночество, но оно не сильно беспокоит вас, потому что и оно, само по себе, приятно вам. Это одиночество Надежды, одиночество Мечты, а как раз в осенние вечера они кажутся так легко исполнимыми.

Вот ведь была война, умирали люди, и сам я остался жив лишь потому, что мина не долетела до меня. А помнил ли я в те минуты обо всем этом? Конечно, где-то глубже и прочнее во мне жили и другие чувства, но они жили для другого момента, они терпеливо ожидали своей очереди, а пока оставили меня почти совершенно. А пока я брел по больничному саду, по-смешному счастливый от своей грусти, от свежего воздуха, от светлых надежд.

В беседке никого не было, но между деревьями я разглядел де-вушку, туго перетянутую ремнем поверх длинной гимнастерки. При-слонившись спиной к тополи, низко опустив голову, она тихо ворошила прутиком хрупкое золото листьев. Наверное, и она переживала свою осеннюю грусть, может быть, думала о ком-то, и даже непременно думала, не могла не думать, потому что такой это был вечер.

— Сестрица, — тихо окликнул я, чувствуя, как осел и сорвался мой голос, — сестричка, — повторил я, хотя она уже смотрела на меня, в легком удивлении приподняв тонкие брови. Она медленно оттолкнулась от дерева и пошла ко мне, в беседку, все еще с изумлением в широко распахнутых глазах.

Я чувствовал себя мерзко. Я не был ни в чем виноват, и все-таки я в чем-то обкрадывал Генашу. Как это выразить поточнее? Генаша заслужил это свидание больше, чем я, не только своим трепом с новенькой сестричкой, и она пришла на свидание совсем не из-за этого трепа (слово-то какое скверное), тут было что-то большее, чем просто слова, тут действовали совершенно иные правила, и я этих правил не знал.

Она подошла и как-то очень доверчиво заглянула в мои глаза.

Именно заглянула, потому что хотела знать, почему я пришел сюда. Наверное, она что-то увидела там и поняла, и молча отвернулась от меня, и маленькой белой рукой погладила перила беседки.

— Зачем вы пришли? — тихо спросила она.

— Он мне велел встретить вас, — я тоже отвернулся и смотрел на то, как падает красный шар солнца за деревьями. Мне кажется, я увидел в этот раз на солнце пятна, или это тени деревьев отразились в нем.

— Шутка? — Я чувствовал, что теперь она пристально смотрит на меня.

— Нет...

— А что?

— Он не может ходить. Он взорвал склад боеприпасов противотанковой гранатой. Это — верная смерть, но он потерял только ноги.

— Вы его друг?

— Мы знакомы два дня.

— Ага... Как его зовут?

— Генаша.

— А вас?

— Аркадий.

— Меня Людой. Как вам удалось выбраться из госпиталя?

— Я просто вышел.

— У нас Степанов за этим следит... Вам пока еще вредно много ходить. Ведь ходят не только ноги, шейные позвонки — тоже..

Наконец-то она посмотрела на меня просто как на человека, без особого интереса, но и без настороженного любопытства. Под ее темными ресницами светилось простое человеческое участие, которое мало к чему обязывает, но так много дает. А я смотрел на нее каждую минуту, как только она куда-нибудь отворачивалась, заметил на ее носу крохотные крапинки веснушек и маленькую родинку у виска и только улыбки ее я еще не видел.

— Как вас ранило? — спросила Люда.

— Это неинтересно.

— Вам досталось?

Она улыбнулась, и улыбка у нее была хорошая, открытая и веселая.

— Она пришла?

— Да...

— Я же говорил.

— Я ей рассказал о тебе.

— Ты не очень много наврал?

— Кажется, нет.

— Ну и молодец. Как ее зовут?

— Люда... Она все время спрашивала о тебе.

— Аркаша! Мне от нее ничего не надо, ты это запомни.

— Хорошо.

— Ну, а теперь рассказывай, о чем вы там трепались?

О чем мы говорили в этот первый вечер? Есть такое состояние души у человека, когда за каждым словом открывается целый мир, и чем больше этот мир, тем дороже становится для тебя человек. Но вся беда в том, что словами об этом не рассказать. Совершенно невозможно рассказать словами, и в этом вся прелесть таких мгновений.

— Этой осенью я хотела поехать в Ленинград.

— А у меня в Ленинграде живет брат.

И все, и словно бы мы вместе уже побывали в Ленинграде, прошли по Невскому, любовались громадой Исакия и в восторге замирали перед картинами Эрмитажа. Как это случается, как это можно пережить за одно мгновение — я решительно не знаю. Но это мгновение уже объединило вас, уже подготовило почву для следующего.

В госпиталь мы возвращались вместе. Было темно и тихо в мире. Я еще к этому не совсем привык и чего-то смутно опасался. Так случается, когда нас уже обнаружили и лишь поджидают, чтобы вы подошли на бросок гранаты. Когда вы подходите — все наполняется светом и грохотом. Я это знаю, я это испытал на себе.

— До свидания, Аркадий.

— Мы... увидимся?

— Конечно. Завтра мое дежурство.

— Я не об этом.

— Аркадий, тебя ведь могли убить.

— Я бронированный.

— Как-нибудь я свожу тебя домой. Только для этого нужно быстрее выздоравливать.

— Я постараюсь, Люда.

— А губы у тебя мальчишеские. Когда ты стесняешься, они начинают дрожать. Спокойной ночи, гражданин в тапочках, и не попадайся Степанову, он может закатить скандал.

Третье октября 1941 года. Это я запомнил на всю жизнь.

Глава третья

Ополченец умер не у нас. Его куда-то унесли и там он умер. Но перед этим он очнулся и чувствовал себя хорошо. Так бывает, когда человек выходит на финишную прямую своей жизни. Последний проблеск сознания, перед окончательной потерей его. И кто знает, может быть, в этом самое жестокое проявление жизни нашей. Уже закончены все мелкие и большие расчеты с миром, уже готов возок и впряжены кони, уже распахиваются ворота и просторные дали манят вас, а вам вдруг предлагают подождать. Зачем, спрашивается? Что должен пережить и перечувствовать человек в эти несколько часов, на которые он не рассчитывал, когда он уже погружался в вечность, когда он уже отрекся от всего земного и, в первую очередь, — от земного себя...

Ополченец (я не запомнил его имени и фамилии) ожил перед вечером, перед самым закатом солнца. Есть в этом случайном совпадении какая-то странная тревога, которая вдруг захватила нас. Мы все притихли и смотрели, как он возвращается к жизни. Это был утомительный порыв истратившегося в болях организма. Вначале он просто затих и перестал бредить, перестал вспоминать имена зверей, за которыми некогда ухаживал. Потом вдруг раскрылись его глаза, странные глаза человека, в которых не было света. Зеркальный глянец зрачка, вот и все, что осталось от глаз. А уж затем, как-то противоестественно и неожиданно, из-под одеяла начала выпрастываться одна его рука. Она выпрастывалась ужасно медленно, какими-то толчками, подчас трудно уловимыми. Мы, словно замороженные, смотрели на эту руку, смотрели на то, как вздрогнула она в последний раз и замерла на одеяле. Работа была закончена, бледно-желтый призрак руки мертво лежал на одеяле.

Почему я сейчас говорю об этом так подробно? Почему, решившись вспоминать о первой моей любви, я так часто отвлекаюсь в сторону, привожу, казалось бы, ненужные здесь детали? Да потому, что каждый человек и каждое событие той поры готовили во мне эту любовь. Рядом со смертью еще прекрасней казалась жизнь, страдания порождали ненависть, но и она была во имя любви. И, когда я вышел из госпиталя, когда я форсировал Днепр, забрасывал гранатами подвалы Кенигсберга, взрывал запоры стальных дверей Майданека, я слушал полусумасшедший бред власовцев на сортировочном пункте, я помнил и бледно-желтую руку ополченца, и розовые провалы глазниц юноши-узбека, «девушка, я умею любить» Генши, и первый поцелуй медицинской сестры.

Он ничего не сказал нам. Может быть, он не мог говорить, а может быть, нас уже не было для него. И, когда его уносили, он был совершенно спокоен, может быть, уже приобщившись к тайнам, которые нам еще не дано было знать.

Я не сказал о шестом обитателе нашей палаты, о человеке, который, может быть, оставил в моей памяти самые отвратительные воспоминания, который отравил мое сознание первым сомнением в совершенстве Человека. Это был муж знаменитой в те годы киноактрисы, еще сравнительно молодой, интеллигентной наружности мужчина. Не знаю, чем он занимался до войны и как попал на фронт, но в госпиталь он поступил с пустяковым ранением предплечья.

Его звали Юрием Владимировичем. Помню первое, что поразило меня в нем, это совершенное благородство лица. Представьте себе крупную красивую голову с высоким и чистым лбом, породистый нос с легкой горбинкой и волевой подбородок с умеренно развитой нижней челюстью. Добавьте к этому почти два метра роста, великолепное телосложение и белые длинные пальцы с розовыми ободками на ногтях. Уму непостижимо, как он уберег эти пальцы на передовой.

Он пришел к нам, словно человек из другого мира. Он буквально подавил нас своей величественной наружностью, и, что скрывать, мы все почувствовали, как еще далеки от физического совершенства.

Как здесь кормят? — это было первое, о чем он спросил, развалившись на указанной ему кровати. Никогда ни до, ни после я уже не встречал такой насмешки природы над человеком. Вся наружность Юрия Владимировича с первого же взгляда предполагала ум и благородство, а он был туп и мелочен, невольно хотелось в нем видеть храбрость и душевную красоту, но он оказался труслив до неприличия, жаден и завистлив. Позер, хвастун и самолюбец — вот далеко не полный перечень его отличительных черт. Я думаю, он и на фронт попал в силу хвастовства и желания хоть на вечер вымолить у кого-то для себя внимания и жалости.

Начал он с того, что выдал Степанову Ивана Кулика, того самого, что лежал с оторванной кистью правой руки и скоро должен был выписаться вчистую. Из дома Ивану прислали кое-какие деньги на покупку одежды. Он же решил распорядиться иначе. Тайно даже от нас сходил в город и закупил на все деньги продукты, и все мы целых три дня ели до отвала. Вот эта его самовольная отлучка и стала известна Степанову.

Ефрейтор влетел в нашу палату и, сунув два тонких пальца за ремень, грозно пошевелил усами. Мы уже успели изучить его повадки и притихли на койках, ничего хорошего для себя не ожидая.

Кулик! — зловеще окликнул ефрейтор.

Иван растерянно помигал белесыми ресницами и медленно поднялся, одной рукой придерживая великоватые для него кальсоны.

— Интересно, — ехидно прищурился ефрейтор, — в город вы тоже в кальсонах бегали?

Кулик молчал, да и что еще ему оставалось делать.

— И так вот их рукой придерживали? — Степанов показал, и мы заулыбались. Степанов нахмурился и строго обвел нас взглядом, — на этот раз я не буду докладывать по начальству. Следующего, кто попадется — накажу!

Ефрейтор помолчал и, вдруг совершенно переменившись в тоне, обратился к Юрию Владимировичу.

— А вы тоже куликовские шаньги с маслом ели?

Мы все оглянулись на Юрия Владимировича. Он медленно краснел и умоляюще смотрел на Степанова.

— Нехорошо, — покачал головой ефрейтор, — вы это должны были знать. Отдыхайте, товарищи раненые.

Степанов резко повернулся и стремительно вышел из палаты.

Юрий Владимирович ел махорку, натирал известью глаза, но его здоровому организму ничего не делалось, и в конце октября его выписали из госпиталя.

— У нас, в Алуште, продавались лучшие на побережье крабы, — Генаша мечтательно прикрывал глаза и тихо чмокал губами, — Аркаша, какие это были крабы! Тебе, Аркаша, этого не понять. За нашими крабами приезжали из Симферополя и Туапсе, Севастополя и Ялты, сама Одесса шла к нам на поклон из-за крабов. Самый большой краб, которого поймал Федька Курочкин, весил кило двести тридцать пять граммов. Ты это можешь представить себе — кило двести тридцать пять граммов отборного мяса и только с одного краба?

— Генаша, я одену твои брюки?

— Сколько угодно. Пользуйся, пока я их не подрезал до уровня моих ног.

— И гимнастерку тоже?

— Пожалуйста, только не брызгай на нее одеколоном. Степанов не любит запах одеколона, он чувствует в нем свободный дух самовольных отлучек. И потом, у него от одеколона растет нос. Ты, наверное, знаешь, что у человека нос растет всю жизнь? А судя по размерам, носу нашего ефрейтора никак не меньше двухсот лет.

— Ну и горазд же ты врать, — с удивлением поднимает голову с подушки Кулик.

— Это не треп, Ваня, это истинная правда.

— И нос растет всю жизнь?

— Даже после смерти. Когда ты будешь умирать на руках своей плачущей жены, не забудь смерить свой нос. В могиле проверишь: за неделю он у тебя сантиметра на два отмахает.

Все это Генаша говорит с самым серьезным видом, сидя в кровати поверх одеяла. Культышки его ног с подвернутыми гачами кальсон широко расставлены. Он внимательно следит за тем, как я собираюсь, и изредка дает советы.

Я выглядываю из окна и при холодном свете луны вижу Люду. Она медленно уходит по аллее в глубину сада. Аллея изрезана многочисленными тенями деревьев, и ее фигура то утопает в тени, то вновь обливается холодным сиянием. Низко опустив голову, сложив руки У груди, Люда уходила все дальше. Было в ее фигуре что-то грустное и волшебное одновременно, и я замер от вдруг переполнившего меня восторга, от какой-то непонятной мне печали.

— Сегодня, когда я вошла в вашу палату, он отвернулся от меня.

— Он просто отлежал один бок и повернулся на второй.

— Нет, он сделал вид, что спит.

— Может быть, он и действительно заснул?

— Нет.

— Знаешь, во сне быстрее проходит время...

— Иногда мне кажется, что он меня ненавидит.

— За что?

— Не знаю. Но мне так кажется.

— Ему приходится трудно, труднее, чем нам. У него по ночам чешутся пальцы на ногах. А это тяжело, когда ты спросонья тянешься к пальцам, а их у тебя нет. Ниже колен — пустое одеяло.

— Да, я знаю. Интересно, у него девушка есть?..

У Генаши девушка была. Маленькая продавщица из магазина подарочных товаров. Он познакомился с нею за два месяца до войны. Он просто вошел в магазин и увидел ее. Маленькую, с вздернутым носиком и детским любопытством в глазах. За два месяца он успел сходить в рейс до Батуми и назад и привез ей маленького зеленого попугая со смешной и трогательной кличкой Лу-Му. Они вместе сходили к столяру и заказали для Лу-Му красивую клетку и попросили покрасить ее светлым лаком. Они почему-то думали, что родиной Лу-Му была бамбуковая роща и хотели, чтобы клетка была похожа на бамбук.

Вечером они спускались по Краснофлотской улице к морю, садились на камни, и весь вечер принадлежал им. Они так увлекались своими мечтами и планами, так любили наблюдать друг друга и купаться в ночном море, что забыли поцеловаться. В первый раз они поцеловались у пирса, за десять минут до отхода Генашиного катера. И это было вечером 22 июня...

— Куда мы идем?

— Куда хочешь.

— Как твоя голова?

— Тоже чешется. Когда-нибудь я посрываю все бинты.

— Тебе придется еще дней десять потерпеть.

— Чем ты занималась до войны?

— Училась... Училась в медицинском институте вместе со Степановым.

— Он был отличник?

— Нет. Просто старательный парень. Из детдома.

— Кем ты хотела стать?

— Хирургом.

— Ты еще успеешь стать хирургом.

— Да, наверное.

— Куда мы идем?

— Знаешь, наверное, я ему напоминаю эту девушку?

— Да. Мне кажется, вы похожи.

— И у тебя... есть девушка?

— Да.

— Кто она?

— Ты.

Какая здесь была тишина. Я не уставал этому удивляться. И долго потом понятие тишины у меня было связано с ночным садом, тенями от деревьев на широкой аллее и тоненьким посвистом какой-то крохотной птахи, который только подчеркивал всю глубину этой тишины. И вот же странное дело, в памяти нашей гораздо лучше сохраняются не реальные поступки и действия, а факты, сопутствующие им.

Так, свист птахи я запомнил гораздо лучше того, как мы шли по саду.

А потом мы сидели на садовой скамейке, и у нас вдруг не стало слов. Я мучительно подыскивал, о чем бы таком сказать, но мне все казалось вздорным. Может быть, в это время надо читать стихи, что-нибудь о звездах, о луне и поцелуях, но я не умел читать стихи. Я скосил глаза и увидел, что Люда сидит задумчивая и спокойная, губы ее были слегка полуоткрыты. Я наклонился к ней, и она тут же повернулась ко мне, осторожно обняла за шею и крепко поцеловала в губы.

— Вот, — сказала Люда и перевела дыхание.

Я молчал и тихо гладил ее плечо, и тогда она опять склонилась ко мне и потянулась губами, я ее поцеловал, и уже ни за что не хотел отрываться от ее губ.

— Ты много целовал девушек?

— Нет... Только два раза.

— Ого, — она смеялась.

Я не обманывал ее. Только два раза — это была правда. Теперь — в третий. Первый раз в походе, комсорга нашего института, Нину Пряжину. Мы заблудились и поцеловались, когда услышали голоса наших ребят и когда уже не хотели их слышать. И второй раз — тоже Нину, на перроне в Хабаровске, на глазах у ребят. Вот и все.

— Кто бы мог подумать, что у нас так получится.

— Как?

— Что тебя Генаша отправит на свидание.

— Я бы пошел и сам.

— Это правда?

— ...Когда меня выпишут, ты останешься здесь...

Она покачала головой и закусила губу, и я почувствовал, что сейчас ее целовать нельзя.

— Я тоже уйду на фронт и, может быть, даже раньше тебя.

— Ты подала рапорт?

— Давно. Вместе со Степановым. Но его не отпустят, а я добыюсь.

— Если бы вместе.

— Так почти не бывает.

Она опять проводила меня до госпиталя. Когда я собрался уходить, она привстала на цыпочки, поцеловала меня в губы, а потом погладила мои щеки теплыми ладонями.

— Зачем эта война? — тихим шепотом спросила она.

— Не знаю. Не мы ее начали.

— Ты не хочешь меня поцеловать?

Я хотел. Потом она ушла, и листья хрустели под ее ногами. В эту ночь был первый заморозок.

Через два дня приехала жена ополченца. Перед обедом ее пригласили к нам в палату Степанов.

— Вот, Мария Ильинична, — смущенно сказал ефрейтор, — может быть, ребята вам что-нибудь расскажут.

Непонятно мне, но она каким-то образом сразу же угадала его постель. Молча прошла к ней, ухватила рукой за спинку и тихо заплакала. Мы затаили дыхание. Не знаю, может быть, Степанову не стоило этого делать.

Когда Мария Ильинична немного успокоилась, она обвела комнату взглядом и горько вздохнула. Было ей лет сорок, не больше, а ведь мы ополченца считали стариком.

— Как он тут, ребятушки? — задержала Мария Ильинична взгляд на Генаше. Генаша смутился и раскашлялся.

Ничего, — неуверенно ответил за всех Кулик.

— Тяжело помирал-то?

Долго и мучительно, мы и сами тут все замучились, — ответил из своего угла Юрий Владимирович.

— Говорил что-нибудь? — Мария Ильинична повернулась к Юрию Владимировичу и опять всхлипнула, доставая из рукава платочек.

А как же, поспешно ответил Генаша, — рассказывал...

Что же он рассказывал? — напряглась Мария Ильинична.

Вас часто вспоминал, — уже бойко отвечал Генаша, и мы все облегченно вздохнули, поняв, что теперь он все берет на себя. — Про зверей рассказывал. Особенно про одного медведя.

— Так это он про Тараса, — оживилась женщина и даже легкая улыбка пробежала по ее лицу, — ну вот, ну надо же, и здесь он про него не забыл. Это был его любимец. Большущий такой, бурый увальень. Его охотник Тарас поймал, поэтому так и назвали.

Правильно, Тарас, — радостно улыбнулся и Генаша, — он еще прутья в клетке поломал.

Женщина задумалась, виновато посмотрела на Генашу и неуверенно сказала:

— А вот этого он мне не рассказывал.

Ополченец нам тоже этого не рассказывал. Он просто бредил и в бреду вспоминал какого-то медведя и еще — австралийского страуса. По-моему, что-то там случилось, с этим страусом, и он часто вспоминал его. Я ждал, что Генаша скажет и о страусе, но он сказал о другом:

Как сейчас в Москве, Мария Ильинична?

Тяжело, просто ответила ока, и мы как-то сразу заметили, что она страшно устала, с большими синими полукружьями под глазами и ранней сединой на висках. Ее доброе русское лицо затаило в себе какую-то грустную горечь, а в глазах угадывалась легкая растерянность овдовевшей женщины.

На следующий день она принесла нам морковные шаньги и опять расплакалась, когда начала прощаться. Никто из нас не успокаивал ее. Мы знали: это слезы памяти, слезы той былой жизни, которая связывала Марию Ильиничну с нашим ополченцем и которой уже никогда не будет. «С нашим», я не оговорился, действительно, получалось так, словно бы он нам был уже ближе, чем этой женщине, прожившей с ним почти четверть века. Он был нашим по участи и призванию, он был нашим по самой изначальной сути общности людей. И я никому не поверю, кто попытался бы меня разубедить, я знаю это сердцем — она плакала и за нас.

...Мы провожали Кулика. Он был тих и растерян. Он уже один раз прошел по кругу и пожал всем нам руки и теперь стоял у своей койки, бережно прижав к животу забинтованную культю. Он специально попросил забинтовать ее и еще два пакета прихватил с собой. Наверное, он не хотел, чтобы в селе сразу узнали о его несчастье. Наверное, он хотел приехать молодцом и, чтобы все подумали, что он ненадолго, на побывку, а там опять на фронт, в самое пекло. Наверное, он был хороший солдат, Иван Кулик, пока его кисть не срезало осколком. Бомба упала слева от него, и все давно залегли, вжались в землю, срослись с нею, а он запоздал на долю секунды, потому что за день перед этим был назначен командиром стрелкового отделения. А командир должен заботиться о своих подчиненных, и Кулик, вскинув правую руку, хрипло прокричал: «Ложись, ребята!» Когда и он залег, кисти у него уже не было.

— Ну вот, значится, все, — Кулик виновато посмотрел на нас и вздохнул.

— Пиши, как доберешься.

— А то. — Но что-то беспокоило его, не давало покоя, — вольный казак, как говорится, — он бережно погладил культю левой рукой.

— Счастливчик вы, — Юрий Владимирович мечтательно улыбнулся, — скоро дома будете. Дом... мы лишены его, нам уж придется воевать за вас и себя.

— Да не тяни ты душу, чего стал? — Генаша покосился на Ивана, — все равно нас с собой не заберешь. Да мы и не поедем, нас своя самогонка ждет. Рви когти, пока лапу назад не приляпали.

— Так я ведь, если что, и одной управиться могу. — Иван помигал белесыми ресницами, — вы уж это, не забывайте, пишите ответ.

— Напишем.

— Ну, тогда прощайте.

И он опять обошел нас всех по очереди, Юрий Владимирович недовольно поморщился, но встал с постели, вяло пожал левую руку Ивану.

Я пошел его проводить.

Всем встречным раненым Кулик поспешно совал руку, выворачивая ее ладонью наружу, и торопливо говорил приглушенным шепотом:

— Я, брат, домой. Вчистую списали меня. Эх, отвоевался!

На улице, немного помявшись, Кулик доверительно сказал мне:

— У меня женка, Аркадий, чисто золото, ей моя рука нипочем, лишь бы сам живой вернулся. А рука, это ничего, я парень ловкий, мигом левой все обучусь делать. Папиросы вот уже верчу, ты же знаешь?

— Да.

— Я разве виноват? Ну, прощай, Аркадий. Мне на поезд. Привет там, нашим...

Он вскинул тощий рюкзачок за плечо и ушел по садовой аллее, несколько раз оглянувшись на меня, и все улыбался, все помигивал белесыми ресничками. А как, должно быть, ему хотелось припустить бегом.

Глава четвертая

Странное дело, мы никогда не ссорились. Даже тени отчуждения я никогда не испытывал к ней. А ведь иные влюбленные чуть ли не специально ругаются буквально через день, чтобы затем иметь возможность нежного примирения. Таким образом распаляются страсти, искусственно поддерживается чувство на какой-то определенно заданной высоте. Зачем? Не значит ли это, что чувства и вообще нет? И далеко ли от притворной ссоры до искренней ненависти? И долго ли удовольствие примирения будет торжествовать над горечью размолвки? А ведь придет момент, когда заключение мира оставит в душе маленькое неудовольствие (а он непременно придет), и покатится оно снежным комом, обрастая уже невыдуманными раздражением и злобой. Но, повторяю, мы не ссорились совершенно. И это совсем не значит, что у нас не было повода к тому, просто мне не приходило в голову, что Люду можно обидеть каким-то небрежным словом или же поступком. Каждое свидание доставалось мне слишком дорогой ценой, и я постоянно помнил об этом.

Однажды она не пришла. Помню, был теплый и тихий вечер. Перекликались гудки паровозов, и до моего города было только двое

суток езды. Я сидел в беседке и ждал. Я давно понял, что она не придет, что все сроки прошли, но мне хотелось ждать, и я ждал.

С вокзала пришла машина с новой партией тяжелораненых. Санитары уносили их в госпиталь и возвращались с пустыми носилками. Я хорошо видел их в свете фар, их белые халаты, тяжелые кирзовые сапоги.

Кто-то из раненых громко ругнулся. Бодро и почти весело ругнулся. Наверное, с ним обошлись неловко, положили на простреленный бок или просто заделали рану, и он вынужден был ругнуться. И по этому бодрому ругательству, по какой-то мальчишеской бесшабашности в голосе я догадался, как рад этот боец тому, что долгий и трудный путь в эшелоне закончен, что теперь он на месте, под надежным присмотром людей. Какой-то этап войны для этого человека был закончен, и он уже был готов для следующего. Пройдет месяц-другой, и, если все обойдется благополучно, и он встанет на ноги здоровым человеком, и сможет держать в руках оружие, он будет готов и для следующего этапа войны. И так до самой победы, до самого конечного конца, этап за этапом он будет умирать и воскресать только потому, что знает всему этому цену.

Нас не учили войне. И в нас не воспитывали веру в необходимость убийства с моральным оправданием его, и потому на фронте мы стреляли и ненавидели зло, ненавидели фашизм. Это было долг каждого Человека. Любого из нас. И этот парень, наверное, долг свой выполнял хорошо. Иначе бы он просто не имел права на мальчишескую бесшабашность, на веселую бодрость да и на ругательство за то, что его положили неправильно.

Генаша хандрил. Он как-то тихо и незаметно уходил в себя. Однажды я ему сказал:

— Послушай, почему ты не напишешь ей письмо?

— Пошел ты к черту.

— Хочешь, я напишу за тебя?

Он долго молчал, а потом перешел на свой обычный шутиливый

тон:

— В этом есть смысл, Аркаша, но не для меня.

— Почему?

— Она слишком хорошая девушка. А на свете слишком много хороших парней.

— Ерунда! Ты и сам это понимаешь.

— Аркаша, вот был у меня дед, он работал в Балаклаве грузчиком. Однажды турки подпоили его и увезли с собой. Когда он проснулся и вынул три ковша воды — Балаклава уже была тю-тю. Такие хохмочки случались, и дед был не первым. Назад он вернулся через четыре года, на той же шхуне, с маленькой турчанкой в носовом трюме. Эта турчанка была моей бабушкой, — Генаша повернул голову и весело посмотрел на меня.

— Ну и что? — недоуменно пожал я плечами.

— Не доходит?

— Нет.

— Ну, так слушай дальше. У моего деда и этой бабки-турчанки родилась дочь. Как ты понимаешь, наполовину тоже турчанка. Это была моя мать. Теперь понимаешь?

— Ну, мать наполовину турчанка, а при чем здесь...

— Так, а я-то кто? — перебил меня Генаша, — тоже наполовину турок.

— А...

— А турки — народ упрямый, Аркаша. Заруби себе это на носу.

А вообще-то хочешь, я тебе стихи почитаю. Ты любишь стихи? Так вот слушай.

Она поет, и звуки тают,
Как поцелуй на устах,
Глядит — и небеса играют
В ее божественных глазах:
Идет ли — все ее движенья,
Иль молвит слово — все черты
Так полны чувства, выраженья,
Так полны дивной красоты...

— В детстве я долго болел, Аркаша. Я хотел умереть. Но потом мне попались стихи, я их прочитал, удивился. Потом прочитал еще раз и начал заучивать наизусть. Все подряд. Мне почему-то теперь этого времени жаль, Аркаша.

Он лежал на спине и задумчиво смотрел в потолок, и что-то с ним делалось в эти минуты, а я не мог понять — что. Может быть, ему вспоминалось море и зеленый попугай в клетке, а может быть, три ряда колючей проволоки и длинные продолговатые ящики, аккуратно уложенные в штабеля. Когда он полз, обломки этих ящиков долго попадались ему на пути, и он безотчетно радовался, что они ему попадались.

— А Кулик теперь дома, — неожиданно сказал Генаша. — И ни черта он нам не напишет письмо. Он еще не научился писать левой рукой, а когда научится, ему уже расхочется писать нам. Да и о чем писать? Что у соседа сдохла корова, или в доме напротив получили похоронку? — Он помолчал и ровным голосом продолжал: — Я вот о чем думаю теперь, Аркаша, я думаю о последнем дне войны. Я думаю о том, кто будет убит последним. Он сейчас где-нибудь живет, может быть, весело живет и плевать хочет на смерть. До самого последнего момента он будет верить в свою бессмертность. И, уже убитый, он, наверное, успеет подумать, что это не серьезно, что не может же в самом деле его убить, такого веселого и сильного, такого везучего до сих пор. А тот, кто его убьет, будет жить долго и скучно, и никогда не подумает о том, что он был последним убийцей второй мировой войны... Интересно, если бы он знал, что будет последним убийцей, стал бы он стрелять? Ты бы стал, Аркадий?

— Наверное, нет.

— Тогда убили бы тебя. Нет, Аркаша, надо стрелять! Стрелять до последнего! — Я увидел, как Генаша сжал кулак, лицо его заострилось и побледнело, — война, Аркаша, не игра в пятнашки — кто последний, тот голи. И ты стреляй до последнего, иначе войну могут выиграть они. А ты окажешься тем, последним, и у тебя не будет Люды и вообще ничего не будет, и даже крабов алуштинских тебе не придется попробовать. Ах, какие это крабы, Аркаша! Если бы ты это только знал.

— Попробуем и крабов, — с неестественной бодростью сказал я и тут же почувствовал всю фальшь своих слов, которые так заметно относились только к Генаше. Он пристально посмотрел на меня и вдруг широко и весело заулыбался.

— Да брось ты, Аркаша! — одним рывком он подтянулся на руках и сел в постели. — Ты что думаешь, обо мне? Мол, не собрался ли Генаша в лучший мир? Дурак! Меня туда и силой не отправишь. Мне, Аркаша, этот мир по душе. Да и потом, как же без крабов? Мой дед, тот, что бабку-турчанку привез, в таких случаях говорил: «Хоть на карачках, а в рай вползу...»

Я лежал на кровати, и мне чертовски хорошо было от Генашиных

слов. И только об одном я сожалел всерьез, что мы не будем вместе сидеть в противотанковом окопе и не бросимся вместе в атаку. И еще я думал о том, что немцы, покалечив Генашу, здорово прогадали, и это им даром не пройдет.

С утра задул холодный ветер, и как-то неуютно, серо и печально сделалось на улице. Тяжелые низкие тучи словно бы придавили городок, угрожающе зависли над ним и, подползая друг под друга, клубились километровой толщей, и это чем-то напоминало мне фронт. Так бывает, когда на окраине города полыхает нефтебаза, рвутся цистерны и крышка одной из них со стоном врзается в землю в каких-нибудь десяти метрах от вас.

Но по-прежнему было тихо. И в этой тишине, из этого мрачного неба, перед обедом заструились белые пушинки. Я лежал на койке и что-то такое думал, о чем сразу же забываешь и о чем, может быть, уже не вспомнишь никогда. И вдруг в нашей палате посветлело. Какой-то холодный свет залил стены и потолок, мягко разлился в воздухе, и, еще ничего не понимая, я уже был переполнен тревожной радостью. Я уже знал, что в мире что-то переменялось и слепо обрадовался этому.

В одно мгновение все, кто мог, повскакивали с коек и приникли к окнам, а за окнами медленно кружился снег и падал на черную холодную землю. Как объяснить то, что случилось со мною при виде этого снега? Как объяснить то, что я вдруг страшно обрадовался жизни и вдруг вспомнил картины, которые, казалось бы, навечно были похоронены в моей памяти? Вот я выбегаю шальный и беспечный на улицу и несусь вдоль нашего палисадника, и что-то такое кричу, что непременно должны услышать все, и поддержать меня в щенячьем восторге. Но улица пуста, и никто вроде бы особенно не радуется снегу. Один я, один я бегу по улице, еще ничего не смысля в жизни, но уже подвластный токам ее и этой подвластностью прочно соединенный с нею. А мне всего лишь шесть лет. И вот костер у холодной осенней реки. Ночь, стеклянный звон струй на перекате и таинственные шорохи в лесу. Так чисто и так холодно в мире. И кто-то смотрит на меня из-за костра, и я, замороженный этим взглядом, боюсь что-то смигнуть с ресниц. И вдруг — шорох. Мгновенный шорох по всей тайге. Что-то шипит и плавится в нашем костре. Я поднимаю голову — и снежная крупа густо сыплется мне на лицо, я протягиваю руки и в моих ладонях неслышно перекатываются мельчайшие крупинки. Глаза за костром погасают, и я долго отыскиваю их, чтобы поделиться радостью открытия первого снега. Но постепенно шорох в тайге стихает, становится грустно и чего-то жаль...

— Во, братцы, снег пошел, — взволнованно говорит кто-то.

— А ты думал, крупа манная? — отвечают ему, но тоже радостно, с восхищением отвечают.

— Ну, теперь держись...

А кто держись и почему — непонятно. Но оно сейчас, наверное, и не нужно, это понимание.

Мне хочется на улицу, пройти по этому снегу, подставить под него ладонь. Я скашиваю глаза и вижу, что Генаша, навалившись грудью на спинку кровати, тоже там, на улице, посреди этого снега. И я вдруг срываюсь с места, выскакиваю из палаты и несусь по длинному коридору. Я еще не знаю, что буду говорить, но, что делать — я уже знаю.

— Товарищ ефрейтор! Товарищ Степанов! — взмолился я в клас-

сной комнате, — разрешите на улицу, на пять минут. Ведь снег идет.

— Мне только простудных заболеваний и не хватало, — бурчит Степанов, и его длинный нос, которому по словам Генаша никак не меньше двухсот лет, недовольно кривится. Но бурчит ефрейтор как-то нерешительно и смотрит на меня смущенно, а потом догадывается отойти от окна.

— Да мы тепло оденемся. Нам только на минутку?

— Ладно, только...

Но я уже не слышу, я уже в коридоре, в палате, возле Генашиной койки.

— Да разве ты меня дотащишь?

Какой разговор. Генаша и сам это понимает и суетливо тычется по кровати и, запрокинувшись на спину, ловко натягивает на культи давно подрезанные шаровары. Мне заботливо помогают его поднять, распахивают перед нами двери, какие-то советы несутся вдогонку, и вот мы уже на первом этаже, в тамбуре, на улице...

Мы сидим на садовой скамейке. Вид, очевидно, у нас самый дурацкий, так что пробежавший мимо санитар оглянулся и весело засмеялся. Должно быть, хороший человек.

Земля была сухой и мерзлой, и снег не таял. По нему уже можно было читать следы. Мы сидели молча, совершенно согласные в своих чувствах, и обвинит ли нас кто-нибудь в том, что мы на время забыли о войне.

— Аркаша, пройди по снегу.

Я молча встаю и иду. Я знаю, что Генаше хочется послушать, как он будет хрустеть под моими ногами. Потом я захватываю пригоршню снега, скатываю его в комок и швыряю в Генашу. А он уже гребет рукой по скамейке, делает страшные глаза и попадает мне снежком в грудь. И никаких соплей, мы с ним равные среди равных в этом прекрасном мире.

Я уже мог крутить головой и при этом не ощущать себя так, словно бы по моей шее проводили крупным наждаком. Я постепенно выправлялся из-под бинтов, и моя голова-кокон начинала принимать нормальный вид, вполне сносный вид, от которого я уже успел отвыкнуть. Но мне все еще были противопоказаны резкие движения и слишком долгие прогулки. И еще многое мне было противопоказано, например, сильное волнение, сон в положении на спине, острая пища и переохлаждения. Но мне не могли противопоказать жить. С этим ничего нельзя было поделать: ни мне, ни тем более врачам. И выздоравливал я не потому, что меня сравнительно хорошо кормили, ухаживали за мной и лечили меня, нет, жизнь выздоравливала во мне. Никогда еще я не был так готов к жизни, как за эти два месяца в госпитале.

— Ну вот, милый, я и пришла...

— А я-то думал...

— Проститься.

Разве я не знал о том, что в любое мгновение мы можем расстаться и расстаться надолго? Разве я не знал, что кто-то из нас уйдет первым? Все это я знал. Но, думалось, потом когда-нибудь, не сейчас, не сегодня. А теперь вот пришло это сейчас, и я растерянно смотрю на Люду, и ее рука медленно выскальзывает из моей, и я не могу удержать ее.

— Я хотела тебе сказать...

— Что?

— Потом.

С этого мгновения каждое ее слово, каждый взгляд и жест при-

няли совершенно иной смысл. И этот смысл был — разлука. О чем бы она ни говорила и как бы внимательно я ее ни слушал, во мне продолжала жить упорная мысль — она уедет. Она уедет, скрипел снег под ногами, она уедет — в дыхании ветра, она уедет — в бледном свете ущербной луны. Она уедет — ощущалось во всем. А я так ничего ей и не сказал.

— Почему ты молчишь?

— Не знаю.

— Мне очень грустно, Аркадий.

Я не сказал ей о любви. Не сказал о ее милых доверчивых глазах, в которых всегда было какое-то робкое ожидание, тайное предчувствие любви. И еще я не сказал ей о том, как трудно мне будет без нее. Я для чего-то берег эти слова, для какого-то особого момента, который еще не наступил и теперь уже не наступит. В этом случае она была щедрее меня.

— Пойдем.

— Куда?

— Когда-то я обещала сводить тебя домой, помнишь?

Я помнил. Когда она заходила в нашу палату, я почему-то робел. А она всегда умела незаметно для других как-то отличить меня, как-то дать понять, что я для нее особенный раненый. Никто этого, кажется, не замечал. А я ее за это любил еще больше. И мне думается, что в этом было гораздо больше простой человечности, чуткости души, чем чувства к любимому. Последнее было бы так просто.

— Степанову я сказала.

— А?

— Я сказала, что ты будешь у меня.

С самого начала меня поразила в ней какая-то особенная женская настойчивость. Она умела заставить поверить во что-нибудь, совершенно не побуждая к этому. И я серьезно думаю, что, если бы ей вдруг захотелось уверить меня в глупости наших чувств — я мог бы согласиться с нею.

— Я уезжаю в три часа ночи. В три с какими-то минутами.

— Одна?

— Нет, нас будет семь человек.

Однажды Люда сказала мне: «Знаешь, Аркадий, я, кажется, немного трусиха. Научи меня, как надо не бояться. Ведь стыдно будет, если я струшу на фронте и если кто-нибудь это увидит». Помню, я сказал ей, что этому нельзя научиться, что это нужно просто пережить. И страшно ведь только до той минуты, пока ты в бездействии, пока ты не решился. А решившись, ты уже не помнишь о страхе, в тебе живет только одна мысль: добежать до той вон воронки, первым выстрелить вот в этого немца, вовремя передернуть затвор, — так в крайнем случае было со мной.

— В этом доме я живу.

— Недалеко.

— Да. Когда-то он принадлежал богатым людям. Там очень красивые лестницы, в каком-то духе, я не помню точно в каком. Но это сделано красиво.

Был холодный вечер. Уже с морозом и слабым, но колючим ветром. И, когда мы вошли в квартиру и за нами деловито защелкнулся замок, я сразу ощутил тепло. Ровное тепло давно обжитого дома, в котором чудились уют и покой. А я, оказывается, уже успел отвыкнуть от этого.

— Раздевайся, Аркадий, здесь вешалка.

— Я, может быть, так?

— Еще чего.

Дело в том, что я на свидания приходил довольно-таки сносно одетым, и это достигалось за счет длинной и тщательной заштопанной шинели. Но под шинелью — это уже был полный мрак. Пижама еще куда ни шло, но не пойдешь же ведь в пижамных брюках, и я надевал шаровары, которые, как мне казалось, раньше носили сразу два человека. И вот, завернувшись в эти самые шаровары, я подпоясывался бинтом. Ну можно ли вообразить что-нибудь потешней.

— Ах, вот в чем дело, — улыбнулась Люда, разглядывая мою длинную шинель.

— Знаешь...

— Знаю. Сейчас придумаем.

Она ушла в комнату, а я продолжал топтаться в коридорчике, зачем-то стряхивая мелкие соринки с шинели и с ужасом наблюдая, как от моих сапог натекают грязные лужицы.

— Готово. Иди переодевайся.

— Неудобно.

— Глупости. Это все папино. Осталось после него.

Мы были примерно одного роста. Может быть, я чуть выше. Но мне все оказалось впору. Потом мы пили чай, сидя за кухонным столом, и я впервые увидел Люду в домашнем халатике и тапочках на босую ногу. И мне это показалось так хорошо, так шло к ней, так напоминало что-то, почти забытое, далекое, еще из детства, что я ощутил тугой комок у горла и поспешно отвернулся.

— Мама сегодня в ночь. Она придет на вокзал.

— Что она говорит?

— Ничего. Она знает, что так надо.

Ее мать работала на заводе. Люда говорила, что она талантливый инженер. А я, выросший в деревне, как-то не мог свыкнуться с тем, что ее мать — талантливый инженер. Хорошая доярка, справедливый бригадир, строгий секретарь сельского Совета — на большее моей фантазии не хватало. А ведь со мною в политехническом институте учились десятки девчат, я бы должен был привыкнуть к этому, но нет: женщина — инженер, это ведь так много. И это ведь так не по-женски — возле железа. А под пули — по-женски? Я совершенно запутался.

— Аркадий, я вот что хотела тебе сказать... Только это серьезно... я... хочу быть... быть...

— Я люблю тебя, и я хочу быть твоей...

Не знаю, мне кажется невозможно было бы сказать об этом проще, чем сказала она. И я промолчал лишь потому, что у меня не достало бы сил попасть в тон этой простоте. Я видел в ее глазах тревожное ожидание на вопрос, и тогда я медленно склонился к ней и поцеловал в шею там, где была маленькая черная родинка. Я обнял ее, и она притаилась, затихла, робко стучась ко мне своим сердцем. А потом спрятала голову у меня на груди и тихо всхлипывала, вздрагивая худенькими плечами...

Нам надо было вставать и начинать жизнь, которую мы оставили для счастья. Нам надо было спешить, а мы лежали в молчании, но уже во власти той, оставленной нами жизни. Ветер тихо вдавливался в наши окна, и нам было еще покойней и уютней от этого ветра, и от того еще, что мы вместе. Все еще вместе.

— Я бы хотела любить тебя вечно.

— Это трудно.

— Аркадий, но только это не потому... что все равно война.

Она приподнялась на локте и заглянула мне в глаза, как это сделала однажды в беседке. Ее волосы упали на мое лицо и грудь. Я слышал ее дыхание. Она склонилась ближе, и вдруг я с необычайной болью почувствовал, что так уже никогда не будет. Не будет крохотной совы-ночника и упругого ветра в окно, не будет тепла ее рук и родинки на шее, и нас тоже — не будет. Я вздрогнул и сильно обнял ее. Я так боялся остаться один.

— Аркадий, ты что?

— Лучше бы ты не уезжала.

— Тогда бы уехал ты...

Действительно, тогда бы уехал я. Просто я как-то об этом не подумал.

Мы бежали по ночному городу. Перекликались гудки паровозов, и мы бежали на эти гудки. Навстречу попался военный патруль, и мы пробежали мимо, и эти ребята, что были в ночном патруле, наверное, поняли, что мы спешим на поезд.

— Аркадий, если я опоздаю...

— Мы успеем.

— Будет такой позор.

— Ничего не будет.

— Там мама.

— Я забыл оставить тебе свой домашний адрес.

— На вокзале...

— Ага. Какой-то поезд стоит.

— Это мой, Аркадий!

Мы выбежали на перрон и остановились перед невысокой женщиной, которая строго и удивленно посмотрела на нас. Мне она показалась спокойной.

— Mamочка, мы чуть не опоздали, — Люда прижалась к матери, поцеловала ее и немного виновато посмотрела на меня.

— А я уже начинала беспокоиться.

— Мама, я хочу тебе сказать, что... мы...

— Не надо.

— Но, мама...

— У тебя это написано на лице. Лучше познакомь нас. Валентина Ивановна, — она протянула мне руку. — Как ваши раны?

В это время на нас налетело человек пять веселых девчат.

— Людка, ты где пропала?

— Наш вагон напротив, вон тот, видишь?

— Познакомь с солдатиком.

— Возьмем его с собой. Веселее будет.

— Давай не задерживайся, скоро двинемся. — И они побежали к вагону, чему-то смеясь и переговариваясь, и было это похоже на то, что просто подружки-студентки уезжают куда-то на турбазу в поход. И если бы это было так!

— Ладно, Люда, меня машина ждет, — решительно сказала Валентина Ивановна, — отпросилась на полчаса. Мы все с тобой уже обговорили. Будь осторожней, пожалуйста.

Они обнялись, и Люда заплакала. Валентина Ивановна гладила ее волосы.

— Ну, ничего, — сказала она строго, — береги себя... Может быть, там встретишь отца... А вы, — Валентина Ивановна обернулась ко мне и неожиданно хорошо улыбнулась, — заходите к нам. Обязательно заходите. Ведь не чужие теперь. — И она ушла.

- Ну вот, Аркадий, вот и все.
- Может быть, это скоро кончится.
- Что?
- Война.
- Если бы.
- Мне не хочется тебя отпускать. Поцелуй меня! Скорей!
- ...Ты напиши мне с дороги.

Вначале я шел рядом с вагоном, потом бежал, потом перрон кончился.

- Я тебя люблю, Аркадий! Мы скоро...

Но ветром сорвало ее последние слова, понесло над вокзалом, полями, лесами, над целым миром. Она уезжала все дальше, на фронт, навсегда...

...Стало уже совсем холодно. Я подбросил в печку дров и долго смотрел на то, как они разгораются. Постепенно труба наполнилась ровным, спокойным гулом.

Странные ощущения переживал я. Мною была дочитана только одна из страниц человеческой жизни, а мне казалось, — последняя. Мне думалось, что уже никогда и ничего настоящего не могло быть в жизни Аркадия Васильевича. А между тем это было не так, и я это хорошо понимал. Но куда же девался тот, госпитальный Аркаша, и почему я не заметил в сегодняшнем Аркадии Васильевиче Люды? Разве она ушла бесследно? Не может быть. Разве она ушла вообще? Нет, она не могла уйти, она бы должна жить в нем и жить куда реальнее многих живых людей. А вдруг их жизнь продолжается в ком-то другом? Может быть, так бывает? Может быть, новые люди несут их любовь, несут, как завещанное чудо, как предчувствие вечного и прекрасного.

Я перелистнул страницу тетради, но прежде чем начать читать дальше, закурил.

Глава пятая

СЕРГЕЙ

Мне тридцать лет. Ребята говорят, что я уже старик. Черта лысого. Я самый молодой человек в нашем районе и вообще на земле. В самом деле, ведь тридцать лет это чертовски удачно. Это возраст, когда уже можно подводить кое-какие итоги. Подводить без эмоций и ложных преувеличений, которыми так любит грешить юность. И потом тридцать лет — это только восемь лет до Пушкина. А это уже кое-что значит.

Мне почему-то кажется, что мое поколение самую малость ущербно. С этим можно не согласиться. Но вот почему я так думаю. Мы родились в конце войны. Слопав положенное количество мерзлой картошки и жмыха, переболев рахитом и корью, мы с необычной жадностью набросились потом на сладости. И нам их давали. Давали потому, что мы-де пострадали с детства и вроде бы уже этим одним заслужили любое количество сладостей. И мы их уничтожали в огромном количестве. И теперь смотрим равнодушно не только на кубинский песочный, но и на кое-что послаще.

Вот следующие, те, что идут за нами, этим повезло больше. Они

родились с крепким иммунитетом к сладеньким штучкам, они не болели рахитом. Они — то самое поколение, которым стали бы мы, не помешай нам война.

Но это так, впрочем. А вообще-то я не люблю говорить о неприятных вещах. Бог с ними, с неприятностями, не ради них мы живем.

Однажды я неудачно выпрыгнул из трамвая. Ничего особенного — потянул связки. У меня это случается часто, после парашютных опытов. Впрочем, ерунда, полчаса хорошего массажа и можно плясать.

Трамвай остановился, распахнулись передние двери, и ко мне подбежала девчонка-вагоновожатая.

— Что с вами случилось? — девчонка был перепугана.

— Пустяки.

— Но вы упали?

— Я просто ехал зайцем, а тут заметил пять копеек на тротуаре...

Девчонка с удивленной тревогой смотрела на меня. Смешно, у нее были косички. Маленькие, жиденькие косички из-под красного берета и маленький, пуговкой нос.

— Не больно? — она жалостливо поморщилась.

— Поезжай, — махнул я рукой, — график поломаешь.

Она еще секунду помедлила, а потом двери захлопнулись, скрипнули разжимаемые колодки, и вагон покатил дальше.

Пустячный случай, ничтожный эпизод. Я сижу и массирую голень правой ноги. Проходят люди, удивленно косятся на меня, садятся в трамвай и — поехали. А я сижу.

Нога отошла, можно и в путь, тем более, сегодня у меня сумасшедший день, надо бы крутиться, а я сижу.

Я считаю трамваи. Подходит трамвай к остановке, я удовлетворенно киваю головой и говорю: «Семнадцать». Он уходит, я жду следующий. Красная шапочка подкатила на тридцать втором. Ну да, все правильно, она увидела меня и опять удивилась, опять перепугалась, и глазенки ее косо вытаращились на меня. Чудачка, с такими эмоциями ее и на десять лет не хватит.

Я вхожу в трамвай с задней площадки и бережно опускаю монету в кассу-автомат. Щелчок, билет у меня на ладони. 323342 — это номер моего билета. Быстро подсчитываю. Не сошлось на одну единичку. Счастье выкрали у меня из-под носа. Жаль. Подозрительно осматриваю пассажиров — кто из них? Разве сознаются. Даже взглядом не покажут. Замылили билетик. Ладно, обойдемся. А сегодня мне бы счастье пригодилось.

Остановка. Интересно, следит она за теми, кто выходит, или же нет? Или я для нее уже просто пассажир. Проверим. Выскакиваю с задней площадки и врываюсь в переднюю. Я успел ощутить только след ее взгляда. Он прочертил вагон, словно падающий метеорит ночное небо. И только хвост, мне достался только хвост.

«Товарищи! Приобретайте билеты в автоматической кассе».

Микрофон наполнил ее голос строгой важностью. Даже трудно поверить, что это Красная Шапочка с пуговкой-носом так умеет.

«Ленина, следующая остановка».

Как ее зовут? Должно быть, Машенька, или что-нибудь в этом роде. Приехала из деревни за городским женихом, а пока вот работает. Впрочем, могла и завалить экзамены в институт, теперь ждет следующего года и работает.

— Девушка, добросьте до общежития.

— Не мешайте Я работаю.

— Ах, вот как.

Оказывается, она умеет и на серьезе.

— Где ваша жалобная книга?

— В издательстве.

Язычок. Ценю. Хотя и неожиданно. Остановка. Люди выходят. Толкают меня, ворчат, потерпим.

— Когда заканчивается ваша смена?

— Что у вас было с ногой?

— Вывихнул палец. Зачем вам эта железка?

— Это не железка. Товарищи, приобретайте билеты в автоматической кассе.

— Стажером возьмете?

— Нет.

— Жаль.

— Мне тоже.

— Кого?

— Вашу невесту.

Это можно понимать как угодно. Намек на то, что пора заканчивать, надоело. Или же — у вас невеста есть? Мне по душе второй вариант.

— Я еще только ищу.

— И как?

— Нету. Хороших разобрали, плохие — учатся, им некогда.

— Ну и ну.

— Так когда же смена?

— ...Через час.

— Как вы в стрелках разбираетесь. Я бы здесь наверняка влево умотал.

— Да уж разбираемся...

Мы идем по центральной улице. Честное слово, можно подумать, что у меня нога специально растянулась. Вот что значит хорошая случайность. Но она просто не дается, ее надо искать.

Красную Шапочку зовут Галей. С Машенькой я дал маху. И живет она в городе, и нос у нее не такой уж пуговчатый, как мне показалось вначале.

— Куда мы идем?

План созрел моментально.

— В кино. На десять. «Солярис» устраивает?

— А билеты?

— Добудем.

Билеты я добыл. Этого у меня не отнимешь.

— Галя, я могу опоздать на журнал, у меня уйма дел на вечер. Но к фильму я постараюсь подойти. А если не успею, встречаемся у этой вот будки. Идет?

Она недоверчиво посмотрела на меня. Я взял ее за руку, легонько сжал.

— Галя, ну, честное слово. Вечером я все расскажу.

А что рассказывать, вечером мы обмывали мой диплом.

Светит солнце. Асфальт парит, а я в нейлоновой рубашке — жарко. Пью газировку и бегу дальше. Мне повезло, половина дел уже переделана, а времени... времени мне хватает. Беру курс на Валькину резиденцию. В его подвале можно пережить любую жару, можно пережить, как мне кажется, Всемирный потоп и потом спокойно выйти на эту вот улицу, встретить вот эту девушку...

— Здравствуйте, простите. Нет, я ничего не хотел. Я просто думал встретить вас после потопы.

Девушка, похожая на армянку, или и в самом деле армянка, презрительно смотрит на меня, отворачивается и уходит.

— Дурак!

Нет, она не права. Я не дурак, я просто счастливый человек. И я бы хотел сейчас догнать эту девушку с огромными черными глазами, и сказать ей о том, что кто слишком часто повторяет слово дурак, тот сам не совсем умный человек. Ее просто надо предупредить, чтобы она больше не злилась на хороших людей. И тем более — на счастливых людей.

— Парень, закуришь...

— Найдется, юноша, найдется. Сколько тебе лет?

— А тебе-то что?

— Я коллекционирую курящих вьюношей. На, ты заслужил.

Парнишка загребаёт в лапу сигарету, с предостерегающей угрозой смотрит на меня и уходит. В сущности, милый пацан, вот у него и денег на курево нет, а все остальное — от самозащиты. Мы это тоже прошли, правда, стрелять у незнакомых как-то стеснялись, но тут уже должна быть сноска на время. В нашем детстве папироса кое-чего стоила, а теперь остается только удивляться тому, как у этого мальчика не нашлось мелочи на сигареты.

Три ступеньки вниз, темный коридор, дверь направо и еще две ступеньки.

— Привет, старик!

Валька сидит на раскладушке, и две крохотные щепочки ослепительно сияют в его рыжей бороде.

— Садись вот на эту табуретку, мне как раз нужна идиотская улыбка.

Покорно сажусь и чувствую, как действительно что-то идиотское проявляется на моем лице. А Валеку пристально смотрит на меня, и, как всегда, в этой пристальности ощущается полнейшее отсутствие. О таком взгляде чаще можно прочесть, чем испытать его на себе, но, если кто не испытывал, я бы и не советовал.

Валька рисует, я смотрю на его работы из дерева. Порой это громадные, в два метра, фигуры людей, порой крохотные бюсты, и мне они нравятся больше. Валька называет это школой примитивизма, себя — примитивистом. Как-то он сказал мне: «Слушай, Сережа, искусство уже пережило себя. Не может быть второй улыбки Джоконды, вторых рабов Микеланджело и вторых «Граждан Кале» не может быть. И сколько бы мы еще ни меняли школы и течения, мы все равно придем к наскальным рисункам. Мы придем к простоте. Времена ложной красоты и многозначительной непонятности миновали. Выродились любители черных красок, ярко-желтых и синих — тоже, а дерево, его богатейшая, естественная фактура и камень остались».

— Валеку, я к тебе по делу.

— Не шевелись. У тебя подбородок кретина или боксера.

— Сегодня обмываем диплом.

— Ерунда, — Валька швыряет карандаш и берет с подоконника книгу, — смотри сюда. Несколько веков художники Японии угробили на буддизм. Голова Будды, будда Амида, будда Дайбуцу, и черт их всех перечислит. Так вот для нас это просто деревянные болванки, а для японцев — искусство, архитектура, наконец, религия.

— Так ты, что же, эту самую религию хочешь к нам перетащить?

— Все дело в простоте, — Валеку задумался, потом вскочил, забегал по мастерской. — А я вот тебя хочу вырубить из дерева и, чтобы ты прожил века, понимаешь, коряга?

— Меня века не выдержат, я тяжелый человек, Валек. А в ресторан к восьми часам. Будь здоров.

— Подожди. Выпить хочешь?

Мы выпили сухое вино из эмалированных кружек, и Валька опять забегал по мастерской. Вообще-то я мало что смыслю в искусстве, но мне кажется, что Вальку слегка заносит. Ну чего он полез в этот буддизм, в самом деле? Тесал бы себе и дальше каменщиков, плотников, головы знаменитых людей. Смотришь, польза бы какая-нибудь получилась, а так блажь сплошная.

С удовольствием выбираюсь из подвала на божий свет и вижу, что мир прекрасен. Появляется желание прокатиться на трамвае. Но Галя теперь дома, пьет чай с вареньем и смотрит по телевизору дневную программу. Ладно, так и быть, пусть посмотрит.

Дверь мне открывает Веркина мама. В роскошном халате, в бигудях, с ослепительным сиянием золотых зубов.

— Ах, это вы, Сережа, извините, я в таком виде, думала...

— Вы прекрасно выглядите, Елизавета Семеновна. Вера дома?

— Да, да. Проходите, Сережа.

Вхожу в Веркину комнату. Валяется на диване. Журналы, как разноцветные змеи, расплзлись по полу.

— Сережа! Вот здорово! — Сейчас ее тоненькие бровки беспомощны и наивны, в припухших со сна глазах растерянность. Ей бы еще синенький скромный платочек на голову.

— А я зашел в универмаг, сказали, выходная.

— Кто сказал?

— А эта, с фиолетовой прической.

— Нинка? Садись. Теперь будешь ждать, пока я отремонтируюсь.

— Некогда, Верок. Я на один момент. Сегодня в ресторан идем.

— Ну! Серьезно? Ты, что, влюбился?

— Ага.

— Seriously?

— Ах, Верок, как ты могла забыть о том, что перед тобой сидит дипломированный инженер? И как ты могла в свое время разлюбить такого человека?

— Сережа, уже!? — Верка бросается мне на шею, целует. Сейчас это не страшно. Помада мне не угрожает, и я охотно подставляю ей щеку. Но первый порыв восторга прошел. Верка устало опускается на диван и почти со слезами в глазах смотрит на меня. Смотрю и я на нее и в первый раз вижу, что Верке уже двадцать пять. Во, черт, время летит.

— А я-то дура, — горестно шепчет Верка и откидывает прядки светленьких волос с лица. — Бросила институт... Сейчас бы тоже...

— Ты же собиралась в торговый?

— Да ладно, провались они все. — Веркино личико светлеет, и вот она уже бодро смотрит на меня. — Значит, покутим? Когда собираемся?

— В восемь.

— Ты мне какого-нибудь инженеришку подыщи в мужья.

— Выходи за меня.

— Трепло ты, Сереженька. И за что тебя девки любят?

— И губы, падая, дают. Привет! — Я поднимаюсь и иду к дверям.

— До вечера, товарищ инженер, — в Веркиных губах уже торчат шпильки, и смотрит она на меня уже из трюмо, легонько разглаживая тоненькими пальчиками кожу от глаз к вискам.

— Вы уже уходите, Сережа? — Елизавета Семеновна выглядывает из кухни, ее голова обмотана махровым полотенцем.

— Да. До свидания, Елизавета Семеновна.

— До свидания, Сережа. Заходите к нам почаще.

Я обуваю туфли, а чьи-то огромные желтые сандалии, с облупившимися носками, остаются среди красивой и нарядной женской обуви.

Пересекаю улицу и вхожу в часовую мастерскую. Здесь работает человек, которого мне тоже хотелось бы пригласить на вечер моего триумфа. Это дядя Ван.

Увидев меня, дядя Ван радостно улыбается, кивает приветливо головой и откладывает в сторону золотые дамские часики.

— Уй, Сережка, какой здоровый стал! — он протягивает мне маленькую сухую ладонь.

Я дружил с его сыном, и я не знал лучшего друга, чем Коля Ван. Но Коли Вана теперь нет. Он вытолкнул какую-то девчонку из-под колес автомашины и за это сам поплатился жизнью. Он был талантливым человеком, сын дяди Вана, и об этом в институте не стеснялись говорить вслух даже профессора. Интересно, каким человеком будет девчушка, которую он спас?

— Дядя Ван, — сказал я, — сегодня мы обмываем мой диплом. Как вы смотрите на это дело?

— Диплом? — дядя Ван грустно посмотрел на меня и взял женские часики со стола. Он сощурил и без того узкие глаза, его маленькая, почти детская, рука что-то быстро и легко прощупала в механизме и замерла, вздрагивая узкими пальцами. — Зачем я вам? Я буду только мешать. Нет, Сережа, ты без меня в этот раз.

Я больше не настаивал. Я слишком хорошо знал дядю Вана, а когда человека знаешь хорошо, ему можно верить с первого слова.

— Ты когда уезжаешь?

— Завтра. Ночью. В двенадцать тридцать.

— Я тебя провожу.

— Спасибо, дядя Ван.

— Не сердись на меня, Сережа.

— Ничуть.

Я был дурак с этим приглашением.

Теперь на пляж. У меня в запасе еще около двух часов. Для вчерашнего дипломника это прямо-таки шикарно — два часа свободного времени. Но мне немного грустно оттого, что я оказался таким кретином перед дядей Ваном. Я совершенно не подумал о том, что ему будет тяжело смотреть на всех нас, Колькиных друзей, а нам бы непременно стало не по себе от этой его тяжести.

А навстречу идут люди. Масса людей, каждый со своим миром, в котором нет места для меня и моего диплома. Впрочем, кто-то из них вполне может стать моим другом или врагом, или тем и другим сразу. Последние — самая неприятная штука. Я всегда теряюсь перед такими людьми. С врагами все понятно, с друзьями — тоже, а вот что делать с этими полудрузьями, полуврагами — ума не приложу. Да и никто, наверное, не приложит, кроме них самих. Был у меня один такой подарочек. Теперь диву даюсь, как это мы сумели разойтись с ним благополучно.

Интересно, что теперь поделявает Маша-растеряша с трамвая? Хотя, ее зовут Галя, и она теперь наверняка спит, и ни сном ни духом не ведает о том, что через десять минут я буду купаться и загорать на песке. Ну и ладно.

И вот мы сидим за столиком. Мы уже немного выпили, но еще слишком мало для того, чтобы начать шептаться с соседом и тайком поглядывать на танцующие пары. Нет, мы пока что сосредоточенны и

напыщены, как гости при дворе английской королевы, и все еще пока помнят, зачем собрались здесь. Вот только разве Верка... Ей уже не терпится, и она с каждой минутой хорошеет от своих тайных мыслей. Но Верке не повезло, она сидит рядом с Левой Ключевым, а тому плевать на все ее тайные мысли. Лева остается в аспирантуре и уже видит себя на вдохновенном пути ученого. Интересно, что он собирается откровенно? Дверь в кабинет декана?

Валька мрачен, как всегда. Этот способен испортить любую компанию. Только бы он не заговорил о буддизме и статуях с острова Пасхи. Но, минуточку, Лева хочет говорить.

— Что скрывать, — начинает Лева, и это начало мне кажется странным. Он высоко поднимает рюмку и говорит, кажется, только для рюмки. На его лице одухотворенность ученого дурака и слабая улыбка хорошего парня. — Все мы пойдем разными путями. У каждого из нас своя дорога, и так должно быть в жизни. Сережа уезжает в далекий леспромхоз, чтобы на практике...

— Короче, — отрывисто говорит Рафик Зинатулин и ставит свою рюмку на стол.

— Давайте пожелаем ему, — послушно закругляет тост Лева, — успешно начать работу и большого личного счастья.

— Я пью за твое счастье, Сережа! — Лина смотрит на меня так, словно бы она видит это счастье у меня за плечами.

— Можно и за счастье, — отвечаю я, — и даже обязательно за счастье... трудовых буден. И еще за ученых, которые делают сказку былью.

Лева подозрительно косится на меня.

В принципе я недолюбливаю рестораны. А может быть, я просто не бывал в настоящих. Мне почему-то все время кажется, что где-то есть очень уютные рестораны, в которых музыка не заходится истощенными воплями, и солисты не корчат из себя непризнанных звезд, а тихо и хорошо поют только для тебя одного. Мечты!

— Почему ты без девушки? — Склоняется ко мне Лина, и ее маленькая теплая ладонь ложится на мою руку. Она с тревожной болью смотрит на меня, совершенно забыв, что мне эти ее приемчики изрядно надоели. Перехватываю быстрый взгляд Рафика.

— Ты его сделаешь окончательно психом, — шепчу я Лине.

— Кого?

— Рафика.

— Так ему и надо. — Лина моментально поджимает тонкие губы и становится похожей на сварливую тещу. — Пусть попсикует.

А в самом деле, почему я без девушки? Как-то бездарно получилось. Ну почему было не пригласить Галю? Она бы пошла. Она, по моему, из тех людей, которые в любом деле в числе первой десятки... Ага, Верка тащит Леву из-за стола. Не выдержала. Ну, а я подсаживаюсь к Валику.

— Как дела, старина?

— Послушай, как ты думаешь, почему Ван Гог сошел с ума?

— А почему, Валя, построили Эйфелеву башню, как ты думаешь?

— Я хочу знать, почему одни художники ударяются в мистику, другие хотят уверовать в сказку, третьи ищут у первобытных народов чистоту, утраченную цивилизованным миром. Почему цивилизация больше разрушает в человеке, чем создает?

Валек пристально смотрит сквозь меня, глубокая бороздка пролегла между лохматыми рыжими бровями. Сейчас он красив, этот чокнутый художник, мой друг Валек, и я бы хотел посоветовать девушкам искать вот таких ребят.

— Подыскал же ты тему для разговора в ресторане.

— Мы постепенно теряем связь с природой, Сережа, вот в чем трагедия прогресса. Мы теряем то, чему обязаны жизнью, с чем связаны пуповиной.

— Какого черта ты сидишь в своем подвале и вздыхаешь о природе? Мотай в деревню, устройся на работу сторожем, вот и прицепишься своей пуповиной к земле.

— Ты дурак, Сережка. Извини. — Валеку грустно смотрит на меня. — В моем подвале, может быть, больше природы, чем в той деревне, куда ты собираешься завтра ехать.

— Как это? — не понял я. Но тут подскочила Лина и через минуту я старательно утюжил деревянный паркет моими лакировками сорок третьего размера.

— Между прочим, Сережа, Ольгу ты бы тоже мог пригласить, — Линка с любопытством смотрит на меня, но я весело улыбаюсь.

— А зачем?

— Ей было бы приятно.

— А мне — нет. Линка, не лезь ты, ради бога, ко мне за пазуху. Ну зачем тебе это?

— Я думала...

— Ну и думай себе на здоровье. А я тут при чем?

Мне уже надоело в ресторане и хочется на улицу. Через двадцать минут заканчивается фильм, и я думаю о том, как бы половчее улизнуть. Теперь им всем не до меня. Рафик насупился и следит за каждым Линкиным движением. Верка скромно потупила глаза, слушает и согласно кивает Левочке, а Валеку потихоньку надувается пивом. Сейчас мне уже нечего делать с ними. Странно получается, нам даже не о чем толком поговорить..

Мне страшно нравятся ночные города. Это когда в окнах свет и на шторах чьи-то тени. Холодно чернеет асфальт, и мягко шуршат колеса редких машин, и проходят пустые автобусы с усталой кондукторшей на переднем сиденье. Пустынно на улице, и вдруг распахиваются двери кинотеатра, вспыхивают торопливые огоньки спичек, тянет папиросным дымом, слышны возбужденные голоса. А вот уже кто-то освободился от минорного фильма, громко смеется, а вот кто-то потерялся и с тревожной вопросительностью негромко кричит: «Ваня!» — и Ваня тут же откликается, и они уходят.

Я стою у телефонной будки. Все люди проходят мимо меня, и мне почему-то становится грустно. В самом деле, почему не удался этот вечер, к которому я так долго готовился? Почему мне хочется выть от тоски, от какой-то потерянной одиночности? Что-то я себя таким не помню. В чем дело, ведь ничего не случилось, или это именно потому, что ничего не случилось? Наверное, надо было поспорить с Валиком об искусстве Древнего Египта.

— Добрый вечер.

— Ага, это вы? Еле дождался.

— Как ваша нога?

— Говори мне ты. Нога чувствует себя на пять. Как фильм?

— Ничего. Жаль, что не посмотрел.

Я беру ее за руку, и мы двигаемся в поредевшей толпе кинолюбителей, и я впервые с удивлением думаю о том, зачем мне эта Красная Шапочка.

— Послушай, а где твой парень?

— Какой? — она даже не удивилась моему вопросу.

— Ну тот, что был до меня.

— В армии.

— А ты помнишь, какие у него были уши?

— Что-о?..

— Уши, говорю, какие у него были, ты помнишь?

Я чувствую, как мгновенная неприязнь ко мне захватывает эту девушку. Локоток ее напрягается и легонько отстраняется от моей руки. Я уже твердо знаю, что поцелуев сегодня не будет и вообще ничего больше у нас с нею не будет. В несколько секунд мы потеряли друг друга навсегда. Черт, как мало для этого надо.

— Куда мы идем?

— Куда хочешь.

— Мне надо домой.

— Ну, так пошли домой. — Мне становится неуютно от ее отчужденности, и я почти ненавижу эту девицу, у которой парень ушел в армию.

— Можешь меня не провожать.

— Вот как.

— Спасибо за билет. — Она поворачивается и с презрительной насмешкой смотрит на меня. — За мной не ходи, а то и вторую ногу подвернешь.

И пошла она по тротуару, маленькая, с носиком-пуговкой, и даже в фигуре ее, в походке было бесконечное презрение ко мне. За что, спрашивается?

Медленно тащусь домой. Ну кто бы мог подумать, что сегодняшний день так плохо закончится для меня. Впрочем, все это, может быть, и к лучшему. Впереди у меня новая жизнь, и попробуем-ка устроить ее как-нибудь попутевей.

Окончание следует



Сергей МЕЩЕРСКИЙ

Призвание Валентина Горяинова

ОЧЕРК

Отец вернулся с войны в 1942-ом.

Всего два года было тогда Валентину, и уже потом, когда подрос, рассказывали ему об этом времени: отпустили агронома Константинова Константиновича Горяинова, потому что стране нужен был хлеб. Назначение получил он в Анучинский район Приморского края, в совхоз, который нынче называется «Жемчужный». В райкоме партии молодого агронома предупредили:

— Специалисты там плохо уживаются с директором. Не лезьте на рожон... А урожайность надо поднимать — стране нужен хлеб.

— Рисом я занимался до войны...

— Рис — тот же хлеб. И там он растет. Езжайте. Увидите.

Приехал, посмотрел на незалитые водой, выгорающие на жарком августовском солнце тощие стебельки растений, прикинул — только бы семена собрать! По четыре-пять центнеров с гектара — больше эти чеки не обещали.

Урожай такой по тем временам для Приморья был не новостью — нормой. Большинство специалистов и ученых в рис тогда не верили. И вот Константин Константинович решил в своем совхозе рис выращивать. Жене написал, чтобы ехала сюда с детьми (их было уже трое у Горяиновых). Сам выехал встречать Ефросинью Антоновну на лошади с телегой, но не доехал до станции, застрял в несусветной грязи. Бросил телегу и пешком пошел за женой.

Ефросинья Антоновна стала работать агрономом сортоучастка, тоже начала заниматься рисом. Ну, а поскольку детского сада в селе Гражданке в то время не было, сыновья Горяиновых круглый день были при отце или при матери. А значит, при рисе. Пожалуй, не влюбленность, а какое-то священное отношение к рису было в этой семье. Верил агроном, что рис приживется в «Жемчужном» и еще порадуется урожаем. Землю под сев велел женщинам-трактористкам готовить с особой тщательностью, сам проверял пахоту, культивацию.

А директор между тем проверял агронома и, когда узнал, что сев еще не начали, лично примчался на поле.

— Отставить пахоту! Сеять пора. Хватит вам тут возиться.

— Так агроном не велит... — оправдывались трактористки.

— Приказываю!

Агроном подъехал на лошади, директор накинул и на него:

— Что это такое, по три следа культивировать? Тебе плана не надо? Тебе на райком наплевать? Топчешься на одном месте. Под суд захотел?

Горяинов побледнел, сказал женщинам:

— Вы работайте, пожалуйста. Идите.

И, когда разошлись трактористки, твердо заявил:

— Меня отозвали с фронта, чтобы был хлеб. О нем я сейчас забочусь...

Горячий был человек — Константин Константинович, но и директор был крут, своен волен; в тот же день он издал приказ о выговоре главному агроному. Горяинов решил уехать во Владивосток, жене сказал, что вернется за нею и за детьми. Пешком по весенней распутице ушел на станцию. Там и настиг его директор.

— Не уезжай, Константинович!.. Может, и не прав я был, но ты пойми: с меня райком посевную спрашивает. Что мне отвечать, если другие уже отсеются?

— Отрапортовать сейчас первыми, а осенью снова одни семена собрать? Я не капризничаю — для дела стараюсь, — сказал агроном.

— Потому и приехал за тобой.

В тот военный год все-таки удалось Горяинову получить рис; центнеров по 25 с гектара собрали, и даже переходящее Красное знамя дали хозяйству. Такой урожай тогда был в диковинку. Да и рисовых площадей в Приморье было мало: у Горяинова в хозяйстве восемьсот гектаров, а всего в крае — две с половиной тысячи. Но уже в те годы не только отец и мать, но и их дети прочно связали с рисом свою жизнь; трое из младших Горяиновых станут потом агрономами по рису.

...Для Валентина сначала это было увлекательной игрой — расставлять колышки на грядках сортоучастка, выдергивать сорняки; когда он подрос, стал помогать во время каникул поливальщикам, механизаторам на жатве. Рис поражал воображение мальчишки своей загадочной прихотливостью, любовью к воде, веселыми метелками, полными жемчужных зерен. Во время жатвы человек невольно для себя заражается общим волнением, надеждами. Каждую осень Валентин работал на чеках или на зерновом дворе. А после окончания средней школы решил поступить в сельхозинститут, рассчитывая на специализацию по рису. Отца, к тому времени уже директора совхоза «Жемчужный», поставил перед фактом.

— Ни отговаривать, ни убеждать тебя я не буду, — сказал Константин Константинович. — Сам знаешь, как да почему рис растет, сколько с ним возиться приходится.

— Мне не нужно, чтобы ты меня отговаривал или убеждал. Мне твоё мнение важно, отец.

— Думаю, ты догадываешься о нём.

Директор открыл старенькую полевую сумку, нашел какую-то бумагу, прочел вслух: «Сейчас в Приморье под рисом — 12 тысяч гектаров, возделывают рис в трех совхозах».

— Как видишь, Валя, для рисовика работы у нас не густо, — прокомментировал документ Константин Константинович. — За рис еще воевать надо.

— И ты воюешь? — пылко спросил сын.

— Воюю. И на земле и на трибуне, — улынулся Горяинов-старший. — Имей в виду, у риса здесь много противников. Считают, что в Приморье не тот климат, что экономически не выгодно возиться с рисом. Трудоемкая культура, а людей у нас мало. А я убежден, если производство риса поставить на инженерную основу и если строить современные системы, то рис для нас будет самой выгодной культурой. Но пока это только разговоры. Боюсь, что и к твоему выпуску перспектив в рисоводстве еще не появится. Так что решай сам.

— Я уже все решил, отец.

Константин Константинович оказался прав: к 1964 году, ко времени окончания Валентином Приморского сельхозинститута, «рисовая ситуация» в крае существенно не изменилась. Количество рисосеющих хозяйств оставалось то же, урожаи редко превышали 25 центнеров с гектара. «Возились» с рисом каждый год: заканчивался к весне обмолот — и начинался сев. Младшему Горяинову предложили должность агронома в зерновых и совхозных хозяйствах — он пошел в совхоз к отцу бригадиром. Помнился ему тот давний разговор, и не страшила перспектива воевать за приморский рис.

А Горяинов-старший послал сына бригадиром в самое отстающее тогда, второе отделение совхоза, в село Лугохутор —

проявляй себя, «вытягивай» коллектив! Скучно там? Ты же баянист и спортсмен, первое место по бегу в Краснодаре взял среди студентов — вот и бегай! Управляющий самодур? Повоюй с ним. Учись постоять за себя и за свое дело.

...Как-то вечером бригадир Горяинов приехал к родителям, почерневший на яростном весеннем солнце, осунувшийся, злой. Жестко сказал отцу:

— Я к тебе как к директору.

— Тогда прошу завтра в кабинет.

— Давай без шуток, отец. Посевная!

— Ладно, — смягчился Константинович, — выкладывай, что там у тебя.

— Решили мы в бригаде сев начать, перевезли через речку бороны, севалки. Только подготовку закончили — приехал управляющий, приказал всю технику вернуть обратно на стан. Вернули. Я такое дело увидел и снова распорядился технику перевозить. Вот ставлю тебя в известность, что приказ непосредственного своего начальника нарушил...

— Конфликт, значит? — поднял брови Константин Константинович. — Не побоялся управляющего? Не побоялся людей туда-сюда гонять?

— Нельзя тянуть больше. Я не о страхе — о рисе, думал, отец.

— Мы тоже начинаем завтра сеять. Ты прав, Валя. С управляющим я поговорю сам. Садись чай пить.

Через час Валентин уехал на свой Лугохутор. Константин Константинович сказал жене:

— Ты помнишь, как я схватился с нашим прежним директором? Тоже ведь по весне было. У нас тогда девчонки трактористками работали. Мы тоже технику за реку переправили, начинать сев думали. Я на лошади гарцую. А тут директор. Орет на меня, заворачивает трактора обратно. Я не сдержался, наговорил ему черт знает чего... Интересно, как Валя сегодня себя вел?

— Хочешь сказать, что он в тебя пошел? — проворчала Ефросинья Антонова. — Вспыльчивость твою он, к счастью, не унаследовал. Думаю, что ничего обидного управляющему не сказал.

Мать оказалась права: настоять на своем Валентин сумел без острых выражений, интеллигентно.

Отделение стараниями коллектива заметно выправлялось, через год оно стало лучшим в совхозе «Жемчужный». Валентин большое внимание уделял агротехнике возделывания риса, подбору людей в звеньях.

Сам он, имея права механизатора и шофера, превосходно разбирался не только в агрономии, но и в технике. За два года работы в «Жемчужном» внимательно рассмотрел к тому, как ведет дело отец и почему в совхозе столь высок авторитет директора. На первое место он ставил широкие познания отца в рисоводстве, его компетентность и умение подойти к людям. Но это было еще не все: в совхозе хорошо себя чувствовали специалисты, на них

никто не «давил», хотя и спрашивали строго. Был здесь простор и для инициативы общественных организаций, умел директор увлечь людей.

— Рис — это невеста! — любил говорить Горяинов-старший. — Относиться к нему мы должны с нежностью. И подкормить вовремя, и напоить.

Валентин видел отца и со стороны — глазами агронома-бригадира, и вблизи — глазами сына. А Константин Константинович, в свою очередь, видя в сыне продолжателя дела его жизни, щедро делился с Валентином своим опытом и знаниями. При встречах он не стеснялся теперь говорить о самом сокровенном. Сын должен знать, как пробивал дорогу приморский рис и какие бушевали страсти вокруг его агротехники.

Однажды, порывшись в старых бумагах, он извлек копию телеграммы видного ученого, академика. В ней сообщалось, что директор совхоза Горяинов совершает преступление, начав сев риса на трехстах гектарах 2 мая — в безумно ранние сроки. Погубит семена и землю. Предлагалось директору наказать за авантюризм.

— Тоже был конфликт? — весело откликнулся сын.

— Еще какой! Представляешь, академик жалуется.

— И как ты поступил?

— Взял на свою ответственность эти гектары. Попросил в райкоме спор наш отложить до урожая. Я уже проводил опыты с ранними сроками сева, и был уверен в успехе. Собрали мы тогда с этих трехсот гектаров по 35 центнеров. Споров больше не было. Тебе об этом рассказываю для того, чтобы умел настоять на своем и не страшился ответственности. Расстаться нам скоро придется, Валя. Есть приказ о твоём переводе в совхоз «Астраханский». Тоже агрономом отделения, где выращивают рис.

Не хотелось, конечно, Константину Константиновичу отпускать сына, но в то же время он понимал, что Валентину необходим простор, самостоятельность; в совхозе, куда его переводили, намечались тогда, в 1966 году, значительные перемены. Началось строительство первых рисовых систем, и уже существовал проект создания во Владимиро-Петровке специализированного рисового совхоза.

Горяинов-старший был одним из страстных сторонников обширной программы рисоводства в Приморье. Сначала он доказал урожаями возможность производства риса, совхоз «Жемчужный» стал высокопродуктивным хозяйством, получающим стабильные урожаи риса. Затем Константин Константинович включился в дебаты ученых и специалистов о том, как и где развиваться рисовому хозяйству, доказывал необходимость не только строительства инженерных рисовых систем, но и обязательность параллельного строительства новых сел, агрогородков. С рисом должна прийти другая жизнь в старые приханкайские се-

ла. И в сыне он находил одного из первых своих единомышленников.

Съездив в совхоз «Астраханский» к новому месту службы, познакомившись с рисовыми полями на отделении, Валентин пришел в ужас.. Он с горечью говорил отцу:

— Ты о замечательных перспективах, о последнем слове техники рассказывал. А там сейчас такой примитив, такие поля, что и риса в сорняках не видно.

— Догадываюсь, — нахмурился отец. — А ты, что — испугался? Но вся суть в том, что тебе придется с нулевой отметки начинать, как мне здесь. Мечты — они же через твой труд должны прийти. Понимаешь, через твою жизнь.

В конце пятидесятых годов в составе группы специалистов Горяинов-старший побывал на другом берегу озера Ханка и видел, как выращивают рис в соседней стране. Урожаи те же, что и у нас, по 25 центнеров с гектара, но работали там на этом гектаре 450 человек, агротехника не изменялась столетиями, и жизнь возле щедрого рисового чека была нищенская. Советские люди старались помочь соседям техникой, но теперь эта помощь клеветнически извращена. А бассейн Ханки, по мнению Константина Константиновича, так же, как и поймы рек Арсеньевки, Усури, может стать удобным плацдармом для развития рисосейяния на инженерном уровне. За несколько лет, считал Горяинов, мы в состоянии произвести переворот в рисоводстве.

Беседуя десять лет назад с сыном на эти темы, Горяинов-старший еще не знал, что вскоре большая «рисовая программа», поддержанная ЦК КПСС, круто изменит и его жизнь, что ответственность за судьбы приморского риса ляжет на его плечи, он станет директором вновь созданного треста рисовых совхозов, будет воплощать в жизнь мечты, казавшиеся столь недавно ему самому ошеломляюще дерзкими.

Но все это произошло позднее. А пока что двадцатичетырехлетний Валентин Горяинов с молодой женой Галей переехал в тихое приханкайское село Владимиро-Петровку. И первое, над чем предстояло ему поломать голову, это как побыстрее убрать урожай с кустарных рисовых чеков старой астраханской системы.

Отец остался в Анучинском районе, в «Жемчужном», и посоветоваться Валентину было не с кем. Директор совхоза «Астраханский» — Яков Михайлович Сгурский — риса не знал и к молоденькому агроному испытывал недоверие. Вывел Горяинов комбайны на уборку, хотел уже дать команду, чтобы начинали, а тут подъехал Сгурский.

— Торопишься, агроном. Рано.

— Не рано, Яков Михайлович. Самое время. — Показал Валентин директору метелку, рисовые зерна. — Упускаем лучшее время.

— Уборку отставить. Все! — властно

распорядился директор. Повернулся и отбыл. А на агронома с усмешкой смотрели механизаторы: что, парень, «отшлепали» тебя, как мальчишку?

Валентин спокойно посмотрел на комбайнеров и сказал:

— Комбайны оставить на месте. Ждите меня здесь.

Теперь надо было решить, что делать. Сгурский — в тонкости созревания риса и физиологию созревания растений вдаваться не будет, он дал команду и спорить с ним бесполезно. Значит, нужен авторитетный арбитр. И Горяинов помчался в соседний совхоз, нашел главного агронома Суркова, уприсил его приехать во Владимиро-Петровку. Сурков на консультацию приехал, посмотрел рис и согласился с Валентином: уборку начинать нужно.

— Теперь в Астрахановку поехали, Александр Александрович. Вы то же самое Сгурскому повторите.

Яков Михайлович выслушал Суркова, внимательно посмотрел на своего агронома, улыбнулся:

— А ты, Горяинов, оказывается, настырный. В отца пошел. Ладно, я вмешиваться в агрономию не буду. Но за урожай спрошу.

— От ответственности не отказываюсь, беру на себя, — просто согласился Валентин.

Это были смелые слова. Во Владимиро-Петровке работали люди с рисом неумело да и не верили в урожай, и в него, агронома, еще не верили. Бригадир рисоводов откровенно сказал в лицо: «Пацана прислали надо мною командовать! Зелен еще! А если ты такой прыткий, сядь на комбайн да покажи как надо».

Переглядывались, посмеивались механизаторы, глядя на них. Занятно, как «старшой» обламывает новенького. Да только «новенький» не краснеет, выслушал бригадирский монолог, молча подошел к комбайну, включил двигатель и прошел карту от валика до валика, красиво развернувшись в конце.

— Хотелось, чтобы косили так. Если лучше сможете, возражений не будет.

Бригадир шел следом, на ходу, чуточку трусая, говорил:

— А ты можешь, Константинович. Хорошо наших халтурщиков уел.

— Но вы, к сожалению, не можете руководить бригадой, — сухо отрезал Горяинов. — Люди у вас не знают, что им делать, часами нарядов ждут, контроля за качеством с вашей стороны никакого...

Не привык бригадир, чтобы вот так резко кололи прямо в глаза, и оправданий не находилось, возразить было нечего.

— Буду ставить вопрос о снятии вас с работы, — предупредил агроном.

— Но это мы еще посмотрим, кто кого. Я — местный, тутощный, а ты, агроном, залетная птица. Сегодня здесь — завтра там...

— Ошибаетесь! Я теперь тоже «тутощный», и улетать не собираюсь. А с вами,

повторяю, не сработаемся. Вы риса не знаете и людей расколаживаете.

Бригадир начал строчить жалобы на самоуправство агронома, не поддержал агронома и Сгурский — до райкома партии дело дошло.

Авторитет агронома после стычки с «тутощным» бригадиром повысился. Люди начали понимать, что серьезно взялся за рисовую бригаду молодой Константиныч, щеголяющий в спортивных свитерах. И еще нравились в нем смелость решений, то, как горячо брался он за дело и вел его до конца. Не побоялся, например, агроном пойти на ранние сроки сева (хорошо помнил рассказ отца), первым в районе задал тон. Злые языки тогда шумели — авантюризм это. А Валентин показал посе́вы с глубокой заделкой семян, пригласил «на всходы» пожаловать. И всходы, действительно, радовали, обнадеживали. То был второй год его работы на Ханке, 1967-ой, до него приморские рисоводы не были еще знакомы со страшным врагом риса — минером.

По технологии полагалось на два-три дня залить всходы «с головой», поливальщики это и сделали, все казалось нормальным. Но когда сбросили с чеков воду, жуткое зрелище предстало перед глазами. Вместо чистых, изумрудных ростков — одна черная земля. Валентин обегал карту за картой — везде, где был вторичный полив, — видел обглоданные пенечки риса. На 270 гектарах из 500!

Потрясенный, он рассматривал стебли с маленькими личинками. Только из литературы знал он про эту зловредную мушку, прозванную минером, — раньше не было его в Приморье, и ему первому выпало жестокое испытание сразиться с ним. Да только как сразаться? Теория не давала ответа. Приехали специалисты из края, и тоже ничем не могли помочь. Валентин осунулся, потемнел, не хотелось людям в глаза смотреть — ведь такие всходы были дружные! Такие надежды были на первый свой рис!

Ко всему прочему в тот год началась реорганизация отделения в совхоз. Несколько месяцев Валентин был исполняющим обязанности директора, почти не оставалось у него времени на агрономические изыскания, да и ответственность теперь уже вся была на нем. И, когда подыехал наконец новый директор — Андрей Максимович Самохатко, Валентин вздохнул с облегчением. Можно отдать все силы рису! Подумать над урожаем на чеках, нетронутых минером; поискать способы борьбы с ним на будущее. Учиться самому и учить людей — поливальщиков, механизаторов.

Через год минер обнаружился у соседей в совхозе «Мельгуновский». Приехали оттуда специалисты, и Валентин уже мог объяснить им с полным знанием дела, что минер появляется только на перезалитых чеках; у них нынче его нет, и урожай ожидается приличный, не меньше 32 центнеров

с гектара. Как бороться с минером? Лучше всего сразу сбросить воду.

— Но самое интересное, — говорил Горяинов соседям — что дней через двадцать рис «отходит». Урожай будет поменьше, но впадать в панику не рекомендую. Эксперимент ныне мы поставили с этим проклятым минером. Идемте, покажу.

И он показал небольшие опытные участки; и чеки с нормальным, «неминированным» рисом, показал и новинку, которую первыми применили у себя владимиропетровцы — совмещение нескольких операций на подготовке земли к севу. Неудача 1967 года не только не подорвала веру Горяинова в возможности рисосеяния, она скорее подхлестнула его, заставила мобилизовать все силы. Поэтому, наверное, и стал следующий год решающим для совхоза годом — люди поверили в рис. Небывалый для тех мест урожай в 32,8 центнера с гектара взяли тогда. Такие урожаи только в «Жемчужном» да в Новосельском знали. Сolidные премии получили рисоводы, грамоты, благодарности.

Но, пожалуй, не только это порадовало в тот год Валентина Горяинова. Была утверждена широкая программа мелиорации и строительства новых рисосовхозов в Приморском крае; те захватывающие перспективы, о которых когда-то говорил Валентину отец, начинали воплощаться в жизнь. Сразу же после пленума ЦК на приханкайские земли пришли мелиораторы. Первые полевые их станы раскинулись возле Мельгуновки и возле Владимиро-Петровки. И ханкайцы повторяли новые для них слова: «Морозо-Мельгуновская оросительная система, Владимиро-Петровская...»

В тресте Валентин ознакомился с генеральными планами застройки сел — это были те самые агрогородки, о которых мечтал отец. Жизнь шла стремительно и бурно, опережая самые смелые представления, и совхоз, в котором Валентин Горяинов стал теперь главным агрономом, находился на ее гребне. Совхоз вместе со страной вступал в девятую пятилетку.

Теперь они работали бок о бок — рисовики и мелиораторы. Возводилась неподалеку первая в ряду крупных насосных станций — Астраханская, и эта стройка поражала воображение будущей своей мощью. Но рису вода нужна не только в будущем — нужна сегодня. А с водой в совхозе было плохо, высыхали четыреста гектаров посевов, и, казалось, неоткуда ждать желанную влагу.

Валентину в голову пришла тогда смелая идея: а что, если взять воду из Золотого озера?

— А как вы ее возьмете? — удивился директор Самохатко, когда агроном изложил ему свой план.

— Заключим договор с мелиораторами, прокопаем канал — озеро не за тысячу километров от нас — рядом. Потом поставим насос, и начнем качать воду на чеки. Не так уж сложно.

— Но и не так просто, — возразил ди-

ректор. — А мелиораторы? И как трест на это посмотрит? Попробуйте, Валентин Константинович, сами поговорить.

Поехал договариваться сам и в трест, и в главк, привез расчеты. Сумел-таки убедить специалистов, выхлопотать насос. А когда начались работы на канале — Валентин глаз не смыкал. Четыреста гектаров были напоены водой из Золотого озера. Озеро для владимиропетровцев стало действительно золотым.

В перспективе Владимиро-Петровка должна располагать великолепным механизированным рисовым током. Ну, а пока даже плохонькой сушилки в совхозе не было. И семена приходилось закупать в других хозяйствах. Константин Константинович (к тому времени уже директор треста рисовых совхозов) как-то раз едко сказал сыну:

— У вас дорогой рис. Вас «обдирают» другие совхозы, потому что вы не имеете своей сушилки! Считать надо больше, Валя! Считать и думать! Агроному нельзя без экономики.

Главный агроном молча проглотил пилюлю. Через несколько дней он позвонил во Владивосток:

— Отец, нынче хочу свои семена подработать сам. Закупать не буду.

— Как же ты это сделаешь?

— У нас есть барабанная сушилка. Попробуем приспособить ее для риса.

— Старо, Валя! — глухо отозвался отец. — В «Жемчужном» пробовали — не вышло. Ты пока проведи опыт.

Горяинов-младший на несколько дней ушел на сушилку. Договорился со стариком-сушильщиком об экспериментах, провел серию опытов и доказал, что на барабанной сушилке можно сушить семенной рис. Теперь этот опыт распространен и в других совхозах треста. Все будет со временем в совхозе, где работает Валентин, но не ждать же этого, сложив руки?! Рис нужен стране сегодня, сейчас, наш, дальневосточный, рис.

К началу семидесятых годов вокруг Владимиро-Петровки да и в ней самой кипела стройка; огромные экскаваторы выкапывали магистральные каналы, мощные скреперы утюжили рисовые карты, средневековым замком вставала коробка насосной, в некогда тихом селе закладывались фундаменты первых зданий агрогородка. А в самом совхозе будто и не чувствовалось стремительного движения времени, современных его ритмов. По старинке затягивался традиционный утренний наряд, директор лично давал задания не только бригадирам, но и механизаторам, шоферам. Распоряжения специалистов, в том числе и главного агронома, он мог спокойно отменить, при людях оборвать руководителя: «Слушай, что я говорю!» Это расхолаживало специалистов.

Валентин старался объективно смотреть на деятельность директора. Он фронтовик,

геройски воевал, потом много лет возглавлял колхоз и сумел поднять его. Не был обойден Андрей Максимович и уважением и славой. Вместе с его отцом, Константином Константиновичем Горяиновым, был делегатом XXII съезда КПСС. Агроном ценил принципиальность и кристальную честность Самохатко, понимал, что только из лучших побуждений, в интересах дела тот работает и за инженера, и за зоотехника, иногда и за него пытается что-то решить. Но при таком руководителе совхозу все-таки трудно сделать шаг вперед, а людям невозможно раскрыться полностью. И как-то во время поездки во Владимиросток Валентин сказал отцу:

— Знаешь, я, наверное, из совхоза уйду. При всем уважении к Андрею Максимовичу, я не могу согласиться с его методами руководства. Мы ведь работаем в современном специализированном хозяйстве.

— Я знаю, где вы работаете, — перебил его Горяинов-старший, — и тебя, и Андрея Максимовича знаю. Ему тяжело измениться сразу. А ты не горячись, не спеши сбегать. Когда-то и уступи старику. У него авторитет. Попробуйся, Валя, лучшее взять от Самохатко. Ты должен быть его продолжателем. Но при этом не потерять свою линию.

— Допустим, я и не теряю. Другие теряют. Инициатива у людей глушится. Больно видеть это.

— Ладно. Я к вам на днях приеду, — закончил разговор отец.

Он приехал, целый день ходил с Самохатко, а на утро провел у него пробный наряд: спросил рабочие планы на неделю у агронома, гидротехника, зоотехника, экономиста, внес свои коррективы в эти планы, уточнил задания по бригадам и звеньям. Когда остались они вдвоем с Самохатко, Горяинов-старший сказал ему:

— Попробуй, Андрей Максимович, так наряды проводить. Пусть специалисты у тебя больше командуют. А тебе не опеку, а контроль за ними остается осуществлять.

— А как не выполняют — с кого спрос? С меня!

— Да ты пойми: сейчас не то время, чтобы дублировать работу гидротехника, например. Или инженера. Они больше тебя знают, ромбики у всех, им виднее, куда посылать людей.

— У меня, Константинович, каждый человек — на виду! Я знаю, чем в данный момент доярка занимается, птичница, кузнец. А птицефабрика, смотри, сколько доходу давать стала! Я просто своевольничать не позволяю!

— А может, людям, как раз и надо посвоевольничать! — задумчиво заметил старший Горяинов. — Чтобы проявили, показали себя!

— Скажешь тоже? Вон, в колхозе «Приморье» посвоевольничали — теперь убытки считают. А при мне прибыля были. Я тоже экономику считать умею.

— Не о том речь!

— Ну а если о том, так я тебе так скажу. Если я когда за Валентина твоего брал работу, так потому, что жалел его. Целые дни он на рисе, овощами ему заниматься некогда. Вижу — закрутился парень...

— Да не надо его жалеть! Пусть сам свое дело тянет.

Мудрый Самохатко больше не вмешивался в агрономические проблемы, увидев в молодом Горяинове хорошего помощника, и мысленно прочил его на свое место — директором.

Горяинов спокойно работал с поливальщиками, механизаторами. Решили в совхозе применить широкозахватные агрегаты и агрегаты спаренные — с одним трактором. Рационализаторы придумали более быстрый способ загрузки самолетов, которые использовались на посевной, — вместо пяти минут загрузка продолжалась теперь сорок секунд. Решительно добивался Валентин повышения культуры агротехники, сам вел зимой занятия с рисоводами, летом целые дни пропадал на полях.

Однажды Андрей Максимович поехал в трест: Горяинов-старший усадил старого товарища рядом, расспросил о делах, потом сказал:

— У коммунистов, Максимович, пенсионного возраста не бывает, я считаю. Руководству прямо говорю: увидите, что начинаю путаться — снимайте. Не обижусь. Смогу рядовым агрономом пользу принести. У меня больше 45 лет производственного стажа.

— И у меня, Константинович: крестьянство, война, колхоз. Сейчас чувствую, устал. Вот и пенсионная книжка уже пришла на «персональную», приехал проситься, чтоб отпустили.

— Может, останешься в Петровке? Коммунисты, наверное, охотно тебя парторгом изберут.

Вместе они пошли к начальнику краевого управления сельского хозяйства.

— Может, поработаете еще, Андрей Максимович?

Самохатко покачал головой.

По возвращении во Владимиро-Петровку Андрей Максимович вызвал главного агронома. Напрямую сказал ему:

— Поедете в край разговаривать. Утром вам там надо быть, Валентин Константинович. Я вас рекомендовал вместо себя.

10 февраля 1974 года состоялись торжественные проводы на пенсию Андрея Максимовича Самохатко; потом он сдал дела новому директору — Горяинову.

А утром следующего дня Валентин снова увидел Андрея Максимовича: в гараже бывший директор... давал наряды. И также было на следующий день; Валентин Константинович тактично ушел, распоряжения Самохатко не отменял.

На третий день Самохатко к утреннему наряду не вышел.

Валентин в этот день собрал совхозных специалистов и произнес, давно обдуманную речь:

— Товарищи! Хотели вы этого или нет, по факт свершился: отныне я директор нашего совхоза — прошу любить и жаловать. Кто желает со мной работать — прошу, кто не хочет — может подать заявление. Выслушаю и постараюсь понять каждого...

Не говорил, конечно, Горяинов, сколько у него самого было сомнений; как нелегко сам он дал согласие быть директором (первый секретарь райкома партии Сергей Владимирович Алтуфьев, настоял: «Это тебе, Валентин, путевка в жизнь! Делай молодежный, крепкий современный совхоз!»)

Заявлений новому директору никто не подал, но и дело в первые дни не шло — все ждали указаний. Подходит тракторист к директору: куда ехать? Бригадир фермы: как быть с кормами?..

Горяинов снова собрал специалистов:

— Отныне и навек директор не будет давать наряды трактористам и выписывать путевки шоферам. Берите, товарищи, власть в свои руки! Инженер, у вас машины, тракторы, запчасти, мастерские — распорядитесь, командуйте! Есть механики, бригадиры, звеньевые. Зоотехник. И у вас есть своя служба. Я ничего не собираюсь делать за вас, а вот спрошу за работу строго.

Но долго еще, по привычке продолжали обращаться к директору рабочие, кладовщики. Горяинов отсылал их к прямым начальникам — к бригадирам, к инженеру или зоотехнику, к своему заместителю по хозяйственным вопросам. В первое время шли слухи: молодой директор боится ответственности, ничего с ним нельзя решить.

Валентин начал борьбу с подхалимами, рвачами, расхитителями. Уволили из совхоза проворовавшихся главного зоотехника Барановского, зоотехника отделения. Но в то же время и союзники у Горяинова нашлись — экономист Валентина Рудько, гидротехник Владимир Сахно, избранный вскоре секретарем комсомольской организации.

Много единомышленников находил Валентин среди коммунистов совхоза — механизаторов, поливальщиков, шоферов. Курс на доверие и самостоятельность, неуклонно проводившийся Горяиновым, вызвал горячее одобрение у лучшего поливальщика и механизатора, делегата XXIV съезда КПСС Александра Ефимовича Сенькина. Тот на партийном собрании однажды заявил:

— Надо, чтобы мы сами думали, инициативу проявляли. Это ценить надо, товарищи! Таким и должен быть современный стиль руководства.

— Почему же тогда в совхозе не довольны этим стилем, товарищ Сенькин? — последовал вопрос из зала.

— Не довольны те, которым проявлять нечего! — находчиво ответил поливальщик, вызвав бурное оживление в зале.

С собрания они оба возвращались вместе — директор и поливальщик.

Шла весна 1974 года, потеплели ветры

с Ханки, последний снег сползал с черной тревожной земли. Не знали еще тогда оба они, что наступил год самых тяжелых испытаний для приморских рисоводов.

По долгу службы и по понятному интересу к делам сына Горяинов-старший часто бывал во Владимиро-Петровке. Он убеждался, что Валентин начал свое директорство правильно. Заметно меньше, чем у прежнего директора, было у него посетителей (раньше дверь в кабинет не закрывалась, по десять-пятнадцать человек набивалось, курили, беседовали), теперь приходили только по делу, которое мог решить лишь директор. Правда, как-то одна женщина много времени отняла у Валентина, на сына жаловалась. Директор старательно пытался вникнуть в конфликт. Когда дверь за посетительницей закрылась, старший Горяинов усмехнулся:

— Ну и терпение у тебя, Валентин Константинович!

— Надо, отец! Кроме меня, тут никто не разберется, и хороший человек может уйти.

— Все, Валя, верно. И хорошо, что ты такой дипломат. Но сев! Сев. А у тебя на полях уголки на планировке заделаны плохо.

— Уже смотрел поле? — покраснел Валентин.

— Не приснилось же мне это.

— Значит, не досмотрел. Моя вина.

Валентин набрал номер телефона и сказал:

— Горяинов говорит. Три дня меня в конторе не будет. «Сажусь» на посевную — буду на полях.

— Ты это кому доложился?

— Тресту и райкому партии. Поехали на поля, отец. Если правда с уголками так плохо, я сев останавливаю.

Вечером того же дня Константин Константинович уехал в другие совхозы, позвонил для интереса через день во Владимиро-Петровку — «директор на полях». Трое суток безвылазно провел молодой Горяинов на рисовых чеках, увидев неаккуратную планировку, он действительно остановил сев: и на трехстах гектарах механизаторы делали уголки. Рассказывая об этом случае дома жене, Горяинов-старший заметил:

— Видишь, и агрономом Валя остался, и директор из него вроде получается.

— А ты и рад, что его хвалят? — сказала Ефросинья Антоновна. — Директорству рад? Мне, например, Галю жалко: как я тебя почти все годы не видела, так и ей это предстоит. Тебя же в «Жемчужном» лунатиком звали, всеерьез спрашивали, спит ли когда-нибудь Константинович. И ты радуешься, что такую же судьбу сыну уготовил.

— Ну чего ты разошлась, — тихо возразил Константин Константинович. — Валя спит и ест нормально. Все у них хорошо. Пойми: время уже не то! Директора —

«лунатики» сейчас не нужны. Люди дела — да! Вот наладит он все у себя, и в шесть-семь вечера — контору на замок.

Еще и сейчас в Приморье помнят лето 1974 года — не проходящие, нудные летние дожди. Три месяца сплошных дождей.

Невероятно трудно было тогда обрабатывать посев. Даже влаголюбивый рис страдал от избытка воды, но главное, трудно было заехать на чеки, приходилось ловить короткие мгновения просветов в низком темном небе.

Директор совхоза Горяинов, посоветовавшись со специалистами, принял решение: несмотря на дожди, пусть механизаторы с полей не уходят. Ушел тракторист — найти его будет трудно. А если поставить вагончики, оборудовать их, то можно будет использовать каждую погожую минуту. Посветлело — и на трактор, вперед! Точно так он заботился и о сенокосной бригаде, установил постоянное дежурство кого-либо из специалистов. В общем, не сдавались в совхозе той страшной для земледельцев Приморья стихии. И в то время, когда в некоторых хозяйствах уже спешили списать поля, в совхозе имени 50-летия СССР их спасали.

Директор увлек рисоводов: «Рис — это невеста! Смотрите, как она у нас хороша!» Поля совхоза и вправду поражали рослым, густым рисом. 72 комбайна начали жатву, и не пропали старания. Не было серьезных поломок агрегатов. Намолачивали по 33—34 центнера риса с гектара.

А двенадцатого октября пошел снег.

Для мягкой приморской осени он был необычен. Для риса — страшен. Людей снег заставлял врасплох, методично и равнодушно осыпаясь на дома, дороги, на серую рябь озера Ханки, на рисовые чеки, полные спелых зерен. Снег шел одинаково густо и над полями «Жемчужного», и над чеками Владимиро-Петровской системы, и над Владивостоком.

Отец позвонил ночью:

— И у тебя идет?

— Идет, — глухо отозвался Валентин. — Тоже, видно, не спал, глядел на плотный снегопад за окном.

— Сколько уже успели убрать?

— Процентов шестьдесят. У нас хорошо шла уборка, по сто гектаров в сутки делали.

— Значит, под снегом у тебя остается около двухсот гектаров? — продолжал допрашивать директор треста.

— С сегодняшнего дня — сто пятьдесят.

— Это еще не так страшно. В «Жемчужном» — пятьсот, в «Корниловском» еще больше... Что думаешь делать?

— Хочу всех людей мобилизовать на сброс воды. С этого начнем. А дальше посмотрим.

Как ни губителен был этот октябрьский снег, укутывающий белым саваном рисовые чеки, люди во Владимиро-Петровке не растерялись и не запаниковали. На совещании, прошедшем очень быстро, решили



Слева направо: руководители совхоза имени 50-летия СССР — главный агроном Н. Ф. Гуньков, директор — делегат XXV съезда КПСС В. К. Горяинов и секретарь парторганизации А. Е. Ступак
Фото И. Гусева

спасти рис во что бы то ни стало. Принято было предложение о сбросе воды. Заведующий мастерской доложил, что рабочие перешли на двухсменную работу, так будет работать круглосуточно. Все специалисты из кабинета директора пошли на поля.

Теплилась надежда, что быстро растает этот первый, случайный снег. Но снег не таял, к самой земле под его тяжестью пригибались рисовые метелки — как тут убирать? Тяжело вздыхали комбайнеры, качали головами: не возьмешь этот рис. Так и зимовать ему.

— А если перед комбайнами пустить грабли с трактором? — размышлял вслух Валентин. Идея достаточно безумна, чтобы быть интересной.

Инженер пожал плечами: стоит ли огород городить. Да и что возьмешь с чеков после граблей.

— Если даже шесть-семь центнеров возьмем, и то — хлеб. Все лучше, чем вчистую списывать.

Валентин объяснил свою мысль механизаторам. Сенькин предложил:

— Давайте, Константинович, попробую. Воду сбросили. Не могу я видеть похороненный урожай.

Тракторные грабли подымают отяжелевшие заснеженные растения; комбайн, идущий следом, косит. Снег, перемешанный с землей, с соломой, остается позади. Вот

так и убирали в совхозе последние гектары, и почти сразу же применили эту идею в соседнем совхозе. И тоже кое-что успели спасти. Ну, а в итоге, когда окончательно произвели расчеты, оказалось, что совхоз имени 50-летия СССР, единственный из всех хозяйств, успел убрать рис и полностью рассчитался с государством. Собрали урожай вкруговую по 26,8 центнера с гектара, вышли из беды даже с прибылью в пятьдесят тысяч рублей. В тот первый год директорства молодого Горяинова (и самый трудный в его жизни год) совхоз выполнил план по всем показателям, завоевал переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и третью денежную премию в пять тысяч рублей.

Вот что значило не сдаваться перед стихией, не сплеховать, деловито расставить людей, увлечь их. Одно небо, одни дожди, один снег были надо всеми рисовыми совхозами в тот год, но лишь один выдержал испытание. Причем, выдержал его в период становления, когда не утихали еще внутренние бури и конфликты. Только к ноябрю 1974 года отметит про себя Валентин Горяинов, что наконец-то к его специалистам пришла раскованность и самостоятельность. Да и к нему самому в роли директора. Только к ноябрю!

Эта невероятно тяжелая осень сплотила их всех, вышли они из испытаний уже единомышленниками, окончательно поверив и в своего директора, и в себя.

Теперь у Валентина Горяинова было не только время, чтобы подумать о будущем совхоза и его перспективах, но и авторитет. На очереди вставала стройка. Проект Владимир-Петровки был прекрасен, не случайно труд архитекторов был отмечен третьей премией ВДНХ. Но воплощение проекта в жизнь велось медленно. Затягивалось строительство торгового центра, Дома культуры, с большими недоделками сдали школу, в которой работала Галя и учился сын Костя. Совхозу необходимы были и ремонтные мастерские, и ток, и жилье. Директор взял под ежедневный контроль проблемы строительства, настаивая на заключении договоров о комплексном соревновании между строительными предприятиями. Много сил бросили на строительство, и это принесло успех: Владимир-Петровку стали строить быстрее и лучше.

Достали свой автобус для совхоза. Добились и возможности глубже заняться севооборотами, оставили для отдыха триста гектаров мелиорированных земель, решились и другие проблемы, связанные со специализацией хозяйства.

Многое, на первый взгляд, не имело прямого отношения к рису — вечной и непреходящей любви Валентина Горяинова! Но в конечном итоге «работало» на этот самый рис. Нужен был дешевый и качественный рис. Хозяйство, выращивающее его, должно быть экономически сильным по всем позициям.

Горяинов тщательно изучал экономиче-

ский профиль своего совхоза. За годы девятилетней пятилетки основные фонды его увеличились в четыре раза, посевные площади расширились в 5,1 раза, прибыльность возросла вдвое, а валовое производство всей продукции в 2,5 раза, урожайность риса увеличилась на семь центнеров с гектара. Когда Валентин Горяинов пришел в совхоз агрономом отделения, производство центнера риса обходилось совхозу в 23 рубля, сейчас — 17 рублей. Производительность труда рисоводов возросла вдвое. Еще шесть-семь лет назад у поливальщика было по 35—40 гектаров, сейчас — до 100, а у таких асов, как Александр Ефимович Сенькин, — 169 гектаров. Причем он сам и сеет рис, и обрабатывает его, и поливает, и убирает. Работа на рисе приносит невиданный в земледелии экономический эффект, полностью раскрывает силы и возможности человека.

Горяинов-старший рассказывал сыну о кубанском рисе. Он полновеснее, урожайнее, там теплее климат. Но наш приморский рис качественней, дешевле для государства, на производстве приморского риса более высока производительность труда. К тому же сейчас наш рис, можно сказать, только начинается по-настоящему.

В 1975 году совхоз имени 50-летия СССР получил второй результат по тресту. Урожайность риса составила 31,4 центнера с гектара (упросили директора посеять рис на инженерных системах, поздно сданных мелиораторами, и 350 гектаров были засеяны с нарушением агротехники). А весь трест рисовых совхозов сдал государству 60,4 тысячи тонн риса, около шести миллионов рублей прибыли дал государству приморский рис только за один 1975 год.

А ведь это только начало. Еще не сданы мелиораторами тысячи гектаров инженерных систем, еще не выстроены на Ханке новые мощные насосные станции, и агрогородки рисоводов еще только строятся. Лишь к 1978 году совхоз имени 50-летия СССР выйдет на намеченный рубеж по строительству, и тогда решатся проблемы с жильем, с водой, с кадрами. Но начало есть, приморский рис утвердил себя прочно, без остатка всю свою жизнь отдают ему люди.

Рис стоит этого!

...На XVII Приморской партийной конференции они сидели рядом, отец и сын, и, когда в числе делегатов на XXV съезд КПСС назвали Валентина Константиновича Горяинова, отец сказал:

— А ведь это признание, Валя. Поздравляю. И радуюсь, что ты его заслужил. Десяти лет нету, как институт закончил. Мне для этого потребовалось тридцать лет. Ускоряется жизнь.

— Почему ты ведешь отсчет с института? — Сын возразил: — Рис — это вся моя жизнь.

Солнечным февральским днем 1976 года Горяинов-старший провожал сына в Москву, на XXV съезд партии.

Г. И. ЩЕДРИН,
Герой Советского Союза,
вице-адмирал в отставке,
бывший командир
подводной лодки «С-56»

ЭЛЕКТРИК С «С-55»

Улица Роз, 82, большой дом, расположенный неподалеку от железнодорожного вокзала. Когда я приезжаю в Сочи, то обязательно захожу, чтобы навестить родных одного из моих боевых товарищей. Здесь, в двухкомнатной квартире, живет дружная и очень гостеприимная семья Эксузян.

Заместитель начальника авиапорта Валериан Иванович (Ованесович) и его супруга Анна Порфирьевна. Оба активные участники Великой Отечественной войны. Она молоденькой девушкой-связисткой отличилась при обороне Кавказа и одну из боевых наград в 1943 году получила из рук начальника политотдела 18-й армии Л. И. Брежнева. Валериан Иванович служил в это время в механизированных, а затем — авиационных частях.

Встретились и поженились они уже после Победы. Их сын Юрий заканчивает авиационный институт, собирается стать инженером. Мне не удалось застать его дома и познакомиться с ним. Зато я хорошо знал другого Юрия, его дядю, в честь которого он назван. Тяга Эксузяна-младшего к авиации передалась по наследству не только от отца, но и от дяди, который в его возрасте тоже собирался стать авиатором.

Правда, Енок (Юрий) не стал летчиком, хотя в школе вместе со своим закадычным другом Виталием Попковым (ныне генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза) окончил курсы планеристов и всерьез подумывал о пилотском кресле. Но его дальнейшую судьбу, как судьбы многих комсомольцев 30-х годов, определила райкомовская путевка. Она направила комсомольца в учебный отряд подводного плавания.

— Тоже неплохо! — делился он радостью со своими друзьями. — Говоря по совести, меня манят и голубые петлицы и синий воротничок. Не знал, чему предпочтение отдать. Спасибо горкому комсомола — помог выбрать.

— Слушай, Юрий, а брезентовая роба и рабочий комбинезон тебя не манят?

— Если вы насчет работы, ребята, то я никакого труда не боюсь. Не летаю в пятом океане, зато в четырех остальных под водой плаваю.

Разговор происходил в учебном кабинете электриков. Начинаящие моряки умели видеть романтику и в своей специальности,

и во всем происходящем вокруг. Тем более, что находились они в крае, где совсем недавно их старшие братья воздвигали город юности — Комсомольск-на-Амуре, и всего год назад отбили провокационное нападение японской военщины в районе озера Хасан.

В отряде Енок изучал специальность электрика — одну из самых «подводных», поскольку после погружения подводной лодки электричество — единственный вид энергетики, обеспечивающий ее движение и жизнедеятельность экипажа. Но специальность была далеко не единственным предметом программы. Гораздо сложнее оказалось изучить устройство подводных лодок, организацию службы на них. Кроме того, курсанты занимались строевой, санитарной, химической, легководолазной и другими видами подготовки.

Первый подводный «университет» Эксузян закончил только с отличными оценками. Комсомольская организация дала ему хорошую характеристику, и командование направило его во Владивосток на одну из «Щук». Здесь мы с ним и встретились.

Командиром подводной лодки «Щ-134», на которую пришел служить Енок, был мой близкий друг капитан-лейтенант Д. К. Братишко. Мы с ним плавали до военной службы, вместе командовали «Малютками», одновременно были назначены на «Щуки». Дружили, соревновались. Соперничали в спорте. Помнится, однажды на ковер выходит молодой электрик со тридцатьчетверки, занимает первое место по классической борьбе и отбрасывает нашу «Щ-110» назад.

Боролся Енок красиво, каждая его спортивная победа встречалась аплодисментами. Был он широкогруд, плечист, имел налитые мускулы. Сильный человек, настоящий атлет. Спрашиваю у Братишко:

— Откуда ты такого ладного спортсмена выкопал?

— Твой земляк, родом с Туапсе. Жил в Гаграх, учился в Сочи. А служить попал на Тихий океан...

Встреча с земляком всегда приятна, а когда встречаешься за тридевять земель от родных мест — то вдвойне. От Юры я узнал, как за последние годы развивается всесоюзная здравница и хорошеет Сочи. Он понравился мне врожденной вежливостью и скромностью. Моя симпатия к нему

усилилась, когда командир сказал, что молодой матрос старателен, трудолюбив, успел сдать досрочно все положенные зачеты и назначен штатным электриком.

Я, признаться, пожалел, что попал он не ко мне, хотя «Щ-110» тоже не обидели хорошим молодым пополнением.

Вскоре и Братишко, и я получили назначение командирами «С-54» и «С-56» на дивизион подводных лодок. Экипажи самых современных по тому времени кораблей комплектовались лучшими специалистами флота. Желавших попасть на «Эски» было много, отобрали самых дисциплинированных, отлично знающих свое дело людей. Среди них оказался и Эксузян. Его просили к себе и я, и мой друг, а кадровик решил по-другому:

— Чтобы вас между собой не ссорить и никого не обидеть, назначаю я его электриком на «С-55».

Ну, что ж, на этот раз повезло нашему общему другу капитан-лейтенанту Льву Михайловичу Сушкину. Обрадовался назначению в свою группу младшего электрика и старшина команды Андрей Ревва.

Енока на лодке звали по-русски Юркой. Любили за то, что добросовестно работал и учился и еще за спортивную славу. Он уверенно завоевывал чемпионский титул по борьбе. На дивизионе его называли Поддубным.

И вдруг война!.. Она властно ворвалась в жизнь и по-новому повела счет времени. Сутки на части делил уже не заводской гудок, а утренняя и вечерняя сводки Совинформбюро. К моменту радиопередачи люди собирались у репродукторов, боясь пропустить хотя бы слово, сказанное диктором. Хотелось услышать, что фашистские полчища наконец остановлены и покатились на запад. Но враг продолжал наступать.

Прослушав сводку, рабочие и моряки молча расходились по цехам и кораблям. Юрий, как и все подводники, рвался в бой, просился послать его на фронт. Сокрушался, что он «отсиживается» в тылу, тогда как его младшие братья Валериян и Арминок уже, наверное, воюют. По тому, как он беспокоится о родителях, дедушке и бабушке, маленьком брате Фридоне, чувствовались его любовь к ним и забота.

Начались регулярные занятия. И тут произошел однажды случай, еще раз заставивший нас подивиться физической силе Юрия.

«С-55» производила одно из первых своих погружений. Из центрального поста поступил сигнал:

— Закрыть клапаны вентиляции!

Обычно клапаны открываются и закрываются пневматикой с поста погружения. Но, если через три секунды после поступления сигнала этого не произойдет, то закрытие производят вручную из отсеков при помощи рычага — лома.

Эксузян, отвечавший за исполнение сигнала, услышал его, начал отсчитывать секунды:

— Ноль — один! Ноль — два! Ноль — три!

Сигнальная лампочка не гасла, значит, клапан не закрылся. Юрий схватил толстый металлический лом, вставил его в отверстие машинки вентиляции и потянул на себя. Клапан на место не становился. Нажал сильнее, вроде подался. Но это был не клапан, под его тарелку, как оказалось, попал чурбачок. Согнулся лом от сильного нажатия. Пришел капитан 3-го ранга инженер М. Л. Очеретин, удивился богатырской силе электрика и покачал головой. А Юрий подумал, что его осуждают за порчу корабельного имущества. Разволновался и даже говорить стал с кавказским акцентом, хотя русским языком владел отлично.

— Слабый железо пошел, товарищ механик! Я на него и четверть силы не положил. Честное слово!

В дивизионе посмеялись над происшествием, и долго звали Юру «четверть силой».

Осенью 1942 года ГКО принял решение усилить Северный флот подводными лодками «Л-15», «Л-16», «С-51», «С-54», «С-55», «С-56» Тихоокеанского флота и перевести их южным путем из Владивостока в Колыский залив.

Небывалый для того времени переход, по существу, кругосветный (17 с лишним тысяч миль), пролегал по маршруту: Владивосток — Камчатка — Датч-Харбор (Алеутские острова) — Сан-Франциско — Коко-Соло (Панама) — Куба — Галифакс (Канада) — Розайт (Шотландия) — Леруик (Шотландские острова) — Полярное.

Лодки должны были пройти все климатические зоны от умеренных широт до тропиков и от экватора до Арктики. А над земным шаром в то время полыхало пламя второй мировой войны, и из-за каждого облачка и волны можно было ожидать бомбу на палубу или торпеду в борт.

Таких плаваний подводные лодки еще не совершали ни в одной стране мира. Переход, готовившийся в большой тайне, начался в октябре 1942 года. Личному составу маршрут и цель объявили лишь по выходе с Камчатки. Правительственное задание подводники восприняли с большим энтузиазмом. На собрании Эксузян от имени товарищей заявил:

— Нам выпала большая честь пополнить ряды североморцев, чтобы бить ненавистного врага. Мы понимаем, какие трудности нас ждут, но, окрыленные доверием командования, сделаем все, чтобы обеспечить переход в любых условиях.

Трудностей встретилось немало. В Тихом океане нас настиг тайфун, в Карибском море попали в жестокий тропический циклон. Воды Алеутской гряды, Северной Атлантики и Скандинавии встретили нас неистовыми штормами, а побережье Гватемалы и Никарагуа — зеркальными шти-

лями. Шли холодным камчатским течением, горячим Гольфстримом — с клубящимися густыми туманами. Вблизи экватора изнывали в непривычной тропической жаре, а у айсбергов пролива Девиса дрожали от пронизывающего полярного холода.

Трудный экзамен держала боевая техника. Во влажном горячем воздухе и не менее горячей забортной воде нельзя было заряжать аккумуляторные батареи, трудно охлаждались дизеля, резко падала изоляция электромеханизмов и проводки. Но еще труднее доставалось людям. Температура в отсеках в некоторых районах превышала 50 градусов Цельсия. А отдраивать переборочные двери для вентилирования не разрешалось, чтобы не уменьшать живучести лодки в случае ее торпедирования. Печальный опыт мы уже имели.

11 октября «Л-16» и «Л-15» шли строем кильватера в надводном положении, направляясь в Сан-Франциско. Погода стояла почти штилевая, видимость была полной. Ничто не предвещало беды. Вдруг, в 10 часов 15 минут (22.15 по московскому времени) с мостика «Л-15» увидели, как над «шестнадцатой» взметнулся огненный столб воды, пламени и дыма, докатился звук сильного взрыва. Когда гигантский всплеск осел, стало видно, как лодка с большим дифферентом на корму быстро погружалась в океан, унося с собой мертвых и тех кто еще оставался живым в отсеках.

«Л-16» погибла в тысяче миль от Сан-Франциско, на глубине 4888 метров. Пиратское нападение совершила японская подводная лодка «И-25» под командованием Майджи Тагами, хотя наши страны в состоянии войны не находились.

Несколько раз из-под воды атаковались и другие подводные лодки, в том числе и «С-55». После выпуска двух торпед с гитлеровской субмарины в Саргассовом море, Геббельс на весь мир сообщил о потоплении большевистской лодки. Впрочем, по его же сообщениям, эта «потопленная» еще дважды топилась «германскими военноморскими силами в Атлантическом океане». Несмотря на это, весь дивизион благополучно достиг Полярного.

На переходе Юрий великолепно выполнял свои обязанности и помогал товарищам. Ему объявили несколько поощрений. Но самой большой наградой было доверие коммунистов, принявших его в члены партии как передовика.

Будучи скромным человеком, Эксузян никогда не показывал своей феноменальной силы. Но она ему, как нельзя лучше, приходилась в Англии при смене аккумуляторных батарей. Каждый аккумулятор весил около половины тонны, а он двигал их по яме шутя и играючи. Приключались с ним и смешные истории.

Наши корабли при стоянке в Датч-Харборе посетил американский командующий военно-морскими силами алеутского сектора. Для встречи адмирала на палубе был выстроен личный состав. Обходя подвод-

ников «С-55», он, будучи сам спортсменом, обратил внимание на атлетическую фигуру Юрия. Узнав, что перед ним чемпион флота, крепко пожал ему руку. Енок ответил на рукопожатие, но адмирал попросил:

— Пожмите крепче!

Электрик застеснялся, но товарищи ободрили:

— Со всей силы пожми, Юра, раз просят!

И Эксузян пожал так, что американец присел на колено. Долго дул себе на ладонь, а потом похлопал матроса по плечу и стал говорить то, что мы и без него знали:

— Стронг! (Сильный), Вери стронг! (очень сильный). Вери файн (прекрасно).

В моем походном дневнике за 1 марта 1943 года есть такая запись: «Из Леурика, административного центра Шотландских островов, первой выходит в Полярное «С-55». Меня задерживают на сутки. Пришел катером к Сушкину попрощаться с его командой. Матросы просят нас в этом порту не задерживаться. Обещают встретиться в базе с оркестром.

— А если мы вас обгоним?

— Тогда вы нас с оркестром встречайте. Ладно! Только этого не будет. Не обгоните.

Самым непримиримым в смысле обгона оказался «четверть силы» — мой земляк Енок Эксузян, любимец всего дивизиона. Он и мысли не допускает, что их лодку можно обогнать, хотя такой случай на подходе к Панаме был. Но одно дело перед зарубежной базой, а другое, когда впереди родная земля.

— Если обгоните, товарищ командир, тогда ставьте меня к себе на вахту в мои выходные дни. Три воскресенья подряд! Согласен!

— Ну, земляк, потом не отказывайтесь. Свидетелей у меня много!

— Юрка! Юрка! Плакали твои выходные! Пятьдесят шестая у нас самая быстрая лодка, — пошутил мичман Ревва.

В Полярное мы прибыли 8 марта, обогнав друзей на несколько часов. Но «С-55» на несколько суток раньше нас, первой вышла на вражеские коммуникации и первой открыла боевой счет потопленных дивизионом вражеских кораблей. Она никогда не возвращалась с моря без победы, а ее командир стал признанным «мастером дуплета», то есть потопления одним залпом сразу двух целей. В 1943 году славный экипаж три похода подряд топил по два транспорта одним залпом. Среди потопленных оказались немецкие пароходы «Аякс», «Штурзее», «Аммерланд»-5381 БРТ.

Победы нашим друзьям доставались нелегко. В первом походе «С-55» высадила разведчиков в одном из норвежских фьордов, атаковала конвой и потопила оба транспорта, входившие в его состав. Противолодочным кораблям охранять стало некого, и они более семи часов преследовали лодку, сбросив на нее 107 глубин-

ных бомб. В отсеках лопались электролампочки, выходили из строя приборы и механизмы. Но подводники быстро устраняли повреждения, и корабль жил. На ходовой станции главных электромоторов стоял Юрий. Он обеспечивал маневрирование.

Подлодка вышла из-под удара. Моряки радовались своей первой победе, но мечтали о большем. Эксузян высказал это вслух после обеда: «Эх, еще бы парочку!» И запел:

А если на дно пара «фрицев» прибудет,
Никто с нас не спросит, никто не осудит.

Наверное, мечта сушкинцев (так в соединении называли экипаж «С-55») сбылась бы, потому что вдоль берегов Северной Скандинавии шел второй немецкий конвой, и лодка под водой спешила к нему на перехват через минное поле. До берега, где проходили коммуникации, оставались считанные мили, когда из первого отсека поступил тревожный доклад:

— Минреп по левому борту!

В лодке все замерло. Зловещий скрежет быстро продвигался к корме. Юрий моментально выполнил команду:

— Стоп левый электромотор!

Услышал леденящее душу царапанье по борту, сразу оборвавшееся. Но тут же увидел, как запылала стрелка прибора, показывающего нагрузку на левый гребной вал. И он понял — трос наматался на винт, сейчас взрыв и...

Но взрыва не последовало. Минреп оборвался, и мина, накрепко связанная с лодкой, буксировалась у нее за кормой. Об атаке конвоя теперь не могло быть и речи. Приходилось думать о том, как спасти корабль и самим остаться в живых.

У берега лодка развернулась под одним электромотором (вторым нельзя было работать) на обратный курс и вынуждена была снова форсировать минное заграждение, но теперь уходя в открытое море с миной на буксире. До чего же неприятными были эти четыре часа рядом со смертью!

От мины помог избавиться шторм. Когда всплыли, ее оторвало волной и отнесло от лодки. Подводникам оставалось только поблагодарить Нептуна за свежую погоду. Но шторм помешал очистить винт от минрепа, хотя попытки и делались. Под воду к винту ныряли только добровольцы. Одним из первых среди них был Эксузян. Однако даже его богатырская сила не смогла спорить с волной. Только в базе, в спокойной обстановке удалось распутать восемьдесят метров гибкого троса, наматывшегося на винт и левый вал.

10 апреля капитан 3-го ранга Л. М. Сушкин подписал наградной лист на Юрия:

«Краснофлотец Е. О. Эксузян, участник перехода от Владивостока в Полярное и боевого похода, в котором выполнено спецзадание командования и уничтожено два транспорта противника. Отлично владеет специальностью. Материальная часть заведования работает безотказно, сам в

бою не теряется. Ремонт помогал делать другим группам, при этом является застрельщиком военных темпов. На переходе как Образцовый воин принят в члены ВКП(б)...»

Через неделю Юрий надел свою первую награду, а еще через пять дней ушел с лодкой во второй очень трудный боевой поход. Когда 30 апреля «С-55» возвращалась из него и дала в гавани два победных выстрела (на Севере была традиция стрелять из пушки по числу потопленных кораблей), то все население Полярного высыпало к причалам, чтобы посмотреть на необычную картину.

С пирса за высоким каскадом пены и брызг перед носовой частью лодки едва проглядывались мостик и ограждение рубки «С-55». Только с близкого расстояния стало видно, что форштевень нет, как и всего носа от торпедных аппаратов. Североморцев нелегко было удивить боевым повреждением, но и они недоумевали:

— Что это, сушкинцы с миной поцеловались или в скалу с полного хода врезались? Не лодка подходит, а Петергофский фонтан!

Командующий флотом вице-адмирал А. Г. Головкин, выслушав доклад командира, осмотрел корабль и, поговорив с подводниками, остановился возле повреждения. Постоял и сказал:

— Прочный у вас корабль, командир, надежный. И люди ему под стать — крепкие, как сталь.

— Крепче стали, товарищ адмирал. Сталь все же сдала, а из людей — ни один!

— Что ж, поправку принимаю, они действительно крепче стали!

И командующий приказал представить экипаж ко второй правительственной награде.

В этом походе, после потопления лодкой обоих судов конвоя, восемь кораблей охранения начали энергично ее преследовать. Бомбы сыпались большими сериями, встряхивая лодку и бросая ее в стороны.

Акустик доложил, что атакуют их три сторожевика. Одновременно с докладом загремели оглушительные взрывы. Вдруг могучий удар потряс лодку так, будто она наткнулась на гранитную скалу. Людей сбило с ног. Стоял грохот, жутко скрежетал металл, все, что было плохо закреплено, сдвигалось со своих мест, звенело разбитое стекло. Многие получили ранения.

Как ни крепко держался на ногах Эксузян, но внезапный сильный толчок оторвал его от палубы и с маху бросил на кормовую переборку шестого отсека. От близкого взрыва глубинной бомбы самопроизвольно выключились батарейные автоматы, обесточилась станция, моторы смолкли, и лодка остановилась.

Енока оглушило и сильно ушибло. Но, забыв о боли, он вскочил на ноги, включил автоматы и пустил моторы. Вот когда



Владивосток. Открытие памятника «Подводная лодка «С-56»

Фото М. Родина

его выручила мускульная сила, потому что ударов пришлось выдержать не один.

Новая атака сторожевиков, и взрывы нескольких бомб слились в адский грохот. Страшный удар, более сильный, чем первый, резко накренил и подбросил лодку метров на десять вверх. Несколько человек получили контузию. Снова отключились батарейные автоматы, но Юрий вернул их в исходное положение. А это было важно, потому что носовую часть разворотило, и лодка даже на большом ходу плохо слушалась горизонтальных рулей.

За четыре часа интенсивной бомбежки корабль получил значительные повреждения. Деформировало крышки носовых торпедных аппаратов, выше/и из строя ряд механизмов. Но лодка жила, и этим она была обязана своему экипажу, в том числе и Юрию. Командир представил его к ордену.

«При преследовании кораблями противника вел себя мужественно и хладнокровно. Четкой инициативной работой и точным выполнением приказаний центрального поста обеспечил боевой успех подводной лодки», — так было написано в наградном листе.

Грудь электрика украсила вторая правительственная награда. Но он не зазнался, остался таким же скромным, жизнерадостным человеком, отличным воином, надежным товарищем. Юрий был нежным, заботливым сыном и братом. Валериан Иванович говорит:

— С Севера родители получали от него письма, всегда очень теплые, заботливые, проникнутые большой сыновней любовью. Он никогда не жаловался на тяготы походной жизни подводника, его письма бы-

ли жизнерадостными. Писал, что сделает все от него зависящее, лишь бы скорее разбить фашистов.

Любовь к Отчизне, к родным и ненависть к гитлеровцам, к их черным делам... Будучи редактором корабельного «Боевого листка» и отличным агитатором, он не уставал напоминать товарищам о зверствах, чинимых фашистами на нашей земле. А когда побывал в Мурманске, то рассказал о том, как методично, без всякой военной необходимости, немецкая авиация сожгла и разрушила жилые кварталы города.

В октябре 1943 года «С-55» бригада встречала с оркестром и почестями при ее возвращении из третьего боевого похода. Было известно, что один из двух потопленных лодкой транспортов — «Аммерланд» доставлял противнику боевую технику и другие ценные грузы. Их гитлеровцы не получили, как и боеприпасы, потопленные со вторым транспортом.

Кроме того, экипаж выполнил сложное задание по высадке разведчиков в глубоком вражеском тылу, за что заслужил особую благодарность.

Командир рассказал, что атака конвоя была трудной, требовала дачи полных ходов, но электрики не подвели. После залпа противолодочники бомб не жалели, вывели из строя кормовые горизонтальные рули. Но лодочные умельцы произвели ремонт под водой. Среди отличившихся был и Эксузян. Но сам он об этом не распространялся. На вопрос, как прошел поход, ответил:

— Нормально! Двоих на дно отправили. Готовимся в море округлить счет.

Но округлить счет до двухзначной цифры сушкинцам не довелось. Из четвертого похода они не вернулись и ни одной ра-

диограммы с моря не дали. В донесении начальника политотдела капитана 2-го ранга Ф. И. Чернышева о гибели «С-55» говорилось:

«Личный состав бригады долгое время ожидал возвращения лодки, так как все знали отличные боевые качества командира товарища Сушкина и его экипажа. Потеря эта особенно тяжело воспринята кораблями, однако политико-моральное состояние подводников остается высоким».

Да, это была тяжелая потеря. На лодках бывших тихоокеанцев до конца войны на торпедах писали: «За сушкинцев!», «За друзей с «С-55!» И торпеды эти находили цель.

Мне никогда не забыть письма за подписью комбрига Героя Советского Союза И. А. Колышкина, в составлении которого и я принимал участие.

«Добрый день, дорогие и многоуважаемые Ованес Хачикович и Мария Погосовна! Ваш горячо любимый сын Енок Ованесович Эксузян в суровые дни Великой Отечественной войны наносил сокрушительные удары по гитлеровским мерзавцам, которых как замечательный патриот Родины ненавидел жгучей ненавистью. Всю свою

священную ненависть вкладывал он в славные боевые дела по беспощадному уничтожению фашистских поработителей, обеспечивая потопление кораблей противника в холодных глубинах северных вод. За славные боевые дела, за мужество и отвагу в борьбе с фашистскими бандитами, Ваш сын награжден высокими правительственными наградами — орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью «За Отвагу».

...Мы поклялись матери Родине — за смерть нашего боевого соратника, Вашего сына, за Ваши страдания и слезы, беспощадно уничтожать врага до полной ликвидации коричневой чумы, не жалея ни сил, ни энергии, ни самой жизни...

Пусть орден Отечественной войны за № 9444, врученный Вашему любимому сыну и высылаемый Вам, будет светлой и немеркнувшей памятью о сыне — военном моряке Еноке, павшем в героической борьбе нашего народа во славу Родины...»

Мы, друзья и боевые товарищи Юрия, слово свое сдержали. Енок Эксузян живет в нашей памяти, так же, как и другие подводники, не вернувшиеся к причалам после Великой Отечественной войны.



НА ОХОТУ... С ФОТОРУЖЬЕМ

Фотоочерк



Камчатский бурый медведь — один из самых крупных среди своих сородичей, обитающих в нашей стране. Его вес порой достигает полутонны. В конце апреля — мае медведи начинают выходить из берлог. В поисках пищи они бродят у подножий сопок, в долинах рек, где из земли пробиваются первые зеленые стрелки травы.



В берлоге у медведицы рождаются дети. Иногда один, иногда два и очень редко три. Для малыша, впервые увидевшего мир, все ново и любопытно.



Как и все дети, медвежата непоседливы. Играя, малыш не заметил, как потерял маму. И сейчас сидит в недоумении: где же мать?



А мать рядом. Выбрала удобное место за деревом и спокойно наблюдает за сыночком. В случае опасности она в любую минуту готова защитить ненаглядное дитя.



Что это: медведь «точит» когти или наносит метки на границах своего участка?



Тревога! Медведь встал на задние лапы, чтобы рассмотреть, серьезна ли опасность.



«Меню» медведей разнообразно: мелкие животные, ягоды, орешки. Но особенно неравнодушны они к муравейникам. Муравьиные яйца для них — настоящее лакомство. Любят они и первые весенние побеги.



Медведица опекает медвежат до двухлетнего возраста, обучает житейским навыкам. А в свободное время медвежата предаются забавам. Но и в играх они вырабатывают сноровку, силу, ловкость — качества, необходимые в жизни.



Летом и осенью медведи много времени проводят у нерестилищ лососей на рыбалке — запасаются жиром на зиму, а потом залегают в берлогу, и лишь весна пробудит их ото сна и снова возвратит к активной жизни.

В МИРЕ КАЧЕСТВА

О качестве мы узнаем с колыбели. Это понятно — качество свойственно любому предмету, вещи. Увидел ребенок игрушку — улыбается, тянет руку. Качество. Мама принесла мандарины, они прекрасно пахнут, а на вкус жестковаты, не сочные — долго их везли на Камчатку. Снова качество. Открыл книжку, а там сказка о том, как из гадкого утенка вырос белоснежный лебедь. И тут качество.

Нас окружает мир качества. Дома, на работе, в магазине, в театре, в черноморском доме отдыха, в геологической экспедиции — всюду мы сталкиваемся с качеством. С плохим или хорошим, со средненьким, так себе. Оно может украшать нашу жизнь, а может сделать ее серой, невыразительной, как те печально знаменитые темные прорезиненные плащи, в которых ходило в пятидесятых годах почти две трети мужского населения страны.

Все мы поборники качества. Это когда потребляем. Тут за нами ни один контролер ОТК не угонится. И, в общем-то, правильно. Хотим получить не просто костюм, а костюм модный, нарядный, прочный. Не просто килограмм яблок, а еще и хорошего товарного вида, вкусных. Не просто лыжи, а лыжи прославленной эстонской марки.

Но, научившись в области потребления быть строгими, став знатоками качественных характеристик самых разнообразных товаров, далеко не всегда еще это рвение, эту строгость к качеству применяем мы на производстве.

Почему же не всегда мы это делаем? Почему иное предприятие печется о качестве своей продукции «от выставки до выставки», а не каждый день? Что мешает, что тормозит инициативу? В конце концов с чего оно начинается — качество?

Об этом — заметки.

В прошлую южно-курильскую экспедицию попал я в трудное время. Рыбы не было, а уже стоял ноябрь, близок конец года. Океанрыбфлот оказался в пролове. Берег нервничал, на переговорах страсти накалялись, кое-кому из капитанов под горячую руку изрядно перепало.

Обстановку разрядила лемонема. Есть такая глубоководная рыба. Нашли ее сахалинцы, начали ловить. Пошло у них дело. Потянулись на глубоководный лов и камчатские рыбаки. Правда, с опозданием, потеряв целую неделю в ожидании разрешения на переход в новый район. Пока берег решит, да согласует, да подумает...

Пришли, начали работать. И сразу возникли проблемы. На некоторых судах не хватало ваеров для оснащения глубоководных тралов. Начальник экспедиции запросил капитанов, у кого есть лишние ваера. А кому охота отдавать: отдашь, а завтра свои порвешь. Чем тогда работать?..

Кое-как решили проблему с ваерами. Хотя и в экспедиции 1974 года возникала точно такая же ситуация. Не хватало ваеров, суда простаивали. Тогда тоже изрядно времени потеряли, пока оснастили траулеры. Что ж, выходит, жизнь так ничему и не научила? А ведь можно было иметь запасные ваера при подготовке экспедиции. А, если можно, то почему этого не сделали?..

Недоуменных вопросов возникало много. На одном хочу остановиться подробнее.

Камчатские суда уже вели глубоководный лов, когда в экспедицию вышел после ремонта экипаж БМРТ «Мыс Обручева». Надо заметить, что из лемонемы при помощи специальных машинок делают пищевую продукцию — спинку. Так вот, БМРТ «Мыс Обручева» шел на глубоководный лов, не имея ни одной машинки! На что же надеялись в управлении, снаряжая судно в море? Естественно, что первыми словами капитана БМРТ на вечернем промсовещании был вопрос: «У кого есть лишние машинки для выпуска спинки?» Его подняли на смех. Тут у самих не хватает, приходится делать станки вручную из всякого хлама.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. На БМРТ «Мыс Таймыр» сломалась траловая лебедка. Заводской дефект. В условиях моря починить ее не было возможности, и траулер решили отозвать в порт. Из управления пришел приказ: отдать машинки на «Мыс Обручева». Выход временно был найден.

Кустарных машинок на судах немало.

Они значительно уступают заводским, но в океанрыбфлоте упорно поощряют эту техническую самостоятельность. Конечно, рационализаторы и изобретатели нужны, но не лучше ли проявлять эти качества на судоремонтных предприятиях? Там и условия для этого другие, и нужные для машинок детали имеются.

Качество рыбной продукции, как видим, начинается с технической оснащенности промысловых судов. И ваера, и разделочные линии, и машинки для выпуска филе и спинки, и консервное производство — все это необходимо готовить на берегу до выхода судна в рейс. Это первейшее условие. В море же рыбаку все внимание следует уделять качеству продукции, грамотной эксплуатации машин и оборудования, а не кустарному изобретательству. Истина очевидна. В океанрыбфлоте ее почему-то игнорируют.

Если бракует часть продукции какого-либо экипажа, вывод тут простой: обработчики не выполняли технических условий, контроль же за качеством был плохой. Отсюда брак. Ну, а когда всю продукцию экспедиции переводят в низший сорт? Тогда где искать виновных?

А такое было в 1974 году. Впервые камчатские БМРТ стали вести промысел глубоководной рыбы. Ловили лемонему. А что из нее можно делать? Технических условий на эту породу у рыбаков пока не было. Посоветовались судовые технологи и решили рыбу шкерить и морозить. Так и делали до конца экспедиции. А когда сдали продукцию Дальрыбсбыту, на нее на всю (!) пришли рекламации. Случай неслыханный, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Что было — то было.

И экипажи судов, и океанрыбфлот потерпели на рекламациях солидные убытки. А произошло это лишь потому, что своевременно не были разработаны и разосланы на суда соответствующие технические условия. Министерство рыбного хозяйства задним числом исправило свою ошибку.

11 апреля 1975 года появилась инструкция по выпуску готовой продукции из лемонемы. Я оказался свидетелем ее освоения на камчатских траулерах. И свидетельство мое будет не в пользу инструкции.

Технические условия на любой вид продукции должны быть предельно точны, понятны и лаконичны. Никаких разночтений! Только это гарантирует безоговорочное соблюдение обработчиками ГОСТов, а значит, и выпуск продукции высокого качества.

Инструкция от 11 апреля не балует рыбаков точностью. В ней говорится, что из лемонемы выпускают только спинку. Прекрасно. Но как это делать? «Брюшная часть полностью удалена срезом, проходящим от головной части до начала среза тонкой хвостовой части, — говорится в инструкции. — При машинной разделке допускается частичный (Выделено

мною. — Е. С.) продольный срез позвоночной кости».

Вокруг слова «частичный» и разгорелись страсти. Что это означает конкретно? Больше срезать, меньше? И до каких пределов? Флагманский технолог В. П. Губенко сначала объяснял на промсоветах, что можно срезать больше. Через несколько дней бросился в другую крайность: требовал срезать как можно меньше. В дискуссии участвовали и заместитель начальника океанрыбфлота В. Д. Королев, и начальник экспедиции П. И. Яроцкий, и капитаны, и судовые технологи. И каждый прочитывал инструкцию по-своему. Заметим: она давала для этого повод, ибо допускала разночтения.

Но дискуссия дискуссией, а спинку экипажи продолжали делать. У каждого, видимо, были свои отклонения при срезах. Волновал всех вопрос: а как прочтут инструкцию приемщики Дальрыбсбыта или технологи торговых организаций? Есть основания думать, что каждый будет читать, как ему выгодней. И толкования будут не в пользу рыбаков.

Говоря о технических требованиях, мы не должна забывать, что даже самая прекрасная инструкция еще не делает погоды. Главное все-таки — уметь. Уметь делать качественную продукцию. И уметь правильно применять инструкцию, чтобы не переводить заведомо качественный продукт в низший сорт. К сожалению, подобное еще встречается.

В ноябре на камчатские суда пришла телеграмма начальника управления А. И. Серги. В ней говорилось: «По предварительным данным Хайрюзовского рыбокомбината, продукция, отгруженная на «Речище», имеет большие отклонения от ГОСТа: 48 процентов размерного состава 20—22 сантиметра».

Речь шла о скумбрии, отгруженной из экспедиции для этого комбината. Между тем технические требования на мороженую рыбу (в том числе и скумбрию) говорят, что «По размерам и весу мороженная рыба не подразделяется и выпускается от 20 см и выше». С 1967 года, когда эти технические требования были утверждены, никто их не отменял. Но технологи Хайрюзовского рыбокомбината читают инструкции по-своему. И 48 процентов качественной рыбы бракует под видом отклонения от ГОСТа. Да кто дал право комбинату нарушать инструкции министерства?! Подобные необоснованные претензии пришли и с других камчатских комбинатов.

И не удивительно, что экипажи больших морозильных траулеров с охотой сдают свою продукцию на плавазаводы, где умеют правильно читать инструкции, и отказываются отгружать ее на наши комбинаты.

Но почему же работники Камчатрыбпрома до сих пор не вмешиваются и не объяснят популярно технологам комбинатов, как надо читать и без того ясные инст-

рукции? На комбинатах вольное обращение с техническими требованиями идет, видимо, от спасительного желания создать излишки сырца на случай... своего брака. Неблагодарно, но понятно. А почему молчит Камчатрыбпром?

Итак, второй исходный момент, самым активным образом влияющий на формирование качества, — это своевременная разработка технических условий. Их точность. И необходимость учиться правильно (то есть объективно) читать инструкции. Без решения этой проблемы рыбаки вряд ли избавятся от брака.

Что еще поражает: любой хозяйственник двумя руками голосует за высокое качество. Но попробуйте «выжать» лишнюю копейку на поощрение качественной работы! В океанрыбфлоте на рейс капитану выдается ничтожная сумма в пятьсот рублей на все виды поощрений. Это при условии, что экипажи нередко возвращаются из рейса, имея на своем счету по сто-двести тысяч рублей сверхплановой прибыли. Рейс длится пять месяцев. Значит, при хорошей работе экипажа капитан в состоянии выплачивать ежемесячно каждому в виде премии... по одному рублю! Если же отличилась лишь половина команды — по два рубля набегает. Такова цена качества!

Объективности ради замечу, что в управлении разработано «Положение о поощрении экипажей БМРТ за повышение качества продукции». В нем записано: «При выполнении и перевыполнении плана сортности и отсутствия забраковок премировать помощников капитанов по производству, мастеров по обработке — в размере 30 процентов должностных окладов за рейс; капитан-директоров, первых помощников, старших мастеров, мастеров добычи, старших механиков, механиков завода — в размере 15 процентов должностных окладов за рейс».

Это хорошо. Поощрять командиров производства за высокое качество нужно. Но кто первый встречает трал с рыбой на палубе, кто его обрабатывает? Матрос-добытчик. Он в «Положении» забыт. А от кого в первую очередь зависит переработка улова, выпуск готовой продукции? От матроса-обработчика. И о нем в этом документе ни слова.

Подняли рыбаки на борт двадцатитонный трал. Как идет его обработка? На разных судах по-разному. На одном, смотришь, траловая вахта осторожноенько манипулирует грузовыми стрелами, стараясь не помять куток с рыбой. На другом иная картина: там иногда нарушаются установленные правила улова, а это ведет к определенной потере качества продукции.

Вот вам качество сырца. У одних рыба уходит в бункер одна к другой, целехонькая, а другим в заводе придется тщательно сортировать улов, отбирать мятую.

После того как улов выливают в бункер, в трале, как правило, остается несколько десятков рыбин, обьяченных, запутавшихся в дели. Если рыбу сразу не

вынуть, она снова уйдет за борт. Поэтому надо делать так, чтобы не допустить этого. Необходимо всегда перед спуском трала на воду тщательно его чистить. Только такое отношение к делу поможет улучшить качество промыслового вылова рыбы.

Конечно, тут должен сказать свое веское слово мастер добычи. Он с тралвахтой всегда вместе, руководит ее работой на кормовой палубе. Тем более, что в «Положении» мастер не обойден вниманием, его поощряют за хорошее качество продукции.

Но будем реалистами. На многих судах траловые мастера еще вчера были матросами. А кроме того, кто и когда учил мастеров добычи искусству создавать качественную продукцию? Где находятся такие курсы, школы, училища? Я, признаюсь, с подобными не знаком. А без твердого знания всего технологического цикла (от появления сырца на палубе до спуска в трюм ящика с готовой продукцией) как может влиять на формирование качества мастер добычи? Какие приемы он будет применять, если не знает этих приемов?

Все сказанное здесь в полной мере относится и к матросам добычи. Причем дело усложняется еще и тем, что их за качество сырца не поощряют.

Сырец ушел в завод. Здесь-то и начинается основная работа по созданию качественной продукции. Поэтому так много в заводе специалистов: заведующий производством, rybмастера, механики, наладчики. И все-таки, и все-таки... Пожалуй, главная фигура в заводе — матрос. Через руки обработчиков проходит весь сырец, превращаясь, после серии различных операций, в готовую продукцию. Чтобы хорошо работать, обработчику нужны квалификация, опыт, знание технологического цикла. И еще — желание. Да-да, именно желание постоянно делать свое дело на определенном высоком уровне. Вахта обработчика длится шесть часов. И в течение всего этого времени стоящему на дисковом ноже необходимо отсекать голову и хвост на строго определенном расстоянии, а тому, кто из тушки делает спинку, все шесть часов обрезать брюшину так, чтобы срез соответствовал ГОСТу. И тому, кто стоит на зачистке, всю вахту надо каждую спинку очистить полностью от остатков внутренних тканей, крови. Иначе — брак.

Трудно это? Конечно. Возможно работать без брака? Бесспорно. Пример экипажа БМРТ «Мыс Осипова», который добился права сдавать свою продукцию без предъявления Дальрыбсбыту, — яркое тому свидетельство.

Но пока таких судов в океанрыбфлоте всего три. Пожалуй, пока что именно средние и слабые экипажи делают погоду. Поднять их до уровня передовых — вот в чем задача. А для этого необходимо изучить типовые ошибки и промахи, которые допускаются и в самих коллективах промысловиков, и в руководстве ими.

Когда сырец идет сплошным потоком, завод работает круглые сутки. Бригады обработчиков сменяются через шесть часов. Ритм напряженный. Правда, на скумбрии легче: ее только морозят, и у обработчиков главная забота — сортировать рыбу по размеру. А когда изготавливается спинка лемонемы или балычок из минтая, — тут обработчик смотри в оба и успевай поворачиваться. Тем более, что и заведующий производством, и рыбастера поторапливают: у них суточный план выпуска готовой продукции.

Когда же о качестве думать?

Хороший обработчик умеет шкерить почти автоматически. Ему навыки это позволяют. Так что основное внимание, освобождаемое от самого процесса резки рыбы, он может сосредоточить на качественной стороне дела. Только, к сожалению, не всегда он так поступает. Что здесь влияет: низкая профессиональная требовательность к себе, безразличие? Видимо, всего есть понемногу. Внешне требования мастеров выполняются? Чего же еще от человека надо...

Могут сказать: надо требовать от обработчика, чтобы он добросовестно выполнял свои обязанности. Но если бы только этим дело ограничивалось, как просто решалась бы проблема качества!

Все несколько сложнее. Обработчик деньги получает, прежде всего, за производительность труда, за то, что вал дает товарную продукцию, и за то, что пять месяцев в море находится, и еще за свое долготерпение, когда почта не приходит по месяцу, а то и по два... Качество в этом длинном ряду, увы, стоит на одном из последних мест.

Быть может, поможет строгий контроль за качеством? Да, это, безусловно, перспективный путь. На судах океанрыбфлота созданы комиссии по качеству, цель которых — ежедневно проверять весь технологический цикл, от сырка до готовой продукции. Еще не везде они работают целенаправленно и регулярно, но это дело времени. Проводятся и дни качества, на которых обсуждаются насущные проблемы, намечаются пути исправления ошибок. То же пока, к сожалению, они не всегда регулярны.

Сила общественных организаций, общественного мнения неоспорима. И в этом направлении коллективам судов предстоит большая работа. Взять те же личные карточки качества. Они заведены пока не на всех судах, да и работа нередко ведется формально. А дело интересное, хотя и хлопотливое. Если вести учет регулярно, то к концу рейса можно вполне объективно оценить работу каждого члена экипажа. Правда, в «карточку» пока заносятся лишь нарушения, промахи работника. А его ударный труд, поощрения? Почему они не учитываются? Вообще роль поощрений, на мой взгляд, в океанрыбфлоте недооценивается.

Зато на наказания управление не ску-

пится. Взять, скажем, приказ по океанрыбфлоту от 11 февраля 1975 года, предусматривающий материальную ответственность работников плавсостава за выпуск качественной продукции. Приказ достаточно строгий. Но какова действенность этих строгих мер? Почти год существует приказ, а количество случаев пониженной сортности и забракованной готовой продукции снизилось не намного. Выходит, строгий приказ практически мало повлиял на повышение качества продукции. А ведь 1975 год в океанрыбфлоте был объявлен годом качества.

Наказания за нерадивость, конечно, нужны. И строгость нужна. Но только в сочетании с мерами поощрительными, с повышением материальной заинтересованности экипажей можно решить проблему качества. Жизнь убедительно доказывает, что односторонние меры положительных результатов не дают.

Что правильной: больше или лучше?

Вопрос не простой. Мы на Камчатке приехали к широкому ассортименту рыбных товаров. Приглядитесь в рыбном магазине, как ведут себя покупатели. Прежде чем купить, хозяйка обязательно пройдет-ся вдоль прилавков, внимательно изучит все, что ей предлагают. Треска, окунь обезглавленный, навага, камбала, кальмар, неразделанный голец, хек серебристый, сквама, рыба ледяная, палтус, корюшка. Есть и копчености, сельдь бочковая жирная, маринованная, спецпосола. Разнообразные консервы. Рыба жареная, горячего копчения, отварная... Короче, есть из чего выбирать.

А на материке, в областях, удаленных и от морей, и от больших пресноводных водоемов, такое изобилие рыбных товаров вряд ли встретишь. С этим фактом приходится считаться.

Значит, больше?

Вернемся в рыбный магазин Петропавловска. Покупатели часто спрашивают:

— Филе трески есть?

— Сегодня нет, — отвечает продавец.

— А филе камбара?

— Тоже нет.

— Натуральные консервы?

Продавец молча разводит руками.

Нарасхват идут угольная горючего и холодного копчения, печень трески, хека и минтая, копченая корюшка, вяленая и парная рыба. Эти продукты пока у нас в дефиците.

Выходит, лучше?

Вот как все не просто, когда мы сталкиваемся вплотную с покупательским спросом. И поэтому вопрос: больше или лучше — необходимо сегодня ставить по-иному. В «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы» сказано с полной определенностью: «Основной задачей промышленности является более полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населе-

ния в высококачественной продукции». И больше, и лучше — так должен решаться вопрос.

С этих позиций и продолжим разговор о работе больших морозильных траулеров океанрыбфлота.

Многие годы добыча доминировала в рыбной промышленности. Кто больше поймал — тот и победитель. Чего рыбак наловил, каковы экономические итоги его деятельности на промысле — это потом плановики и финансисты подсчитают в тиши кабинетов. А на пирсе гремели оркестры, встречая тех, кто вернулся в порт с наибольшим выловом.

В последнее время гром оркестров поутих. Тому есть веские причины. В управлении, где всегда работали с солидной прибылью, появились планово-убыточные суда. Финансовые результаты деятельности океанрыбфлота ухудшились.

В чем дело? Стали искать объективные причины. Нашли: хуже стала сырьевая база. Это многое объясняло. Но не снимало главной проблемы — как развиваться дальше? Флот управления продолжает пополняться, и Министерство рыбного хозяйства, Дальрыба, Камчатрыбпром резонно требуют соответствующей отдачи.

Тогда и родился лозунг: «Больше пищевой продукции!» Лозунг правильный, нацеливающий экипажи на поиски резервов улучшения экономических результатов своей работы. На промысле стали бережней обращаться с сырьем, рыбаки стремились максимально увеличить выход пищевых: делали балычок из минтая, собирали печень и икру. Шел в дело и пищевой прилов. А в управлении, чтобы заинтересовать промысловиков материально, разработали ряд поощрительных мер, которые делали работу на выпуске пищевой продукции выгодней.

Управление океанрыбфлота выполнило девятую пятилетку и план завершающего года по общему вылову. План выполнили, а вот похвастаться особенно нечем! Дела с выпуском пищевой продукции (а следовательно, и финансовые) существенно к лучшему не изменились.

Не буду останавливаться на этом. У меня задача иная — разобраться, в силу каких причин большие морозильные траулеры работали ниже своих возможностей. Речь идет о причинах, главным образом, субъективного свойства.

И здесь мы вплотную подходим к коренному вопросу сегодняшнего дня — к качеству управления производством.

Океанрыбфлот — мощная организация. У него на вооружении немало больших морозильных траулеров, дающих сорок процентов рыбы, добываемой Камчатской областью. Они работают в самых различных районах Тихого океана, уходя за тысячи миль от родных берегов. И, чтобы добывающий флот функционировал продуктивно, качественно, работникам океанрыбфлота приходится ежедневно решать массу разнообразнейших вопросов: снабжение

судов топливом, водой, продуктами, обеспечение тарой, запчастями, промвооружением, своевременный перегруз готовой продукции, замена экипажей, безопасность мореплавания, оперативное вмешательство в изменившуюся обстановку, перевод флота из района в район. Да и сам берег требует постоянного внимания — судоремонт, подготовка судов к выходу на промысел, встреча и размещение вернувшихся из рейса, подменные команды, кадры, сроки...

Тысяча больших и малых дел! И каждое необходимо решить быстро и правильно. Любая нерасторопность, ошибка в оценке ситуации, неправильное распоряжение повлекут за собой цепочку последствий, которые обязательно потом отразятся на общих итогах работы. Поэтому так важно повышать качество управления огромным хозяйством. От качества управления в первую очередь зависят общие экономические результаты.

Южно-курильская экспедиция в зимнее время — одна из основных. Здесь сосредоточено большое количество судов, дающих пищевую продукцию. Результаты их работы в значительной степени влияют на финансовые итоги деятельности управления.

Как же работала экспедиция?

Говорят: скумбрия «подвела» рыбаков. Но сахалинцы в конце прошлого года быстро сориентировались и перешли на глубоководный лов. А в океанрыбфлоте упорно держали флот в старом районе, хотя всем было ясно, что скумбрии там не будет. Капитан БМРТ «Кулунда» В. Г. Капдыба на каждом промсовете говорил об этом. Кончилось тем, что его осадили: «Панику развел. Прекратить подобные разговоры!»

Капитан БМРТ «Мыс Осипова» — Слинкин, видя, что флот без толку цедит воду, решил проявить инициативу. Самостоятельно перешел на глубоководный лов — и сразу стал брать хорошие уловы. Доложил об этом на промсовете. И за свою инициативу получил выговор от начальника экспедиции! А через день руководство океанрыбфлота спохватилось, перевело на глубоководный лов все суда экспедиции. Однако неделя промыслового времени была потеряна.

В управлении океанрыбфлота имеет место недоверие к опыту и знаниям нижестоящих работников. Такой подход к делу не способствует развитию творческой активности людей, делает их лишь безропотными исполнителями. Пример с капитанами очень тут к месту.

Были в экспедиции и другие примеры. Когда суда перешли на глубоководный лов и начали добывать лемонему, обнаружилось, что в экипажах не хватает по десяти обработчиков. Подчеркиваю: на каждом судне.

Дело в том, что экспедиция готовилась ловить скумбрию. А эту рыбу не раздывают, она полностью идет на морозку. Естественно, в этом случае требуется меньшее количество людей. Вот число обра-

ботчиков и сократили. Хотя опыт прошлого года говорил о том, что флот пришлось перемещать на глубоководный лов. Видимо, можно было предусмотреть подобную ситуацию и в нынешней экспедиции.

Изменились условия промысла, изменилась и технология выпуска готовой продукции. Срочно потребовались недостающие обработчики. Об этом капитаны заявили на очередном промсовете. Начальник океанрыбфлота ответил: «В декабре людей посылать не будем». Потом уже мне объяснили, что в конце года надо экономить заработную плату.

Что ж, экономия — дело святое. Если она настоящая и за ней стоят строгие экономические расчеты.

Но была ли в этом случае такая необходимость?

Мы уже говорили, что качество спинки из лимонемы — дело чрезвычайно хрупкое. В заводе к этому делу нужно внимание и еще раз внимание. А тут не хватает по десяти обработчиков на судно. Где взять лишние руки, глаза, опыт, наконец? На судах прибегали к испытанному средству: организовали подвахты. Но подвахта — это люди, которые уже отстояли вахты в машине, на штурманском мостике и в других заведениях. Глаза уже не те, руки усталые. Можно ли тут всерьез говорить о высоком качестве? И, если после рейса будут забраковки и, согласно «Положению» экипаж лишится 50 процентов премии — справедливо ли это будет? Кого накажут? Подвахту? Людей, кто, честно отработав на своем рабочем месте, по доброй воле шел в завод, чтобы не снижать производительности труда. Почему они из собственного кармана должны платить за просчеты руководства?

Это о качестве. А теперь о количестве, без чего тоже не мыслится проблема повышения эффективности производства.

Без недостающих обработчиков бригада в заводе могла работать лишь на двух ма-

шинках. В сутки максимально выходило пятнадцать тонн спинки. Третья машинка дала бы еще семь тонн. Но она бездействовала — не хватало людей. Таким образом, каждое судно в декабре могло выпустить дополнительно по 210 тонн спинки лимонемы. А продукция эта — дорогая, каждый центнер ее дает управлению океанрыбфлота 130 рублей. Значит, экипаж каждого судна недобрал в декабре товарной продукции высокого качества на сумму 273 тысячи рублей. Общий итог (в экспедиции работало семь судов) выливается в кругленькую сумму: 1900 тысяч рублей.

Таковы потери. А выигрыш? В отделе нормирования труда и заработной платы океанрыбфлота мне сообщили следующее. В прошлом году на сокращении числа обработчиков в экспедиции (она длилась пять месяцев) управление сэкономило на заработной плате семьдесят тысяч рублей.

Вот наглядный пример подмены экономического предвидения погоней за сиюминутной выгодой. Еще удивительнее то, что в управлении призывали суда экспедиции сокращать и без того минимальный выпуск спинки лимонемы — ценной пищевой продукции, пользующейся спросом у населения. В управлении пропагандировали так называемый опыт экипажа БМРТ «Мыс Орехова», который выпускал ежесуточно по десять тонн спинки и тридцать тонн неразделенной мороженой лимонемы.

Морозь ее сколько угодно, рекламаций ниоткуда не поступит. И вот в этом, мне кажется, заключается один из ответов на недоуменные вопросы. Это — боязнь работников управления работать на качество, учиться качеству. Высокое качество — это и высокая ответственность. Но, видимо, не каждый хочет брать ее на себя. Зачем хлопотать, когда можно спокойно отсидеться за так часто выручавшем их валом, количеством?

Но экономика никогда и никому не прощала вольного обращения с собой.

ВРЕМЯ ПОИСКОВ, ОТКРЫТИЙ И ТРЕВОГ

Его работы в настоящее время находятся в краеведческих музеях Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Ленинграда, Петрозаводска, Иркутска и других городов. В Николаевском-на-Амуре краеведческом музее сохранились удивительные произведения искусства, созданные природой и человеком, — голубая чайка, черный аист, белый лебедь, орлан серохвостый и другие представители животного мира Дальнего Востока. Все они добыты и исполнены препаратором Анатолием Григорьевичем Кузнецовым. Было это более сорока лет назад во время его совместной работы с дальневосточным краеведом В. Е. Розовым в Тугуро-Чумиканском районе. Тогда же в поселке Тугур, на культбазе, где оба они изучали природные богатства, флору и фауну района, ими был создан краеведческий музей. О нем газета «Правда» 17 октября 1934 года писала: «В стойбище Тугур, Чумиканского района, заканчивается строительство образцовой культбазы. Уже построена больница на 65 коек, школа-интернат на 40 человек, школьные мастерские, баня-прачечная и пекарня.

Недавно здесь открылся естественноисторический музей. В сборе экспонатов для музея участвовало само население. Тунгусы охотники приносили в музей чучела и туши промыслового зверя».

В 1946 году этот музей был перевезен в Николаевск-на-Амуре. В музее, от его директора В. И. Юзефова, я и узнал о существовании трехсот дневников В. Е. Розова. Прочитав эти удивительные документы человеческой души, я опубликовал их в Хабаровском книжном издательстве, в газете «Комсомольская правда» и получил со всех уголков нашей страны десятки писем. Узнав о Розове, наши современники полюбили его за преданность делу и уважение к людям.

В дневниках В. Е. Розова говорилось о работе препаратора АнГри. Так Василий Евгеньевич называл А. Г. Кузнецова. По дневниковым записям чувствовалось, что он тоже самобытная, оригинальная личность. После долгих поисков мне удалось выяснить, что в Москве живет жена Анатолия Григорьевича — Анна Васильевна Кузнецова.

Дождавшись очередного отпуска, лечу в Москву.

Небольшая московская квартира чем-то напоминала рабочий кабинет препаратора — на стенах, стеллаже, столиках чучела дальневосточных птиц, дарственные книги известных исследователей. Все это Анна Васильевна бережно хранит.

Она показала мне папку пожелтевших документов. Из них я узнал, что А. Г. Кузнецов родился в 1882 году в деревне Амбариха Ветлужского уезда Костромской губернии (ныне Горьковская область и Ветлужский район) в многодетной семье крестьянина. В восемь лет он пошел «мальчиком» к купцу, работал сперва лишь «за харчи», при своей одежде и обуви. По истечении трех лет стал получать по три рубля в месяц, а в двадцать один год получал пятнадцать рублей. Отслужив в армии, вернулся к отцу в деревню. Отец был страстный охотник и неплохо делал «чучела» птиц и зверьков.

Работая в Ветлуге, Анатолий Григорьевич познакомился с бухгалтером из Владивостока. Тот много рассказывал ему о Дальнем Востоке, позднее они переписывались. И вот в 1906 году, собрав полсотни рублей, Анатолий поехал во Владивосток. Денег ему хватило до Читы, там пришлось остановиться и подработать. Но до Владивостока он добрался и поступил на спичечную фабрику на разъезде Седанка.

В свободное время Кузнецов охотился, делал «чучела» и дарил их друзьям. Изготовленное им чучело щитомордника он отдал во Владивостокский музей. Работа эта привлекла внимание руководства музея Общества изучения Амурского края, и весной 1910 года Кузнецова пригласили на работу с условием, что перед этим он должен поехать в экспедицию на Камчатку.

С того года и началась почти десятилетняя дружба Анатолия Григорьевича с сыном Ивана Дмитриевича Черского — Александром Ивановичем. О последнем дальневосточники знают до обидного мало. Старейший зоолог Дальнего Востока, профессор Алексей Иванович Куренцов в 1951 году писал А. Г. Кузнецову:

«Я уверен, что никто, кроме Вас, не даст



А. Г. Кузнецов

такого исчерпывающего материала о покойном Александре Ивановиче... Преподаватель Иркутского университета Гранина... собирается писать книгу о Вашей работе, как натуралиста. Вот в той книге, при оценке всей Вашей научной деятельности, можно и коснуться многих сторон о Черском, с которым Вы провели лучшие годы, изучая природу Уссурийского края. Я очень хотел бы, чтобы книги о Черском, а затем о Вас, были бы... Не будь я завален так страшно работой, как сейчас... я с большим удовольствием бы засел сам писать книгу о Вас и Черском. Уж очень много у Вас с ним было всяких интересных путешествий и замечательных находок».

В Москве от А. В. Кузнецовой я узнал, что в Ангарске живет сын Анатолия Григорьевича. У него «должен быть» дневник Кузнецова о его работе с А. И. Черским.

Из Москвы лечу в Ангарск. Предположение оправдалось: у Григория Анатольевича — сына А. Г. Кузнецова — я обнаружил редкие фотографии ученых Дальнего Востока и упомянутый выше дневник.

Привожу с небольшими сокращениями те записи, где речь идет о работе Кузнецова с Александром Ивановичем Черским.

«Итак, в мае 1910 года меня пригласили в музей города Владивостока. Пришел в музей. Хранитель музея Черский А. И. сказал:

— Если хочешь работать, надо съездить в экспедицию на Камчатку. После экспедиции примем на должность препаратора-коллектора.

Я согласился. Назавтра снова пришел в музей. Меня повели к генерал-майору

Жданко, начальнику гидрографического управления. Когда пришли, генерал спросил:

— Желаете ехать в экспедицию на Камчатку?

— Желаю.

— А качки не боитесь?

— Не испытывал качки...

— Тогда распишитесь, — и протянул мне несколько скрепленных листов. Там было написано, что я нанимаюсь в качестве матроса в гидрографическую экспедицию Восточного океана на траулер «Охотск». Жалование в месяц — 20 рублей и 15 рублей столовых, при своей одежде и обуви. Обязан носить военную форму. Подчиняться боцману и всем офицерам, в противном случае имеют право высадить меня на берег в любом месте за всякоеслушание.

Прочитал и — струсил... «Строго. Качка».

Федор Альбертович Дербек посмотрел на меня и понял, что меня терзают сомнения. Улыбаясь, подтолкнул.

— Не бойся, подписывайся!

И я подписался. Меня опять отвели в музей. Там около месяца под руководством А. И. Черского учился стрелять птиц и снимать с них шкурки, ходил в экспедиции. Александр Иванович научил меня собирать и сушить гербарий, консервировать различных животных в спирту и формалине. Успехи приходили быстро: Александр Иванович был хорошим учителем, и у меня было большое желание научиться.

После практики в музее я пошел на пароход «Охотск», предварительно купив на базаре военную форму.

На пароходе сначала я драил палубу, красил, стоял вахту — больше походил на «пароходного санитаря».

Пришло время, и мы вышли в пробный рейс — опробовать машину в Амурском заливе. В заливе был небольшой ветер, мертвая зыбь. И там меня укачало... Когда возвращались в порт, меня вызвал к себе генерал.

— Ты, что — трус?

А я еле на ногах стою.

— Не боюсь... меня укачало.

— Ну-ну... я посмотрю, как ты не боишься.

На другой день мы пошли до Камчатки через Де-Кастри, Амурский лиман, а оттуда — на Сахалин, в залив Чанво, где началась разработка нефти, копался первый колодец — еще до разработки охинского месторождения. Там собирал я гербарий, птиц добывал, офицеры ставили створные знаки.

Во время стоянки мы ходили осматривать «нефтяное озеро» с зеркальной поверхностью, где вместо воды была нефть. На озере сидело много птиц, однажды сели и — не смогли подняться, не смогли оторваться от смолы. Если погрузить в озеро палку — не вытащишь. Доктор Дербек говорил, что такого явления нет нигде в мире. Мы с ним долго ходили по берегам,

добыли кулика, кряковых, гагар, поганок. Интересно, что поганка плавала на озере, а на спине у нее катался небольшой птенец, как на щепке. Во время опасности она взяла птенца под крыло. Когда мы ее убили, то под крылом обнаружили птенца — все это хранится в музее города Владивостока.

В заливе было много китов. С берега одновременно видели по 10—12 фонтанов. Стреляли в них жаканами. Для них это — комариный укус.

Из залива Чанво мы пошли в Пильво. В те дни я работал левой рукой, так как правую укусила змея ядовитая... В Пильво собрали гербарий, 20 шкурок птиц и более десяти змей, которые клубками до 300 штук встречались под утесом у моря. Сколько там шипения и шума было!

Потом отправились в Эренгейскую губу, Охотск, Николаевск. Во многих местах работала береговая команда — делали промеры и ставили створные знаки. Мы развозили им продукты.

Для меня на транспорте были созданы все условия, даже выделили отдельную комнату, где я обрабатывал добытый материал. Бывало, зайдет Жданко, поздороуется и спросит:

— Что делаешь, душегуб? На что жалуешься? — Михаил Акимович пристально следил за моими самостоятельными шагами.

Через несколько дней пошли к Курильской гряде. Стояли в Авачинской губе — красота неопишная.

Тяжелым был путь обратно во Владивосток. Когда мы прошли Курильскую гряду и вышли в Охотское море, тут-то нас море и давай трепать. Весь день трепало. Я не мог себе найти места. Всю ночь трепало, а наутро еще хуже стало. Наш траулер бросало, как щепку в корыте. К обеду так разыгралась погода, что генерал уже в кубрике служил молебн о спасении команды. Служил как священник. Всей команде было объявлено: на всякий случай каждый должен стоять у своего места, зря не делать ни одного шагу. А погода настолько ухудшилась, что по палубе нельзя было пройти. Протянули веревку. Волна залетала на капитанский мостик. Дербек без конца бегал, не вынимая изо рта папиросу... Генерал — выглядит и спрячется. Капитан и помощник были привязаны. Траулер сильно зарывался в набегающие водяные горы, находился почти все время под водой. Море превратилось в пену, винт работал с перебоями. Крен судна — 41—42 градуса. Меня начало рвать кровью и желчью...

На третий день в верхнем кубрике, у машинной команды, разбило одиннадцать коек, ночью сдвинуло с места машину, паропровод дал течь в нескольких местах от сильных ударов носовой частью. Нас отнесло на 70 миль назад, порой «ложилось» до 45 градусов.

Трепало полные трое суток. На пароходе был матрос-рыбак. Он плавал без перерыва

уже 30 лет, бывал во всех морях и за 30 лет нигде не испытывал такой трепки, как задало Охотское море нашему пароходу в 1910 году. На третий день я уже не думал о жизни. В голове была единственная мысль: будем тонуть — поглубже надо нырнуть, чтобы сразу захлебнуться... Только на пятый день море успокоилось и устало покачивало обессиленный траулер и нас.

Во Владивосток пришли в конце сентября. На следующий день я упросил капитана, чтобы он меня рассчитал. Я взял вещи и пошел в музей. Немного отошел от парохода и вижу — идет Жданко.

— Это что? Далеко с вещами?

— В музей, Ваше превосходительство.

— Что, у меня тебе плохо? Мало плачу?

— Нет, не мало...

— Кто рассчитал?

— Капитан, Ваше превосходительство.

Он резко повернулся и зашагал в порт. Мне позже рассказывали, что он пришел и сразу — к капитану. И давай его «калить»: «Какое имел право рассчитывать Кузнецова? Я сам его принимал!..»

А я пришел в музей и встретился с консерватором музея Александром Ивановичем Черским.

— Из экспедиции вернулся и, как мы договорились, пришел к Вам.

— Ну, хорошо, оставайтесь, — ответил Александр Иванович.

Вещи положил в лабораторию. Спал больше месяца на столах. Доктор Дербек приходил в музей, и мы там с радостью и волнением обрабатывали привезенные из экспедиции материалы.

Когда была закончена работа с Дербком, я начал работать в музее Общества изучения Амурского края. Первую работу мне дал консерватор музея А. И. Черский — отпрепарировать и набить шкуру акулы пудов на шесть. Во время этой работы в музей пришел генерал Жданко. Увидев меня за работой, сказал:

— Ну, вот! Приятно видеть после испытания — за работой. Теперь будешь иметь кусок хлеба. Хорошая работа. — И, повернувшись к Александру Ивановичу, добавил: — Александр Иванович, теперь и Вы с работником. Кузнецов старательный работник...

С той поры мне во многих экспедициях пришлось быть с Александром Ивановичем в качестве коллектора-препаратора. За зиму 1911 года я много собрал шкурок, сделал чуел и выставил в музей.

Александр Иванович много рассказывал мне о жизни птиц. Когда мы ездили на экскурсии, он знакомил меня с породами деревьев, часто водил на базар и там знакомил с разной рыбой и битой птицей. На базаре Владивостока всегда можно было встретить рябчиков, фазанов, копыт, орлов, серых куропаток и много другой птицы. Так прошла зима в работе и учении.

В марте 1911 года мы собрались с Александром Ивановичем в экспедицию в рай-

он Спасского, по Анучинскому тракту. Перед этим приобрели ружья, порох, дробь и все необходимые для работы снаряжения. У меня было разрешение на трехлинейку, на револьвер «браунинг» и на дробовое ружье, а также винчестер. Состав экспедиции был таков: Александр Иванович, его жена Мария Николаевна и я. Гимназист восьмого класса подъехал к нам летом.

При отправке, на вокзале, мы были одеты по-таежному — патронташ, рюкзак и финский нож. Стояли на перроне. Вдруг подходит жандарм и берется за мой нож:

— Дай разрешение на этот нож!

— На этот нож не дают разрешения, он просто продается в магазине...

— Ты мне давай разрешение на нож! — Жандарм сверлил меня глазами.

В это время «ударил» два звонка.

Я, увидев Александра Ивановича, позвал его к себе. Он подошел и предъявил бумаги от Общества изучения Амурского края, где было сказано, чтобы ему оказывали полное содействие в экскурсии. Жандарм все отклонил.

— Дай разрешение на нож! — Он устал был на Александра Ивановича.

Я рванул нож, оборвал мочку у ремня и подал его жандарму. Он взял, повертел в руках.

— Скажешь, что я с тебя сорвал...

— Ничего не скажу. Просто мне нельзя отставать от большого багажа.

Мы вошли в вагон с Александром Ивановичем. Дали третий звонок. Поезд тронулся. Пьяный жандарм улыбался...

По приезде на место экспедиции Александр Иванович написал об истории с ножом казначею Общества Соловьеву.

...Прибыли в тайгу. Грело весеннее солнце. Временами хорошо припекало. Овсянки уже пели свою обычную песню. Часами можно слушать их нехитрую песню. На южном склоне гор часто встречались рябчики со своими песнями на весенних играх. Я не только рябчиков стрелял, но и отбирал их у каниюков. Однажды убил каниюка и отобрал у него искусно оципанного рябчика — готового к снятию шкурки, так и человек не сделает...

Хотя солнце грело хорошо, но в лесу лежал снег. А утром образовывалась корка. Ходить было хорошо, как по полу. Районы по сбору птиц у нас были определены: я всегда ходил в верховье реки Одарки, а Александр Иванович — параллельно Анучинскому тракту.

Мы брали хорошие сборы. В половине апреля, утром, после семи часов (в семь часов делали метеорологические наблюдения), когда Александр Иванович отошел версты две от нашего стана и успел выстрелить два раза по нужным нам птицам, он увидел ехавшую по тракту телегу. Вдруг она остановилась, и сидевший на ней мужик грозно крикнул:

— Эй, ты! Иди сюда!

Черский опешил: что такое? Кто распоряжается?

— Ты сам иди сюда! — ответил он и взял ружье на изготовку.

— Иди сюда, — попросил мужчина. — Я везу убитых...

— Что такое?

— Я убитых везу...

Александр Иванович взял ружье на плечо и пошел к телеге.

Подойдя к телеге, он увидел одного мужика мертвого, другого — полуживого.

— Что случилось? — спросил Александр Иванович.

— Ты убил их! — прокричал мужик в ответ.

— Ты где их взял?

— На дороге подобрал...

— Пошли со мной! — сказал Черский. — Быстрее, в деревню.

Когда при содействии Александра Ивановича мужики были отправлены в Спасск, все рассказал раненый — и умер.

А произошло вот что.

В Спасске, в чайной сидели два ходока-украинца. Они приехали изыскивать хорошие уголья для жилья. Сидели и пили чай. Там их заметил какой-то человек. Когда ходоки пошли по Анучинскому тракту, он догнал их. За плечом у него была берданка. Шли вместе, разговаривали. Пришли в деревню Одарку. Переночевали все вместе. Рано утром ходоки пошли по тракту. Пройдя версту лесом, их догнал этот человек и, обогнав их, сел у дороги, закурил. Когда ходоки поравнялись, он выстрелил одному в спину, тот упал мертвым. Второй упал на колени и крикнул: «Возьми все, не стреляй!» Но убийца сделал и второй выстрел. Убийца обыскал их, нашел 13 рублей и больше ничего не нашел. Хотя в портянке у раненого было 500 рублей. Убийца скрылся.

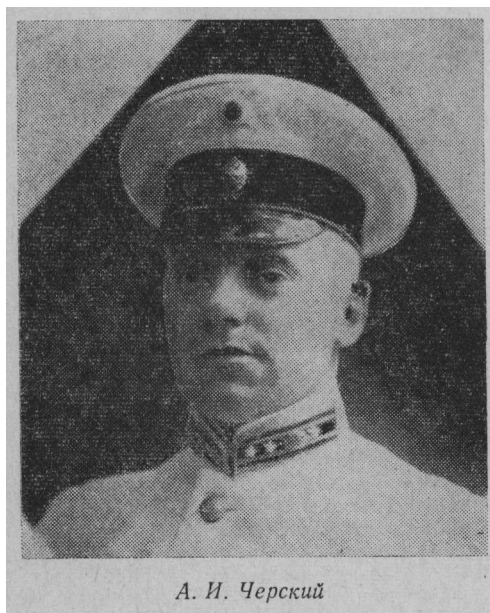
Придя в стан, Александр Иванович был настолько потрясен, что со слезами на глазах повторял:

— Какая жестокость... Какое совпадение... А если бы раненый в предсмертных судорогах сказал, что я убийца?!

После этого случая мы все время ходили в экскурсии вдвоем.

Работа шла дружно. Появились бабочки и много цветов. Сборы цветов мы поручили Марии Николаевне Черской. Вскоре вскрылись ручьи. Я ловил на еду рыбу, собирал листоедов, жуков, птиц. Все шло хорошо.

Александр Иванович Черский был человек очень веселый и большой шутник. Я его любил крепко, и мы очень подходили друг другу. Любил я его и как ученого, и как человека, который мне на жизнь открыл глаза. Он меня убедил навсегда бросить торговую специальность, которой я еще с малых лет учился. Этот человек для меня повернул мир. Мое сердце никогда не забудет его. Так уже получилось: и он и я лучшие годы своей жизни прожили вместе, то было время поисков, открытий, радостей и совместных тревог. Часто о нем вспоминаю с радостью и болью в груди.



А. И. Черский

...Летом к нам приехал гимназист. Он занимался энтомологическими сборами. В нашем лагере стало еще веселее.

Особенно в ясные дни было много жуков, и мы ходили их собирать. В плохую погоду ловили рыбу. Лучшие экземпляры консервировали. После рыбной ловли я снова отправился за птицами. За некоторыми птицами приходилось ходить неделями. Особенно трудно было охотиться за мелкими птицами, но я их все же добывал. Наша коллекция быстро пополнялась.

Но однажды заметил небывалое: в тайге немного пройду — устал, отдохну, снова пройду немного — жар... Вернулся домой вечером. Говорю об этом Александру Ивановичу. Он смерил температуру — 39 градусов.

— У тебя брюшной тиф, — сказал Александр Иванович.

Он меня отвез в Спасск. Две недели я там пролежал. Так истосковался по тайге, работе, людям экспедиции, что нескладно обрадовался, когда увидел однажды в больнице Александра Ивановича.

Из больницы мы шли с ним пешком верст пять. Я шел шатаюсь. Александр Иванович вел меня под руку и рассказывал таежные новости. Для меня крайне было интересно каждое слово, и я жадно слушал.

Придя в стан, я пожаловался Марии Николаевне:

— Чуть не умер в больнице с голоду, ничего не давали...

— Теперь поправляйся у нас, — улыбаясь, ответила она.

Александр Иванович, глядя на мой голодный взор, сказал Марии Николаевне:

— Только — бульон без мяса и кисель, немного хлеба.

И заставил еще пять дней отлеживаться. Тяжело было мне, детине, сидеть на компоте и киселе! Зато после выздоровления я все наверстал.

Когда закончили работу, мы с гордостью возвращались во Владивосток, в музей. У нас было около 7 тысяч экземпляров гербария, 340 птиц, 16 тысяч жуков, много рыб, грызунов, пресмыкающихся. Такую работу никогда нельзя забыть.

Зимой 1912 года генерал Жданко попросил меня подыскать препаратора и обучить его. Я всю зиму учил его работать. Были и на охоте в окрестностях Владивостока, по заданию Александра Ивановича. Он в это время уехал в командировку в Академию наук.

Весь 1912 год мы работали одни, по программе Черского. Я учил искусству препарировать врача и фельдшера с полярных судов «Таймыр» и «Вайгач». Они меня звали в кругосветное путешествие в должности препаратора-коллектора, но я отказался, ожидая возвращения Александра Ивановича. Я не мог поступить иначе в отношении к нему. Он был мой научный отец, и свой сыновний долг до конца жизни я старался исправно нести. Без него я не мыслил своей работы.

В том же году ко мне приехала моя невеста, на которой я женился. С приездом ее дружба у нас с Александром Ивановичем и его женой стала еще крепче. Без нас они редко садились за стол, и мы — без них. У нас они бывали каждый день. Жили мы как одна семья, всегда и всем делились. Они были люди с простой и очень доброй душой. Таких никогда не забудешь.

Что нас объединяло с Александром Ивановичем? Я близок был к нему своим беспрекословным трудом в экспедициях, в таежной и другой жизни. Я так же, как и он, любил свято и преданно природу, бродячую жизнь, поиски открытий. Для меня работа с ним приносила столько же радости и удовлетворения, как ему, когда он работал в экспедициях с Иваном Дементьевичем Черским. Мы оба любили музейное дело.

Весной 1913 года мы поехали в разведку на Тумень-Улу, а после, собрав два невода и лодки, добрались до первой деревни у озера Хасан. Так начались наши экскурсии. Посетили озеро Ханку. Там стреляли птиц, неводили рыбу.

Как-то во время сильного ветра прихожу на берег озера. Слышу крик Александра Ивановича. Смотрю, за плавучим островом Черский бродит... в воде. Я быстро сел в лодку-долбленку и поехал к нему. Подъезжаю. Он по грудь стоит в воде и над головой держит ружье. Кричит мне: «Скорей, скорей!» Когда ближе подъехал — от ужаса обалдел: Черский в новой лодке затонул. Ее волной залило. Лодка затонула и стала на ил. Он весло воткнул в ил и стоял в лодке неподвижно не менее получаса. Подъехал я к нему, он влез ко мне в лодку, и его затонувшая лодка всплы-

ла. Хорошо, что я подоспел. Александр Иванович мог бы утонуть, так как до берега было далеко — в обуви и одежде не доплыть, а если бы он из лодки выскочил — застрял бы в иле. Он говорил, что решил стоять в лодке до вечера и не шевелиться.

После этого случая Александр Иванович часто вспоминал:

— А помнишь, ты меня спас...

Однажды во время обхода озера я встретил змею этак в три четверти аршина. Хотел поймать, но она быстро уползла в воду и нырнула. Я удивился: первый раз такое вижу, чтоб змея удирала в воду! А она вылезла на берег, свернулась и лежит. Я к ней — она в воду и долго не выходила из воды. Встретил другую змею и та удрала в воду, не успев схватить. Нырять, как рыба, и быстро плывет под водой, потом голову выставит из воды и смотрит... Я понял: надо осторожнее подходить. Встретил еще две змеи. Когда они бросились к воде, я их опередил и сразу — двоих в мешочек. Принес, показываю Александру Ивановичу. Он сказал, что это японский уж, он любит воду.

И с этой экспедиции мы вернулись с большой добычей. Одно отравляло работу — склоки, издевки Крылова. Мне он не мог простить, что я в экспедицию пошел не с ним, а с Александром Ивановичем. Мало того, он начал скандалить каждый день с Черским.

...Обстановка в музее была тяжелая. Дело зашло так далеко, что из музея решили уйти Солдатов, Павленко и Виттенбург. Черский упорно, отбросив все, сидел за определением материала. Мария Николаевна помогала наклеивать гербарии в папки. Не ценили этого труда только некоторые люди в Комитете, как и всю работу замечательного ученого — Александра Ивановича Черского. И только после смерти, после двадцатого года, оценили.

...Потом мы с Александром Ивановичем на шхуне «Сторож» отправились в залив Петра Великого. Обошли все острова, собрали гербарий, добыли много птиц и по возвращению во Владивосток начали готовиться во второй раз идти на озеро Ханку. На озере мы ловили рыб, черепах, ежей. Особенно часто их приносил Черский, а я препарировал.

Черский был человек исключительно честный, справедливый и терпеть не мог воров и пьяниц. За все годы работы с ним я никогда не видел, чтобы он поступал несправедливо или разрешал другим творить несправедливости.

Несколько раз мы были в экскурсиях на реке Седанка, где ловили рыбу, мелких птиц, насекомых и собирали гербарии.

В декабре 1916 года я ушел добровольцем на «германскую». Сначала учили нас в Канске, а в 1917 году отправили в Румынию, где я сильно простыл и был отправлен в Кременчуг на излечение. Там

меня комиссия освободила от службы, и я вернулся во Владивосток.

По возвращении работал с геологом П. В. Виттенбургом до октября 1918 года, а в октябре выехал на обследование крабовых промыслов в Татарский пролив. В это время я, по совету А. И. Черского, П. В. Виттенбурга, М. Н. Павленко, В. К. Солдатова, ушел из музея в «Дальрыбу». Они все ушли из-за Крылова, а я понял, что не смогу без них работать. Все мы теперь работали в научном отделе «Дальрыбы».

В это время на Командорских островах инцидент у инспектора по надзору за промысловыми животными произошел с алеутами-кулаками. Управление «Дальрыбы» попросило Черского, чтобы он поехал на Командоры и уладил инцидент. Александр Иванович согласился.

И вот мы... поехали — Александр Иванович Черский, Николай Николаевич Павленко и от «Дальрыбы» — Константин Ильич Воронов. Ехали через порт Хокодате... Александр Иванович на пароходе всех веселил, никто с ним не унывал. Было это в 1919 году. В Петропавловске распростились с А. И. Черским. Он поехал на Командоры, а мы — в Усть-Камчатск.

В этой экспедиции умер Николай Николаевич Павленко. Мне приходилось работать и с его братом — Михаилом Николаевичем. Хорошие были люди, хорошие ихтиологи.

Из экспедиции я привез рыбные коллекции, около ста шкурок птиц, более двадцати чучел, среди которых был и глупыш. Это из породы буреvestниковых.

А. И. Черский застрял на Командорских островах, и неизвестно было никому, в каких условиях он там жил.

И вот уже зима прошла, наступила весна 1920 года. Я снова еду в Усть-Камчатск на том же «Командоре Беринге», чтобы узнать о судьбе Черского. Капитаном был назначен штурман дальнего плавания Григорий Амосович Ивлев (капитан парохода как раз ушел в отпуск).

Стоянка в японском порту (Хокодате) продолжалась несколько дней. Много куплено керосину, и ящики с керосином были поставлены на борт. Кроме того, на борт приняли шведскую экспедицию, которая ехала в Петропавловск-на-Камчатке на три года. Экспедиция состояла из шести человек, в том числе — две женщины. Возглавлял экспедицию известный орнитолог — Берман. В пути мы познакомились и ехали весело и дружно.

...Нас окружала темная ночь, когда подходили к Курильским островам. Я вышел на палубу и услышал, что за лучом нашего парохода летит много каких-то птиц. Я сообразил, что на них можно поохотиться. Пошел в кают-компанию и стал приглашать на «научную охоту» Бермана:

— Пойдемте стрелять птиц без ружья.

— Вы надо мной смеетесь, — как можно без ружья охотиться?

— Будем бить бамбуком...

Долго уговаривал. Наконец он и препаратор Малеса вышли на палубу. Я залез на рубку, они неохотно последовали за мной: думали, что я шучу. Я взял бамбуковый шест в руки и поставил его перед собой между ног.

— Слышите крик птиц, они летят за нашим пароходом, вот их-то мы и будем бить.

Я начал резко махать шестом, не срывая его с места, и скоро ударил одну птицу. Она упала за борт... Ударил еще, и птица упала на палубу. Потом еще, еще... Собрал птиц, и все вместе пошли в кают-компанию, где приступили к съемке шкурок. Две птицы я отдал шведам, две оставил себе. Я снял и очистил обоих, а швед-препаратор только первую. Их крайне удивило, что я так быстро обработал птиц. После обработки я успел напиться чаю и смотрел, как они работали. Мы еще вышли на палубу и слышали, как птицы летали. После все пошли по каютам и легли спать.

В 7 часов утра я услышал сквозь сон оружейный выстрел и сразу проснулся. Раздался второй выстрел... Я с койки вскочил и бросился на палубу. Вслед за мной бежали остальные, тоже полураздетые. На палубе все бегают, суетятся, а в чем дело не можем понять. Вижу — меряют глубину с левого борта. Глубина — 8 футов, меряют с правого борта — 29 футов... Машина дает полный назад и — ни с места. Это повторялось несколько раз, но результат тот же — мы сидим на месте.

Когда мы оделись и вышли на палубу, трюм уже был полон воды. Мы бросились за вещами. Вынесли их на палубу, пароход дал сильный крен на правый борт. Я спустился в каюту, вынес все матрасы... каюты заполняла вода, разрушив все перегородки. Все ломалось, трещало. Пароход, полный груза, подымало и ударяло дном о скалу... Жутко это было слышать... Удары все усиливались. Уже заливают с кормы палубу. С носа, с спардеку, палуба была суха. И тут — как сейчас вижу эту картину перед глазами — на палубу выскочил матрос и давай плясать, судорожно размахивая руками.

А берег от нас — в двух километрах, то покажется из тумана, то скроется. После того, как мы попытались стащить пароход с помощью лебедки, и ничего из этого не получилось, поняли: с полного хода налетели на подводную скалу, сели основательно и навсегда.

Старый опытный капитан этим курсом ходил, но во время прилива, а наш капитан шел во время отлива. В этом была его ошибка. Когда он понял, что налетел на скалу, дал команду палить с носового орудия, чтобы сигнал бедствия услышала японская шхуна, но японцы испугались и ушли полным ходом. Помощи неоткуда было ожидать. Решили сами выбираться на берег: капитан дал нам моторную лодку. Мы погрузили оружие, хлеб, часть постельных принадлежностей... мотористов,

меня и двух шведских женщин капитан отправил первым рейсом на берег¹.

К самому берегу подойти на лодке невозможно, так как бил сильный прибой, а весь берег был в крутых валунах. Решили до берега добираться вплавь. Я первый прыгнул за борт. Волна сшибла меня с ног и выбросила на берег. Потом я несколько раз заходил в воду по грудь, женщины бросали мне оружие, хлеб, вещи, затем и сами по очереди стали прыгать в воду. Я их поддерживал, но через несколько шагов нас повалила налетевшая волна и катом, друг через дружку, выбросила на берег.

К обеду остальные члены экспедиции и вся команда парохода таким же образом высадились на берег. Последним покинул тонущий пароход — наш бедный и полунемой капитан. На берег из разбитого трюма выбросило много мешков муки, чаю и многое другое. У парохода из воды торчал один нос с орудием. Через несколько дней пароход перевернулся и исчез под водой.

На берегу мы раскинули палатки и прожили в них восемнадцать суток. Погода была плохая — все время лил дождь, стоял густой туман. И в палатках, и в ящиках все было мокрое, к тому же продукты кончились. Мы охотились, удил камбалу на соленую кету. Камбалы так много, что однажды за два часа мы наловили почти поллодки.

На мысе Лопатка мы убивали и тарбаганов, которых в первый раз в жизни встретил. Этот странный зверек напугал меня во время охоты: свистит так громко, как человек.

Потом послали моторную лодку в Петропавловск с просьбой оказать помощь. На пути встретилось японское грузовое судно. Узнав о гибели «Командор Беринг», они сообщили на японский крейсер. Послали к нам два миноносца, так как в этот период в водах Камчатки хозяйничали японские военные суда.

На миноносцах наша и шведская экспедиции были вывезены в Петропавловск-на-Камчатке. Оттуда мы добрались до Усть-Камчатска, где до осени обследовали реку Камчатку и ее устья до реки Яловки. Так я и не добрался до Командорских островов. О судьбе А. И. Черского никто ничего не знал».

На этом записи А. Г. Кузнецова обрываются. Очевидно, кто-то вырвал последние странички дневника... Те самые, где шел рассказ о последних годах жизни и причинах смерти А. И. Черского. На этот счет всякого рода догадок и домыслов было хоть отбавляй. Но не может быть, чтобы А. Г. Кузнецов никому не рассказывал о своей поездке на Командорские острова,

¹ Это была южная оконечность Камчатского полуострова — мыс Лопатка. Прим. автора.

где он узнал о смерти Черского и привез корзину документов и предсмертное письмо.

Возвратившись из Ангарска в Иркутск, я зашел в университет. А. Г. Кузнецов работал там после отъезда с Дальнего Востока до последних дней жизни — до 1957 года.

Профессор университета Александра Никифоровна Гранина рассказывала мне о нем:

— Анатолий Григорьевич часто повторял: «Все лучшее в жизни я сделал, работая с А. И. Черским на Дальнем Востоке». Рассказывал о Александре Ивановиче... Его отец, Иван Деметьевич Черский, долгие годы работал в Иркутске.

— Почему Командоры стали последним районом исследований Черского-младшего?

— Весной 1919 года Черский был назначен директором Управления по охране промысла на островах. В его ведении находились острова Беринга и Медный. На острове Медный он решил зимовать. Кузнецов же вернулся в трест «Дальрыба». Во время гражданской войны связь с Командорскими островами практически прекратилась. И лишь в 1921 году на пароходе «Магнит» Кузнецов, обеспокоенный судьбой Черского, добрался до острова Медный. Здесь он узнал от местных жителей, что зимой 1921 года Черского не стало. По их словам, он принял яд.

— А какова судьба его предсмертного письма и дневников?

— Кузнецов сдал их в «Дальрыбу». С тех пор они как в воду канули.

Однажды, листая журнал «Рыбные и пушные богатства Дальнего Востока», я наткнулся на работу В. К. Арсеньева «Командорские острова в 1923 году». В ней несколько раз встречается имя А. И. Черского и есть ссылки на его дневниковые записи. Без сомнения, Арсеньев при подготовке статьи пользовался командорским архивом А. И. Черского. Читая статью Арсеньева, можно представить себе, в каких условиях работал там Александр Иванович Черский.

...Командорские острова — это крошечные Топорков и Алый Камень — царство птиц. И острова Беринга и Медный, где много песка, пушного зверя. На островах совсем нет леса, только жалкая поросль низкорослого ивняка и рябины, да высокие травы. Коренные жители — алеуты.

Командорские острова, открытые в 1741 году русской экспедицией под начальством Витуса Беринга, известны лежбищами морских бобров, котиков и голубых песцов. Песцов тут было так много, что спутникам командора Беринга буквально приходилось отбиваться от назойливых животных. Они то и дело врывались в землянки, вырывали у людей из рук пищу, кусали больных,отяжая жизнь и без того измученного экипажа.

Бессистемное ведение промыслового хозяйства, хищничество иностранных зверобоев к началу XX века привело командорские пушные промыслы в упадок.

За три года до своей последней поездки на острова Черский несколько раз побывал там, проводил наблюдения за морскими промысловыми животными, главным образом, за котиками, предпринимал меры для их охраны. Изучал он и биологию голубого песка. В 1919 году им опубликован труд «Командорский песец».

Прибыв на острова весной 1919 года, Александр Иванович продолжил свои исследования. Но серьезной научной работе постоянно мешали житейские неурядицы, бесконечные трудности. Особенно в отчаяние приводило его собственное бессилие, невозможность приостановить хищнический убой зверя. Алчные купцы-американцы и японцы торопились разворовывать богатства островов. Маленькие шхуны с запасом пресной воды и продовольствия одна за другой отправлялись в далекое плавание с риском потерять все из-за невозможности зайти в тот или иной залив, чтобы отстояться во время шторма. Шхуны дрейфовали в море, возле островов, а промысловики на шлюпках приходили на острова и беспощадно уничтожали зверя на лежбищах.

В делах Командорских островов имеется несколько актов об аресте японских хищников. Там же читаем донесения караулов о появлении каких-то людей, иногда с собаками. Зажиточная часть местных жителей — алеутов — имела связи с промысленниками-браконьерами. Убивая тайно зверя, алеуты при обнаружении следов хищничества приписывали эти случаи посторонним людям, якобы живущим на островах. Черский это знал, но был бессилен что-либо изменить.

У администрации, которую здесь представлял Черский, средств сухопутного передвижения не было. На приказ дать нарты для поездки промысленники-алеуты ссылались на плохую погоду, отсутствие корма для собак и необходимость самим привезти в селение добытую рыбу. А обход острова пешком ничего не давал. И так он жил почти два года — среди бушующего океана и полного беззакония. В условиях гражданской войны многочисленные донесения Черского об усилении хищничества оставались без последствий. Тайно добытая пушнина сбывалась промысловиками на пароходы, большей частью в обмен на спиртные напитки и старые вещи, а администрация островов могла лишь фиксировать эти противозаконные действия.

Особенно тяжелой выдалась последняя зима. Несмотря на трудности, продовольствие на острова в 1920 году было послано на трех судах. Два судна сдали груз по назначению — для жителей острова Беринга, а третий пароход «Яна» из-за штормовой погоды на остров Медный не мог прибыть и оставил восемьсот пудов муки и другие грузы на острове Беринга. На пути к Медному затонул и пароход «Командор Беринг».

Поэтому зимой 1921 года на острове

Медный разразился сильный голод. Рыбных продуктов здесь с осени заготовили мало. Штормовая погода не позволяла выезжать в море для рыбного промысла. Охоты на птиц не было из-за отсутствия охотничьих припасов.

Кулаки-алеуты, которые преследовали Александра Ивановича Черского еще с лета 1920 года, угрожали убить его, требовали припасов, спирта и денег. Но он ничего не имел, да и связи с большой землей у него не было. Не решаясь один выйти в море, Черский этой обстановки не выдержал... Об этом он и писал в своем предсмертном письме.

Так трагически оборвалась жизнь этого замечательного исследователя. Собственно, он явился еще одной жертвой иностранной интервенции на Дальнем Востоке. Оборвалась на этом и дружба двух интересных исследователей — А. И. Черского и А. Г. Кузнецова. Как много последний сделал для науки, свидетельствует анкета отдела кадров Иркутского университета, которую А. Г. Кузнецов заполнил в конце 1952 года.

«Какое имеете образование? — Образования не имею. Самоучка. Умею читать, писать по-русски и по латыни. Моими учителями были мой отец, А. И. Черский и книги, а главным образом — было огромное желание научиться читать и писать.

Участие в партизанском движении и подпольной работе? — Распространял листовки в 1907 году среди солдат 9-й артиллерийской бригады на станции Седанка у города Владивостока.

Какие имеете изобретения? — В 1925 году изобрел плужок для сбора грунтовых морских животных, который был применен взамен трала, драг и граблей Соловьева при экспедиционных работах в заливе Петра Великого.

Имеете ли научные открытия? — Да. Из неуказанных в прилагаемом списке литературы добыты мною, по определению ученых, новые виды: в 1911 году в тайге Анучинского тракта, добыт дровосек-розуля, в 1912 году у станции Седанка добыт дровосек дубовый и травяной клоп большого размера. По определению Мольтрехта, Черского и Дербека, признаны новыми видами. В 1918 году в Татарском проливе добыт краб, не имеющий промыслового значения. В 1920 году в Усть-Камчатске добыл две гагары с золотистой грудью. Были признаны новыми видами начальни-

ком шведской экспедиции орнитологом Берманом, который просил их у меня и обещал описать под моим именем, на что я ответил: «Я русский человек и этих гагар опишут русские ученые в родной литературе». Во Владивостоке, при сдаче гагар в Комитет Общества изучения Амурского края, они были признаны новым видом. В 1927 году добыта летучая мышь Ушан, самец, который оказался первым экземпляром в описании у профессора-зоолога Огнева, добыт на Шантарских островах.

Сколько лет работаете в научных учреждениях? — Работаю с 1910 года, трудовой стаж — 60 лет. С восьми лет начал работать у купца.

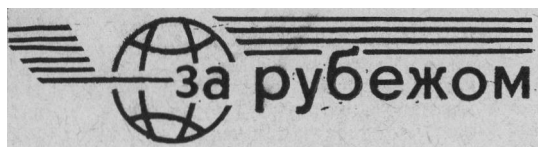
С кем из специалистов приходилось работать? — За период своей трудовой деятельности работал с такими учеными, как А. И. Черский, Ф. А. Дербек, А. К. Мольтрехт, В. К. Арсеньев, К. М. Дерюгин, С. В. Гард, П. В. Виттенбург, Г. У. Линдберг, П. И. Колтановский, Н. Н. Павленко, Н. М. Соловьев, П. Ю. Шмидт, В. Е. Розов, В. К. Солдатов, М. Н. Павленко, А. Н. Криштофович, И. Ф. Правдин, П. М. Правдин, С. У. Строганов, П. В. Носонов, А. П. Державин и др.»

А вот другой документ — отзыв академика В. А. Обручева, направленный в 1953 году в Иркутский университет:

«Активный интерес к науке, любовь к природе и хорошее общее знакомство с ней, особенно для Дальнего Востока, огромное трудолюбие и умение довести начатое дело до конца, дали возможность А. Г. Кузнецову внести свой существенный вклад в отечественную науку и собрать обширный материал, представляющий значительный музейный интерес и послуживший основой для ряда исследований русских и советских ученых».

Что касается А. И. Черского, то он хорошо известен зоологам Дальнего Востока своими открытиями, научными трудами. Он выполнил свою безмолвную клятву, данную отцу у его заснеженной могилы на Колыме: вернулся после окончания университета в Петербурге на Дальний Восток и достойно продолжил его дело. Так же, как и отец, Александр Иванович умер в путешествии, в своем последнем районе исследования.

Их имена навсегда записаны в историю отечественной науки в память о тех, кто в постоянном поиске, кто знает радость открытий и тревог.



Дмитрий ПОПОВ,
кандидат экономических наук

Соединенные Штаты Америки в год своего 200-летия

Социально-экономический портрет

Соединенные Штаты Америки... Государство, которое на протяжении вот уже двух веков было и остается объектом пристального внимания миллионов людей. Особенно повышенный интерес к этой стране замечен в связи с исполняющимся в этом году 200-летием США.

Днем основания Соединенных Штатов считается 4 июля 1776 года, когда в период войны североамериканского народа против европейских колонизаторов и, прежде всего Англии, II континентальный конгресс принял Декларацию независимости 13 штатов¹.

Этот день стал национальным праздником страны, отмечаемым ежегодно. В нынешнем году он особенный — юбилейный. И правящие круги Америки предпринимают все возможное, чтобы показать, как говорится, товар лицом. Официальные круги США, их громадный идеологический аппарат, буржуазная пресса, кино, радио, телевидение — все средства воздействия на человека ведут глобальное идеологическое и психологическое наступление, цель которого — представить Соединенные Штаты как «образец капитализма», показать «исключительность американского пути развития».

Особый акцент при этом делается на то, чтобы использовать 200-летие для насаждения и утверждения мифа о «превосходстве» американского капитализма и «американского образа жизни». Утверждается, будто Соединенные Штаты всегда служили и служат «витриной капитализма» и что это «лучшая из всех систем».

Между тем, как свидетельствуют история и современность, «образец американского капитализма», его «превосходство» и

«исключительность» выражаются в исключительной глубине социальных контрастов и остроте классовых противоречий. Этого даже не скрывают авторы доклада национальной юбилейной комиссии.

«При всем нашем богатстве и влиянии,— говорится в докладе, — что-то сделано не так. Мы жаждем мира, однако находимся в состоянии войны. Мы верим в справедливость и равенство, однако в нашей стране существуют зло и несправедливость.. Мы благоговеем перед данной нам богом природой, однако допускаем ее загрязнение. Мы верим в братство людей, однако улицы стали ареной беспорядков»¹.

На финише своего 200-летия Соединенные Штаты — «витрина капитализма» — в удивительном социальном сочетании «демонстрируют» богатство и бедность, роскошь и нищету, комфорт и убогость, достижения науки и отсталость, свободу и расовое угнетение, то есть все, что входит в содержание американского образа жизни.

Как же соседствуют эти, казалось бы, взаимоисключающие противоположности? Как могла прийти Америка к своему юбилею с такими социальными результатами — Америка, основанная на лучших освободительных идеях и принципах, провозглашенных в Декларации независимости? Где, впрочем, есть и такие строки:

«Мы считаем очевидным следующие истины: все люди сотворены равными, и все они одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых»².

Сегодня, на старте третьего столетия,

¹ Автором проекта Декларации был один из выдающихся представителей американского народа Томас Джефферсон, впоследствии президент США (1801—1809), после Джорджа Вашингтона и Джона Адамса.

¹ «America's 200 th Anniversary...». Washington, 1970, p. 3—4.

² Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII—XIX вв. М., 1957, с. 167.

официально признается, что идеалы свободы 1776 года подвергаются новым испытаниям, что флаг американского патриотизма бессильно повис, что нужно кардинально улучшить качество жизни и поднять дух нации.

ЧЕГО ДОСТИГЛА АМЕРИКА?

За 200 лет своего существования Соединенные Штаты достигли многого. По территории и населению это крупнейшее государство, где на площади 9,4 миллионов квадратных километров проживает 214 миллионов человек. США занимает ведущее положение в капиталистическом мире и по наличию природных ископаемых. Это высокоразвитая страна, на долю которой приходится сорок процентов промышленного производства и шестьдесят процентов капиталовложений всего капиталистического мира. По уровню и масштабам технического прогресса Соединенные Штаты далеко обогнали своих конкурентов, а в области военной оснащенности являются оплотом мирового империализма.

Своим могуществом страна обязана прежде всего трудолюбивому и талантливому американскому народу, для которого характерными чертами являются энергичность, предприимчивость, здравый смысл, изобретательность, высокая динамичность. Американцы по праву гордятся своими великими согражданами: учеными, инженерами Бенджамином Франклином, Томасом Эдисоном, Робертом Фултоном, Сэмюэлем Морзе, писателями и поэтами Марком Твеном, Уолтером Уитмэном, Эдгаром По, Джеком Лондоном, Теодором Драйзером, Эрнестом Хемингуэем. Эти выдающиеся американцы оставили заметный след на пути мирового общественного развития. И человечество отдает дань уважения трудолюбивому и талантливому американскому народу, за его значительный вклад в развитие мировой материальной и духовной культуры.

Однако итог 200-летнего развития Соединенных Штатов — это не только достижение американского народа, но и история американского капитализма. А это не одно и то же. Далеко не все, что можно сказать об американском народе, относится к американскому капитализму. Более того, их интересы исторически никогда не совпадали, а в условиях современной Америки приняли форму острейших социальных конфликтов.

Богата ли Америка? Да, очень богата. Кажется, все есть в этой стране. Мощная высокоорганизованная промышленность. Организация труда и производства на предприятиях находится на высоком уровне. К опыту американской металлургии, машиностроения, химии, электроники присматриваются в мире. Развитое сельское хозяйство, основу которого составляют крупные аграрно-промышленные комплексы, способно обеспечить безбедную жизнь всей

нации. Мощная строительная индустрия, может в короткий срок построить и ввести в эксплуатацию крупные промышленные объекты и небоскребы в двести этажей. Территория Америки покрыта густой сетью первоклассных бетонных автострад со всем комплексом автосервиса. Торговля и сфера услуг поставлены на высокий индустриальный уровень.

Естественно возникает и другой вопрос: что вознесло эту страну на вершину богатства? Отвечая на этот вопрос, авторы книги «История американского бизнеса и промышленности», вопреки здравому смыслу и элементарной научной добросовестности, утверждают: все, чего добились Америка, есть результат «исключительной гениальности», «изобретательного ума», «предприимчивости», «новаторства», «организаторского гения» и «социальной совести» американского бизнеса. Дальше, как говорят, идти некуда.

Получается, что не американский народ и творческий гений лучших его представителей создал высокоразвитое государство, а гениальность, изобретательность и, заметьте, «социальная совесть» делового человека. Типичный образчик буржуазной «научности». Споры нет, американский бизнесмен действительно активен, инициативен, изобретателен. Беда лишь в том, что эти способности он использует в собственных эгоистических интересах, цель которых — погоня за прибылью.

Не «энергичность» бизнесмена, а труд многих миллионов простых людей Америки и съехавших сюда со всего мира осваивать «Новый Свет», создал богатство Соединенных Штатов. За первые сто лет население США увеличилось в двадцать раз и достигло к 1880 году 50 миллионов человек, из которых 20 миллионов являлись рабочими-иммигрантами, нещадно эксплуатировавшимися американскими капиталистами.

Не «предприимчивость» американского дельца, а громадные пространства девственных земель с уникальными природными ресурсами создали благоприятные условия для интенсивного развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта.

Не «новаторство» промышленников двигало технический прогресс, а творческий гений американского народа. Это его лучшие представители сделали ряд выдающихся открытий и изобретений.

Не «гениальность» бизнесмена стимулировала быстрый рост экономики, а отсутствие феодальных пережитков в этой стране, которые, кстати, в определенной степени сдерживали рост европейского капитализма. Америка в этом отношении была уникальной строительной площадкой капиталистического способа производства.

Не «изобретательный ум» дельцов, а крупные иностранные капиталы помогли Америке в короткий срок обогнать конкурентов и выйти на передовые позиции среди других капиталистических стран. Добавим сюда колоссальные доходы американ-

ских монополий от ограбления полуколонизированных и зависимых стран, дань, взимаемую ими с народов Азии, Африки, Латинской Америки.

Не «социальная совесть», а неуемная жажда наживы, иссушающий душу, убивающий в человеке все человеческое культ доллара, коварство, подкуп, подлость и разбойничья мораль двигали интересами Вандербильтов, Морганов, Дюпонов, Фордов, Рокфеллеров, Хантов, Гетти, на каждом долларе которых «ком грязи... и следы крови»¹.

Примеров, подтверждающих «социальную совесть» американских дельцов, предостаточно.

Когда Вандербильта спросили: «Разве его поезд не пускаются в ход в интересах публики? — Он ответил: «К черту публику». Всем известно циничное и высокомерное выражение Рокфеллера I, что «господь бог послал его на землю, чтобы делать деньги».

«Рокфеллер, — писала Тарбелл (дочь разоренного Рокфеллером крупного нефтепромышленника), — своим коварством... повсюду вызывал страх. И он должен был знать, что неминуемо настанет день, когда применяемые им методы, станут известны. И тогда его имя будет вызывать всеобщее презрение». В этом Тарбелл ошиблась. Она естественно не могла в 1904 году предвидеть, что потомки Рокфеллера будут губернаторами и станут занимать другие высокие посты.

Такова «социальная совесть» американского бизнесмена.

И, наконец, не «лучшая из всех систем», не «исключительность» американского капитализма стали основой богатства, а его нажива на войнах, военном бизнесе. Опустошительный пожар двух мировых и многих локальных войн не коснулся территории Соединенных Штатов. В то время как народы многих стран, в том числе и американский, истекали кровью, долларовый поток захлестывал сейфы американских монополий. Этот позорный источник богатства Америки был блестяще разоблачен В. И. Лениным в его известном «Письме к американским рабочим».

Такова историческая правда. Ее подтверждают истинные патриоты Америки — американские коммунисты. Выступая на молодежном митинге, посвященном 200-летию Соединенных Штатов, Гэс Холл, обобщая исторический путь американского капитализма, заявил: «Англичан выбросили, однако власть захватили свои капиталистические грабители, твердолобые политики, гангстеры — предки Рокфеллеров, Морганов, Дюпонов... С помощью демагогии, потворства, воровства, классовой эксплуатации, расизма, грубой силы они стали новым правящим классом, и капитализм стал исповедующей системой. Они захва-

тили землю, богатые природные ресурсы, поставили под контроль правительство. Они очень метко назвали эту операцию по ограблению и мародерству «частным предпринимательством».

КТО УПРАВЛЯЕТ АМЕРИКОЙ?

В Декларации независимости 1776 года записано, что страной должен управлять народ и правительство, избранное им, и что если форма государственной власти не обеспечивает свободы и счастья всех граждан, «то народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью»¹.

Так писалось двести лет назад. А что же произошло в действительности. Кто управляет Америкой сегодня? Ответ на этот вопрос содержится в новой Программе Коммунистической партии Соединенных Штатов, где говорится: «Страна, созданная нашим народом, имеет все необходимое для благополучной и изобильной жизни. И тем не менее десятки миллионов людей живут в нищете. Почему? Десятки миллионов людей страдают от жестокого расового угнетения. Почему? Трудящиеся массы испытывают все большую неуверенность в завтрашнем дне. Почему? Над каждым висит угроза войны и массового истребления. Почему?

Это вопиющее противоречие между возможностями и фактическим положением вещей не случайно. Оно объясняется не ошибками того или иного политического деятеля. Оно органически присуще экономическому строю, при котором движущей силой класса, господствующего в стране, является извлечение частных прибылей»².

Так мы подходим к ответу на вопрос о том, кто владеет и управляет Америкой, суть которого состоит в господстве и произволе в США могущественных монополистических сил.

По степени концентрации экономической и политической власти монополистический капитал США всегда занимал лидирующие позиции в мире. Но все, что было, не идет ни в какое сравнение с тем, что наблюдается в этой стране на финише ее 200-летия.

Под воздействием ряда факторов, важнейшими из которых являются научно-техническая революция, противоборство двух мировых систем (капитализма и социализма), интернационализация хозяйственной жизни, государственно-монополистический капитализм, за последние десять-пятнадцать лет в США произошла беспрецедентная концентрация производства и капита-

¹ Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII—XIX вв., с. 167.

² Новая Программа Коммунистической партии США.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, с. 50.

ла, и на ее основе — образование многоотраслевых монополий-конгломератов, развитие международных корпораций, зловещий альянс промышленных монополий с военщиной и, наконец, сращивание монополистической структуры с государством. Все это создало единую систему эксплуатации, контроля, управления и присвоения подавляющей части национального богатства горсткой магнатов финансовой олигархии.

Ничто не убеждает человека так, как «Его Величество Факт». А факты господства монополистического капитала в Соединенных Штатах поражают воображение даже «просвещенного» читателя.

500 промышленных монополий, составляющих по численности 1,2 процента общего количества фирм американской промышленности, производят три четверти промышленной продукции страны. Эксплуатируя 75 процентов рабочей силы, они присваивают около четырех-пятых чистых прибылей¹. Эти 500, представляющие верхушку частнокапиталистического бизнеса США, по структуре не однородны. 200 монополий-гигантов с годовым производством свыше миллиарда долларов составляют ядро промышленной олигархии Америки. Но и оно не однородно. 10—12 супермонополий, с годовым оборотом превышающим десять миллиардов долларов, представляют суперэлиту промышленной олигархии. Из суперэлиты выделяются лидеры промышленного бизнеса не только США, но и всего капиталистического мира.

Долгое время таким лидером была корпорация «Дженерал моторс», производящая более 55 процентов автомобилей в США. Стоимость реализованной продукции ее составляет около 36 миллиардов долларов! (1973 год). Вскоре этот рекорд перекрыла другая корпорация-гигант, выросшая на нефтяном бизнесе, — «Эксон», — стоимость реализованной продукции которой в 1974 году составила 42 миллиарда долларов!

Господство крупнейших американских монополий не ограничивается только национальными границами. Оно распространилось далеко за пределы США и приняло глобальный международный характер. Средоточив а своих руках колоссальные капиталы, новейшие научно-технические открытия, производственно-технологический и организационно-управленческий опыт, американские монополии оказывают не только сильное воздействие на сферу международных экономических отношений, но и подчас определяют развитие экономики других стран, не считаясь с их национальными интересами.

Размеры деятельности некоторых монополий — левиафанов («Эксон», «Дженерал моторс», «Форд», «ИТТ», «ИБМ») настолько велики по объему, что превышают производство национального продукта ряда высокоразвитых стран (Бельгия, Швеция,

Нидерланды, Швейцария). Неудивительно, что даже буржуазная наука вынуждена высказывать определенные опасения по этому поводу. Известный американский экономист Ричард Барбер замечает: «Дженерал моторс», если не принимать во внимание некоторых формальных признаков, (герб, флаг, гимн) является настоящим «государством»¹.

В пользу этого вывода говорит и тот факт, что из 50 крупнейших «экономических организмов» мира 37 составляют государства, а 13 — корпорации. А если рассмотреть в том же порядке не 50, а 100 таких единиц, то среди них окажется уже 51 корпорация².

Растущая концентрация означает процесс обобщения производства, который по своей сути представляет гигантский прогресс человечества, но этот «прогресс человечества», — отмечал В. И. Ленин, — идет на пользу... спекулянтам»³ (Читай современным монополиям. — Д. П.).

На основе концентрации производства и банковского капитала, их сращивания, слияния, вырос финансовый капитал, который осуществляет свое господство через финансово-олигархические группы. Нити экономического и политического господства в современных условиях идут в штаб-квартиры финансовой олигархии, которая по сути дела держит всю нацию в экономической, политической и социальной узде. Восемнадцать финансово-олигархических групп, куда входят Рокфеллеры, Морганы, Дюпоны, Меллоны и т. д. контролируют подавляющее количество производства общественного продукта. Автор книги «Богачи и сверхбогачи» Ф. Ландберг, которого не заподозрить в симпатии к коммунизму, пишет, что в экономической системе США господствуют примерно 500 тысяч человек⁴, то есть ничтожно малая доля американской нации — 2,5 процента.

Финансовая олигархия осуществляет беспрецедентный контроль над законодательными и исполнительными органами власти, Советом национальной безопасности, ЦРУ, ФБР, судебной системой. Примеров этого контроля сама американская пресса приводит множество. Это подтвердило и так называемое сенатское расследование деятельности ЦРУ — об этом уже много и подробно писалось.

Но и это еще не все.

Пожалуй, самым зловещим социальным образованием в современной Америке является так называемый военно-промышленный комплекс. Это реакционный альянс милитаристов-профессионалов с крупнейшими монополиями, экономическое, полити-

¹ R. Barber. «The american Corporations», N.Y., 1970, p. 8.

² Д. Белл. Будущее корпораций. «Америка», сентябрь, 1974, с. 5.

³ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, с. 322.

⁴ Ф. Ландберг. Богачи и сверхбогачи. М., 1975, 349.

¹ См.: «Fortune», may, 1975.

ческое и духовное влияние которого особенно усилилось за последние пятнадцать-двадцать лет. Это настоящее «государство» в государстве.

Экономическую основу этого союза составляет гигантское военное производство. Военные расходы, которые за послевоенные годы составили фантастическую цифру — 1,5 триллиона долларов! — подлинный «заповедник» монополий, специализирующихся на производстве оружия, на бизнесе смерти, это их золотое дно. Деньги не пахнут, даже если на них грязь, кровь, смерть. Для наживы все средства хороши, в том числе и такое противоестественное природе человека явление, как война. Капитал никогда не был разборчив в средствах, обеспечивающих наживу, американский к тому же — еще особенно нагл и циничен.

На щедрых военных расходах, как на дрожжах, выросли такие супермонополии как «Локхид Эйркрафт», «Дженерал дайнемикс», «Макдонелл Дуглас», «Боинг». Какими способами действуют эти монополии-хищники внутри страны и за ее пределами, показывает разразившийся недавно скандал с разоблачением концерна «Локхид», дававшего миллионные взятки видным государственным чиновникам в Японии, ФРГ и других странах, продвигавшего таким образом свой «товар».

Джордж Вашингтон (1732—1799), первый главнокомандующий американской освободительной армии и первый президент США, не предполагал, что созданная им военная организация для борьбы с колониальными угнетателями, на финише 200-летия превратится в лице военно-промышленного комплекса в противосоциальный, антинародный организм, в орудие угнетения и подавления других народов, в инструмент наживы и насилия, поглощающий ежегодно десятую долю национального дохода. Это, по образному выражению К. Маркса, означает «то же самое, как если бы нация кинула в воду часть своего капитала»¹.

Что это, парадокс истории? Армия свободы и независимости эволюционировала в орудие угнетения и подавления, в инструмент наживы и насилия. Нет, это не зигзаг истории. Это закономерный продукт капитализма, на его вышей и последней стадии империализма.

Таким образом, к исходу 200-летнего развития «свободного демократического государства» действительная экономическая и политическая власть в Соединенных Штатах принадлежит не народу и демократическому правительству, а кучке миллиардеров. Вот истинные правители Америки. Как отмечал Гэс Холл на XXI съезде компартии США: «Они занимают абсолютно главенствующие позиции в экономике и осуществляют полный контроль над при-

нимаемыми решениями государственными органами... Но безграничная власть, тирания высших монополистических кругов сейчас приходит во все более острый конфликт с интересами подавляющего большинства народов и во все более острый конфликт с интересами страны».

КАК ЖИВЕТСЯ В АМЕРИКЕ?

Среди американцев распространено мнение, что условия жизни в Соединенных Штатах самые лучшие, чем где-либо в другой стране. Большинство из них чувствуют себя привилегированными, по сравнению с остальным миром, и полагают, что так было, есть и будет всегда. Они могут отказать в доверии правительству и зачастую это делают, но сохраняют свою веру в американскую систему, в американский образ жизни, заботятся о престиже Америки.

Сформировавшаяся под воздействием ряда внутренних и внешних факторов, психология «американской исключительности» опирается сегодня на относительно высокий, по сравнению с другими странами, средний уровень жизни. Кажется, все в этой стране свидетельствует о богатстве и благополучии — небоскребы из стекла и алюминия, скоростные автостреды, более 112 миллионов автомобилей, обилие товаров в магазинах, первоклассный сервис и другие блага.

Но все ли американское общество пользуется этими благами? Отнюдь нет.

Официальная Америка, пропагандистский аппарат обладают поистине паталогической страстью к средним показателям, на основе которых утверждается, что американская система капитализма создала и поддерживает высокий жизненный уровень народа. Да, действительно, Соединенные Штаты занимают ведущее положение по производству и потреблению многих товаров и услуг: электроэнергетике, автомобилям, холодильникам, большинству продуктов сельского хозяйства. Все это так. Это — средние показатели. А что за ними скрывается?

Прежде всего, среднестатистическое производство — это одно, а реальное потребление — совсем другое. Первое обусловлено размером функционирующего капитала, второе — размером реальных доходов различных групп населения. Разве можно сравнивать реальное потребление миллионера и рабочего, миллиардера и фермера, менеджера и простого клерка, хотя «средние» показатели «свидетельствуют о благополучии и изобилии».

Логика капитализма такова, что с ростом экономического могущества углубляется социально-экономическая пропасть между двумя полюсами этого общества — буржуазией и пролетариатом. В своей книге «Современный капитализм» Гэс Холл отмечает: «400 семейств этой страны с годовым доходом миллион долларов и выше

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, часть I, с. 67.



противостоят 72 миллионам человек с годовым доходом в 5,5 тысяч долларов и меньше»¹.

Миллионеры и миллиардеры! Их не так много в США, можно без труда пересчитать. Однако никакая электронно-вычислительная машина не определит всей степени их влияния, реальной власти, роскоши и расточительства, которую дает такой капитал.

Близко к этой группе собственников прилегают менеджеры — высший слой американских управляющих, жалование которых по крайней мере 750 из них, в 2—7 раз превышает жалование Президента Соединенных Штатов (200 тысяч долларов в год). Высший слой управляющих, пооществу, органически входит в структуру финансовой олигархии.

А как живет рядовому американцу в этой богатой стране?

У мистера Среднего Американца всего есть все, что входит в понятие американский образ жизни: дома новка, несколько сверкающих вещей, таких, например, холодильник, телевизор, таемых в рассрочку и жанных, одежда, обуви, всему... большое количество карточек, свидетел

ему принадлежит.

нец, у него вы, он работает.

И тем не чит находи Нищета. бо

статочно значительной, приносящей доход собственностью, не получающий достаточно большой трудовой доход, чтобы регулярно делать крупные сбережения, или не имеющий высокооплачиваемой и постоянной работы, — человек бедный. Он может быть здоров, красив и вызывать восхищение своих друзей, но он беден. Согласно этому критерию, по крайней мере 70 процентов американцев, безусловно, бедны, хотя отнюдь не все они лишены средств к существованию или пребывают в полной нищете»¹.

Вот что скрывается за средними показателями высокого жизненного уровня, богатства и изобилия в Соединенных Штатах Америки. Это одностороннее и обманчивое изобилие: богачи наживают все новые богатства, а бедные становятся беднее относительно, а зачастую и абсолютно.

Почти 60 лет тому назад В. И. Ленин отмечал, что за 150 лет Америка достигла многого, но вместе с тем стала «одной из первых стран по глубине пропасти между горсткой обнаглевших, захлебывающихся в грязи и роскоши миллиардеров, с одной стороны, и миллионами трудящихся, вечно живущих на грани нищеты, с другой»². Пророческие слова! Они как будто сказаны применительно к сегодняшней Америке, справляющей свой 200-летний юбилей.

КУДА ТЫ «МЧИШЬСЯ», АМЕРИКА?

Путь в 200 лет был для Америки не столь ринист, как для «матушки» Европы. Сменились поколения, менялись социальные анówki, приходили и уходили президенты. Неизменным оставалось одно — укуившаяся в «социальной крови» страсть доллару и психология «американской иск-

лючительности».

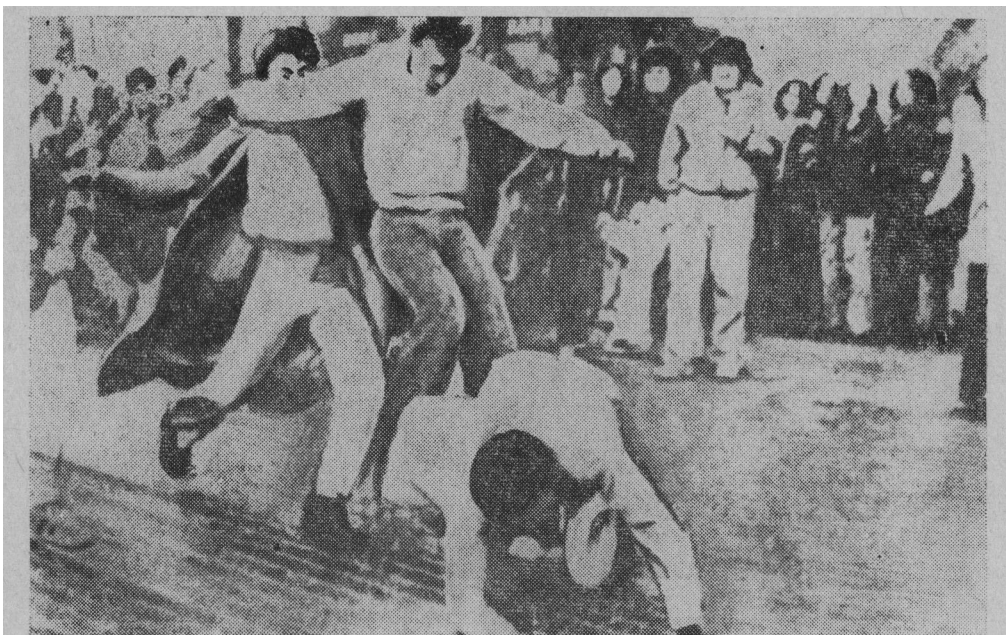
воздействием этого стержневого со-

редо капиталист терял всякую
в оценке будущего а ря-
не мог противостоять
в организованной форме,
движение в Соединен-
воздействием ряда фак-
льно слабым. Тем не
гда не был безраз-
страны По мере
социальная зре-

литель происхо-

летия

окружа-
от



Линчеватели за работой.
Снимок сделан в Бостоне — центре американской «демократии»
Фото ЮПИ — ТАСС, АР — ТАСС.

капитализма прошла и прошла навсегда, и возврата к прошлому, к «старому доброму прошлому», нет и не будет, и думающий американец теряет веру в «безграничные возможности» Америки и задает вопрос:

«Куда же ты мчишься, Америка?»

В самом деле куда? И мчится ли? А может, только «мчитесь»?.. И думающий американец невольно заключает: «Из никуда в никуда».

Есть ли основания у думающего американца для подобного заключения? Есть, и вполне достаточные. Но обо всем по порядку.

Совсем недавно, каких-нибудь десять-пятнадцать лет назад, утверждалось, что капитализм Соединенных Штатов преодолел проблему кризисов, поскольку стал преобразованным «неокапитализмом» и представляет «плановый», «организованный» строй, без классовых антагонизмов, без бедности и безработицы.

Америка характеризовалась как «индустриальное общество» (Д. Гэлбрейт), «постиндустриальное общество» (Д. Белл) и, наконец, «технотронная цивилизация» (З. Бжезинский). Классовая суть этих концепций — теоретическое обоснование стратегии приспособления капитализма к изменившимся условиям. Бжезинский договорился до того, что современный мир (имея в виду Америку) стоит накануне таких изменений, который превзойдут последствия Великой французской революции и даже... Великой Октябрьской социалистической революции! Орудие власти ста-

нет знание, а не капитал, монополисты уступят место интеллектуальной элите. Система капиталистического государства сменится системой «правления достойных». Все мило и гуманно!

Перед такой современной «социальной косметикой», которую в достатке производят социальные фармацевты и провизоры, не мог устоять не только обыватель, но и думающий американец. И он «не приходил к выводу», «не терял веру», «не задавал вопроса» и «не делал заключения».

А тем временем американский капитализм заканчивал трудный марафон в 200 лет. Безудержная гонка за долларом измотала его, и на финише это уже не молодой, полный сил капитализм, а дряхлеющий империализм, переживающий острейший кризис глобального характера.

Проявление этого кризиса чрезвычайно разнообразно. Это, прежде всего, кризис экономический, глубину и остроту которого можно сравнить лишь с кризисом начала 30-х годов. Кризис экономический, тесно переплетаясь с валютно-финансовым, отбросил экономику США на уровень 1972 года; кризис вызвал массовую безработицу, численность которой (официально зарегистрированной) составляет восемь миллионов человек. Не далее как вчера Д. Гэлбрейт утверждал, что в индустриальном обществе проблема «занятость — безработица» трансформируется в проблему «образование — необразованность». Иными словами, безработица как социальное явление капитализма исчезнет, поскольку образованный человек всегда нужен произ-

водству. И лишь только неучам не найдется работы. Что же является американская действительность? Более двух миллионов высококвалифицированных образованных инженеров, управляющих, ученых толпятся сегодня в очередях на биржах труда и за получением пособия по безработице.

Парадокс современности или парадокс «процветания» капитализма эпохи научно-технической революции?

Куда же ты «мчишься», Америка?

Это, во-вторых, кризис системы государственных финансов, который проявляется в постоянно растущих бюджетных дефицитах и увеличивающемся государственном долге. Из последних 17 лет 16 были дефицитными бюджетными годами. Общая сумма дефицита составила 286,7 миллиардов долларов¹. Покрывая бюджетные дефициты, которые являются следствием милитаризации, государство «влезает» в новые долги. К концу 1976 года государственный долг США достигнет фантастической суммы — 709,7 миллиардов долларов.

Бюджетные дефициты и государственный долг являются основными источниками инфляции. С начала века розничные цены в США выросли более чем в шесть раз. То, что стоило в 1900 году 25 центов, сейчас стоит 157 центов.

Инфляция скачет галопом, а куда «мчишься» ты, Америка?

Это, в-третьих, энергетический, сырьевой и экологический кризис, которые проявляются в нехватке сырья и энергетических ресурсов, и в резком загрязнении окружающей среды. В 1974 году 112 миллионов автомобилей в США потребили кислорода почти столько же, сколько его потребила половина населения земного шара. При этом они выбросили в атмосферу примерно

около ста миллионов тонн окиси углерода и двадцать пять миллионов тонн окиси свинца. По мнению американских исследователей Поля и Энн Эрлихов, Соединенные Штаты в 1985 году вступят в эпоху ресурсного и энергетического голода и встанут перед необходимостью «реколонизовать слабообразованные страны», наступит период «ресурсного империализма».

Может быть, Эрлихи — авторы книги «Конец изобилия» — слишком драматизируют будущее страны, но тем не менее вопрос «Куда ты мчишься, Америка» в данном случае уместный.

Это, в-четвертых, идейно-политический кризис американского общества. Он поражает политические партии, расшатывает элементарные нравственные нормы. В стране продолжается упадок духовной культуры, растет преступность. Особенно растет преступность среди женщин и детей. Например, в 1964 году из восьми арестованных была одна женщина, сейчас одна из шести. Если в 1964 году в США было арестовано 547 тысяч женщин, то в 1974 году число арестованных женщин составило 994 тысячи человек.

Куда же ты катишься, Америка?

Тупик, в котором сейчас оказались Соединенные Штаты, является следствием глубоких экономических, политических и социальных противоречий американского капитализма. Способны ли они выкарабкаться из этого тупика?

Способен ли американский капитализм на какое-то омоложение на пороге своего третьего столетия? Рецептов по этому поводу, в связи с юбилеем, предлагается достаточно. Но как бы ни старались социальные «косметологи» омолодить лицо отживающего общественного строя, никаких существенных изменений в систему американского образа жизни они не внесут. Никакая социальная «косметика» не скроет глубоких шрамов и морщин на увядающем лице американского капитализма.

¹ U. S. News and World Report», February 6, 1976, p. 56.

КОГДА ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО

Создавать книги для детей на Сахалине начали недавно. Первая книга для маленьких — «Отгадай?» А. Ткаченко — вышла в 1959 году. С тех пор было написано более двух десятков книг для ребят прозаиками А. Баюканским, М. Павловским, В. Санги, А. Цилиным, О. Кузнецовым, поэтами Л. Токаревым, Н. Савченко, А. Дешиным. И сейчас уже можно говорить о наметившихся основных тенденциях детской темы в творчестве сахалинских писателей. Во-первых, это все увеличивающееся тематическое и жанровое разнообразие. Наряду с повестями «Степка-сахалинец», «Портрет Ильича» А. Цилина, затронувшими тему героической борьбы отцов и дедов нынешних ребят за восстановление Советской власти на Северном Сахалине, повестью «У самой границы», ставящей задачу патристического воспитания молодого поколения, наряду с приключенческими, «школьными» и пионерскими повестями и рассказами «Богдан объявляет аврал», «Иду на Вы!» и другие Б. Дедюхина; легендами, сказками из нивхского фольклора, собранными В. Санги, стихами книжек «Мы живем на островах», «Веселые дельфины» А. Дешина, впервые появляются произведения о природе и животных, требующие умелого слияния воедино познавательности с воспитательной целью. Во-вторых, создаются образы героев, в характере которых и типические черты, присущие всем советским детям, и своеобразные, индивидуализированные. Повзрослел и художественный уровень произведений местных авторов.

В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов со своими произведениями к ребятам обращались чаще «взрослые» поэты и прозаики, у них книги для детей были лишь частью их творческой биографии (как у В. Санги). Сейчас появились авторы, которые целиком посвятили свое творчество детям. Несомненный интерес в этом отношении представляет творчество сахалинского прозаика Олега Кузнецова.

Недавно в Дальневосточном книжном издательстве вышла его новая книга «Ребята, Тимка потерялся», являющаяся своеобразным итогом десятилетней работы писателя в литературе для детей. В книгу вошли две повести «Лососи вернутся в море», «Тайны владений Кальмара» и рассказ, давший название сборнику.

Книг о природе, о животных много. Меньше написано о морских обитателях, о подводном мире. Природоведческий жанр — один из сложнейших в детской литературе, ибо слова, сказанные М. Ильиным о научно-художественной книге, которая «похожа на мичуринское дерево: от художественной литературы она берет художественность, от научной — точность», можно целиком отнести к книге о природе.

Первый сборник рассказов О. Кузнецова назывался «Роса на водорослях» (Хабаровск, 1967).

Это книга о море и его обитателях: крабе, чилимах, звездах, котике, зайце, каракатице, ракушках. Автор пользуется формой сказки, психологически наиболее близкой ребенку, то коротким рассказом с реально действующими лицами. Здесь и увлекательность сюжета, и фантазия, притягивающая ребенка, и, наконец, познавательность. О. Кузнецов, по замечанию критика Г. Голышева, «рассказывая о морских обитателях, умеет неназойливо и лаконично сказать о морских обитателях, и мораль у него не плавают на поверхности, а светится, как улыбка на добром лице человека». Здесь верно подмечены две основные черты, определившие творческое и гражданское лицо писателя: познавательность его произведений и доброта, гуманизм, как нравственное отношение автора к изображаемому.

Книга — активное средство воспитания ребенка. Ведь опыт, полученный им из книги, имеет чуть не ту же цену, что его реальный опыт. Ребенок прямо или косвенно черпает из книги правила поведения, либо стремится во всем подражать ее героям, либо ненавидит их. Может, именно в отношениях к животным особенно ярко проявляются добрые чувства детей. В детских книгах сахалинских авторов часты обращения к проблеме взаимоотношений человека и природы.

О. Кузнецов, обладая ихтиологическими знаниями и личными наблюдениями, умело вкрапляет их в произведения. Например, сказочная повесть «Тайны владений Кальмара» — маленькая подводная энциклопедия: столько в ней достоверных и занимательных сведений о подводном мире. Вот рыба Клоун: «губы так вытянуты, будто понарошку целоваться хочет. Нос загнулся. Хоть фуражку вешай. А глазки на макушку залезли...» — характерным для

нее является и то, что эта рыба изменяет свою окраску в зависимости от цвета окружающей среды, а чтобы подняться на поверхность моря, глотает пузырьки воздуха и раздувается. Столь же живо маленький читатель представляет себе других персонажей сказки. Рассказывая ребенку о неизвестном, писатель подыскивает для сравнения предметы, хорошо знакомые тому из жизни. Пишет он весело, в юмористической форме.

Отношения обитателей моря в повести являются отражением в какой-то мере человеческих отношений, каждое животное в зависимости от его внешности, образа жизни — как бы определенный человеческий тип: Черепаха — трудяга; Осьминог — воляка, захватчик; Сельдяной король — безвольный доносчик и властолюбец; рыба Клоун — добрый, самоотверженный защитник слабых. В иносказательной форме, но вполне доступной пониманию ребенка, автор дает сатирические картины аморальных отклонений; война, борьба за личную карьеру, доносы, завистничество.

Обращение писателя к форме сказки не случайно. Ведь «благодаря сказке, — говорил известный советский педагог В. Сухомлинский, — ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но откликается на события и явления окружающего мира, выражает свое отношение к добру и злу. Первоначальный этап идейного воспитания тоже происходит благодаря сказке».

В данном случае именно в сказочной, поэтической форме детям внушается любовь к земле, на которой они живут. Тук-тук, пластмассовый котенок, выброшенный в море, так рассказывает о земле Гигантскому Кальмару: «На моей земле бывает зима и бывает лето. Зимой везде лежит снег. Он белей любого вашего белого коралла. Он блестит, переливается под солнцем чудесней, чем ваши жемчужные ракушки... Ты, Кальмар, ни разу не бегал босиком по снегу и не знаешь, как это хорошо. Снег всегда холодный. Он холодной рыбьего бока, холодной твоих щупалец, холодной воды ваших темных пещер и глубоких ущелий. От снега мерзли подушки моих лап, но как это было приятно и весело! А потом Алеша уносил меня домой, и мы, согреваясь, лежали на диване и смотрели разноцветные книжки... Над моей землей, Кальмар, светит солнце! Вот такая моя земля!»

Поэтичность, одухотворенность сказки усиливается наличием внутренней мелодии, сменой ритма в зависимости от ситуации. Герои иногда говорят стихами, поют веселые и грустные песенки. Автор пользуется короткими, буквально в несколько слов, фразами, часто прибегает к прямой речи. Причем каждая фраза — новая картина, повествование — цепь картинок. Это создает сказке зрительность.

Действующие лица других повестей и рассказов О. Кузнецова — дети, ровестники читателя, преимущественно мальчишки. От

созерцания морских глубин в первой книге автор перешел к ребячьему освоению морских просторов. В промежутке между сборниками «Роса на водорослях» и «Рябят, Тимка потерялся!» им были написаны книги «Тайфун», «Волочаевка», «Хозяйка рыбацкого стана», «Эскадра адмирала Веньки».

Герои их — мальчишки и девчонки, выросшие у моря, искренне любящие свой интересный, романтический край. Они словно родились в море, не мыслят себя вне его. Каждый увлечен определенной мечтой: главный герой повести «Эскадра адмирала Веньки» — исследованием почвы моря; его друзья: Аркашка — биологией моря, Натка — метеорологией. Котка из рассказа «Зеленый свет», когда вырастет, «обязательно опустится в батискафе на дно океана... будет знать, как взять у моря богатство и раздать его всем людям».

Характерно, что героев О. Кузнецова мы почти не встречаем ни в школьной обстановке, ни в городе, а всегда — на берегу моря. И в этом есть определенная авторская заданность. Море позволяет ребятам раскрыться, проявить и почувствовать в себе все лучшее, проверить себя на прочность. Отсюда кульминацией рассказов всегда служит какой-нибудь острый момент, когда узнается, кто чего стоит. Острые моменты влекут за собой проблемы морали: честь, долг, совесть — все проходит проверку морем. Так, в рассказе «Три сантиметра» из сборника «Хозяйка рыбацкого стана» море стало испытанием для двух ребят, случайно оказавшихся в шторм на неуправляемом катере.

Писатель не боится сложного жизненного конфликта, когда ребенок оказывается чище, благороднее иного взрослого, в общем-то, вершителя и законодателя его судьбы.

Определив подростку центральное место в своих произведениях, писатель в одних случаях обращается к сугубо детскому коллективу, взаимоотношениям внутри него, делам, поступкам, стремлениям ребят. В других случаях его интересует проблема «детей и взрослых». Юному читателю автор как бы говорит: смотри, как поступает твой сверстник — раз считаешь, что прав, — борется! Перед взрослыми исподволь ставит вопрос: всегда ли они справедливы к детям, уважают ли их духовный мир, ведь ребенок — это уже личность! Отсюда некоторые рассказы О. Кузнецова имели двойной адрес: и детям, и взрослым. Более того, грустные интонации, сквозящие в рассказах, заметно «овзросляли» их, адресовались не для детей, а скорее — взрослым о детях.

Начиная с повести «Эскадра адмирала Веньки» (Южно-Сахалинск, 1972), в произведениях О. Кузнецова мы видим больше оптимизма, жизнелюбия. В основе повести лежит нравственный конфликт. Сталкиваются две личности — Венька и Ленка. Один — смел, прост с товарищами, бескорыстно учит их тому, что умеет

сам, — подводному плаванию. Другой тоже смел, тоже многое умеет, но себялюбив, эгоистичен, хочет подчинить себе ребят, подчинить их интересы, мечты своему стремлению быть главным. Все это разворачивается на фоне таких интересных событий, как постройка эскадры из плотов, плавание к Нерпичьим Камням, к маяку на острове, спасение рыбацкого сейнера. Правда, в этой повести автору не удалось в равной степени справиться с совмещением действия и психологической линии, которая постепенно уступала место бурно развивающимся событиям, размылась. Надуманной оказалась концовка повести, не свойственная манере писателя по прямолинейности дидактических выводов.

У каждого писателя есть свои вершины, большие и малые, которые достигаются постепенно. Вот такой вершиной стала для О. Кузнецова повесть «Лососи вернутся в море». Повествование ведется от лица главного героя — шестиклассника Кольки Бибикова. Колька вырос в поселке у рыбодобного завода. Все свое свободное время он проводит у речки, наблюдая за лососями, в цехах, где из икры выводят мальков. Колька чистая, увлеченная и в какой-то мере одинокая натура. В школе, в поселке у него много друзей, это друзья по учебе, по играм, а вот друга по мечте нет. И совсем случайно он сходится с одноклассником Вовкой, про которого в поселке и школе говорят немало плохого. У Кольки хватает терпения, чуткости и внимания, чтобы разобраться в сложном и скрытном характере Вовки, человека, в сущности, тоже одинокого. Их роднит нетерпение к фальши, раздвоению личности, самовыпячиванию. Они несколько беззащитные люди, и эта беззащитность мешает им как-то выделиться в коллективе. Да ребята и не стремятся к этому. На рыбодобном заводе вместе со взрослыми они участвуют не только в разведении молодых лососей, но и в проведении новых опытов, весьма сложных и нужных.

Повесть эта — удачная попытка приобщить детей к науке.

Автор не уводит нас за рамки умственного и эмоционального опыта подростка. Сведения о лососевых и ход эксперимента органически вписываются в сюжет, перемежаются с веселыми случаями, постоянно происходящими с Вовкой. Наряду с проблемами научного поиска писатель также ставит вопросы морали, школьной этики, товарищеской взаимопомощи. Повествование от лица самого подростка помогает давать их иногда как спорные, чаще — как верно решаемые мальчиком (и тогда голос автора сливается с голосом героя). Например, долг и подчинение, истинная и показная смелость.

Колька Бибилов в свои тринадцать лет почти сформировавшаяся натура, внутренне цельная и постоянно ищущая разрешения многих вопросов. Мы еще из литературы пятидесятых годов помним двух дру-

зей, постоянных в детских книгах. Один — положительный, правильный; другой — дерзкий, хулиганистый. И почти всегда авторы, выдавая поведение первого за норму, душой больше тяготели к «дерзкому» подростку. Колька при всей своей «положительности» вызывает большую симпатию, ничуть не меньшую, чем его «непугивый» друг. Мальчишка ищет себя. Пытаясь трезво оценить себя, он думает: «Мне кажется, что я все-таки не маменькин сыночек». Учится он серьезно, и серьезно относится к каждому своему поступку, с учетом интересов других, в каждом деле ищет цель, старается сначала думать о других (а это не просто в его возрасте), умеет постоять за себя и за дело, которое ему поручено.

А. С. Макаренко как-то сказал: «Я понял, что легко научить человека поступать правильно в моем присутствии, в присутствии коллектива, а вот научить его поступать правильно, когда никто не слышит, не видит и ничего не узнает, — это очень трудно». Главные герои всех повестей О. Кузнецова делают поступки именно по велению сердца, по внутреннему убеждению.

И. МИХНОВА

Южно-Сахалинск.



НА ПОРОГЕ ЗРЕЛОСТИ

Герои первой книги Вячеслава Сукачева живут в приамурских селах и не просто любят свой край, а слиты с ним. Они ловят рыбу, ходят в тайгу на охоту, тушат пожары, водят паромы и теплоходы. Но не опасный промысел охотника, не находки геологов — мета этой книги. Она не о профессиях, не о географических редкостях. Ее герои открывают мир и самих себя.

«Поздно ночью Силантий уходил спать в шалаш, а Костя устроившись у костра и смотрел на далекие звезды, в которых было вечное, непонятное очарование. Незаметно подкрадывалась грусть, тихая, светлая, без причины. И он чувствовал себя в эти минуты одиноким среди всего человечества. Были какие-то малопонятные желания, тоска по кому-то, но все это настолько потаенно и далеко, что Костя даже разбираться в своих ночных чувствах не пытался».

Чеховское трехчленное деление фразы, и давно осмеянные сентиментально-романтические какие-то смутные желания по кому-то, и туман — традиционный символ странного состояния полусна, полуяви, в

¹ В. Сукачев. У светлой пристани. Хабаровск, Кн. изд., 1975.

котором находится герой (рассказ «Туманы»). Из тумана к нему приходит девушка, такая же красивая, как во сне, только живая, дочь знакомого пастуха Силантия. Она деловито предлагает ему заночевать в шалаше, потому что какой же сон на улице, и сама ложится почти рядом. «И продолжался сон. Он слышал ее ровное дыхание, он чувствовал каждый удар ее сердца и не слышал своего. Она лежала рядом, и тепло ее тела доходило до Кости, а он не смел шевельнуться, поправить подушку под головой». Потом она своими пальцами коснулась его лба, глаз и сама быстро склонилась над ним, прижалась губами, телом.

Конечно, это длится мгновение; девушка уезжает с другим парнем, который на десять лет старше ее, и, наверное, совсем не похожим на Костю, не умеющим так любить. Зато снова приплывает туман, чудится она, и Костя напряженно всматривается в белый мрак.

Да, эта ситуация неоднократно разрабатывалась разными писателями, обращались к ней классики: ну, хотя бы «Белые ночи» Достоевского, и лермонтовский «Утес», и «На пути» Чехова... Везде — мгновенный свет любви и глубокий след от него на всю жизнь. Очевидно, мы имеем дело с каким-то извечным, коренным свойством художественного мироощущения, с тайной воображения — темой чрезвычайно притягательной для искусства и потому популярной, что, судя по конспективности повествования, рассчитанного на читательский опыт, — осознается автором. Он слышал любимую мелодию и хочет спеть ее сам. И мы, в первую очередь, чувствуем эту писательскую приверженность, страстность и даже полемичность, поскольку это не самая модная сейчас мелодия. Она нуждается в любви и защите.

Рассказ «У реки». Пожалуй, самый зрелый по мастерству и самый музыкальный. Внешняя тема этого рассказа — трудные отношения с женой и дочерью, сложившиеся у Степана Назанова. Он не может жить без реки, без тайги, а жена его решила уехать в город, увезла с собой дочь, вышла замуж, и Степан остался один. Наташа приехала погостить к отцу, и эта зима стала самой счастливой за все десять лет его одинокой жизни. Такова фабула, но она лишь пунктирно намечена и не является двигателем сюжета. Его движение основано на эмоциональных перебоях, подъемах и спадах настроения главного героя и его дочери. В передаче настроения большую роль играют интонация, звуковая и цветовая гаммы, пронизывающие диалоги и авторскую речь.

Главная внутренняя тема рассказа — борьба родства и отчужденности в отношениях Степана и Наташи. Три вариации этой темы образуют ритмично повторяющиеся циклы, напоминающие сонатную форму. Сначала описывается ледоход. Постепенно нарастающий гул переходит в весеннее стихийное буйство. От гула просы-

пается Степан Назанов и как будто оттаивает, поет вместе с рекой. К этому дуэту присоединяется голос шестнадцатилетней Наташи. Она тоже не может усидеть дома, но с ее приходом меняется интонация авторской речи: оглушительно бурная мелодия окрашивается грустью. Голос отца и дочери все больше расходятся, гармония разрушается. У Наташи своя жизнь. Она все время куда-то уходит из дома. Тревогу усиливает резкий чужой голос постороннего человека. «Да их теперь разве доищешься. Зреют, как поганки, в одночасье. В голове одни бигуди и танцующие». Завершается первый цикл развития сюжета.

Потом отец слышит разговор дочери с парнем, ее одноклассником. Главная тема — родство — отчужденность — звучит едва слышно, затаенно. У парня небрежный, ломкий покровительственный басок. У Наташи сейчас голос тихий и чужой, не тот, который знает Назанов. Но у Наташи зорче глаз и немного острее слух, чем у парня. Она и отец слышат звук лопающихся почек, между ними незримая нить родства.

Наступает кульминация в развитии главной темы — третий цикл. За Наташей приезжает мать. Опять в дуэт отца и дочери, трепетный, напряженный, вмешивается грубый, диссонирующий голос, к горькому сожалению, голос матери. Он противопоставлен красоте природы, ночным светотеням.

«Ты что же это Наташеньку разodel, как царскую невесту? Небось мы и сами в состоянии, зарабатываем оба хорошо, а при твоих-то доходах напрасно тратиться...» И по контрасту с этим, больно ранящим чужим голосом, вновь, только намного сильнее, звучит мелодия родства.

«— Иди, — ласково сказал Назанов, — поговори с матерью. Она небось соскучилась по тебе.

— Мне скучно с ней, — пожаловалась Наташа и неожиданно припала к Назанову, вздрагивая худенькими плечами и пряча лицо на его груди.

Степан растерялся. Тугой комок подкатил к горлу, и он погладил дочь по голове».

Совсем один сидит на пароме Степан, продлевая, переживая свое счастливое мгновение. Затихает река. Воцаряется мерность и гармония.

Герои рассказа Сукачева сдержанны в проявлении чувств. Зато они точно угадывают пошлость, душевную грубость, неделикатность и противостоят им.

Старый зверовод Егор Васягин, всегда готовый к любой работе («...тебя, дурня, в космос пошлют — не откажешься»), идет наперекор приказу директора, оставляет свой пост, возвращается в деревню, потому что не может убить лошадь и отдать ее на корм соболям. Слишком много с ней связано, и нельзя заглушить память сердца.

Писатель всегда рисует момент прозрения, какого-то духовного сдвига. Этот про-

цесс выражается через ряд эмоциональных состояний, смену настроений. Фабула играет явно подчиненную роль, потому что автора интересуют лишь ударные события — импульсы эмоционального переживания. Другие звенья фабулы опускаются.

Мы ничего не знаем о работе учителя Григория Соловьева, о том, как он вырастил прекрасный сад, как получилось, что всю свою жизнь он прожил с женщиной чужой, далекой ему, хотя настоящая любовь жила рядом. Эти ситуации в эпическом произведении были бы развернуты, исследованы обстоятельно, но мы застаем Григория Соловьева в его предсмертный час, когда все этапы жизни уже пройдены, и теперь они, как итоги, проходят перед ним, обнажая сущность. Вот пришла Наташа, подруга детства, товарищ по работе, хочет его развеселить. Она говорит о том, что ребята спрашивали о нем, что сад его цветет, что ребята следят за ним, как прежде. Григорий напряженно слушает, сжимается на диване: это его победа. Только две яблоньки, засохли, говорит Наташа, и они понимают сейчас, что никогда уже не будут вместе. Наташа плачет, а он, оказавшись на мгновение сильнее, утешает ее.

Победы и потери: слезы безысходности, рождающие просветление. В финале рассказа этот драматический узел предельно обостряется. В своем саду Соловьев слышит голос жены, смеющейся над ним. И все же в последние мгновения он видит звездное небо, слышит запах яблонь, и эта музыка земли перед смертью успокаивает его.

В книге есть цельность, идейная и стилистая: тонкость, поэтичность мироощущения героя закономерно рождает обращение автора к жанру лирического рассказа, классические образцы которого представлены в творчестве Тургенева, Чехова, Бунина.

Кстати, повесть, давшая название всей книге, задуманная как произведение широкого эпического дыхания, наименее удалась автору. Несколько сюжетных линий, несколько любовных пар и традиционный треугольник. Везде своя история любви, своя нравственная основа любви, специфика ее проявления. Однако намеченные возможности не реализованы автором. Лишь отношения Савелия и Таисы покоряют истинным драматизмом. Главная героиня интересна только в финале, в момент прозрения, а Сергей, ее романтическая любовь, так и остается тенью («...он уходил так спокойно, такой высокий и решительный, с серебристыми волосами в лунном свете»). В повести ощутимее словесные клише: и книжно-романтические, и грубо просторечные («танцы до упаду», «ни кожи ни рожи», «ни груди ни заду»). Эпическая форма потребовала насыщения жизненной конкретикой из области социальных отношений, быта, природы, причем впервые увиденной и осознанной автором, потребовала характеров с четкой нравственно-

психологической доминантой и обнаружила, что писатель пока еще неуютно, робко чувствует себя в решении масштабных художественных задач.

Финалы повести и рассказов Сукачева почти всегда устремлены в будущее. В них ощущение черты, за которой начнется другая жизнь, а все, что было до черты, — подготовка. Мотив, очевидно, близкий автору.

Дело вовсе не в том, что от лирической прозы нужно идти к эпосу.

Лирическая проза требует абсолютного слуха, единственного слова, единственного варианта построения фразы. Здесь приближенность мышления автора в лирике измеряется глубиной подтекста, емкостью детали, широтой ассоциативного поля, которое рождает она в сознании читателя, остротой эмоционально-психологического конфликта, его сопричастностью с главными проблемами эпохи.

И философичность, и многоцветье жизни должны уместиться в микромире лирического образа. В этом контексте, мне кажется, следует читать мудрое напутствие В. Астафьева: «...за трудную работу взялся Вячеслав Сукачев, взялся серьезно, талантливо. И многое с него спросится, ибо многое ему и дано».

Л. ЗЕЛЬЦЕР.



АДРЕСОВАНО ДЕТЯМ

Немногим более десяти лет назад на Читинском семинаре молодых писателей Восточной Сибири и Дальнего Востока, в секции детской литературы обсуждались стихи и рассказы Валерия Шульжика. Солнечная забывкальская осень стояла за окнами только что построенной гостиницы, первыми жильцами которой стали молодые прозаики и поэты, и символический ключ от нее, от имени строителей, был вручен Леониду Соболеву. Город по-праздничному встретил своих гостей. И поэтому, наверно, на семинаре, несмотря на то, что там шел требовательный, профессиональный, без скидок на молодость разговор, царил праздничное настроение. Это было как бы предчувствием того, что здесь на семинаре зазвучат новые, незаурядные голоса молодых литераторов.

И оно оправдалось. Многие участники семинара выпустили уже по несколько книг, замеченных и критикой и читателями, и стали членами Союза писателей. Среди них и хабаровский поэт, прозаик и драматург Валерий Шульжик.

Хочется отметить верность В. Шульжика своему самому любознательному и благодарному читателю — ребятам от семи до четырнадцати лет. Несмотря на то, что у Валерия Шульжика есть стихи, рассказы

и пьесы для взрослых, большинство его произведений адресовано ребятам. Для них же написана и его последняя книга, сборник стихов «Ночная музыка»¹.

Детский читатель меняется быстрее, чем какой-нибудь другой. Он стремительно взрослеет. И уже в восьмом, девятом и особенно в десятом классе ребята забывают свои детские книги и начинают тянуться к большой поэзии, к Пушкину и Есенину, Маяковскому и Багрицкому, к стихам Р. Гамзатова и В. Федорова. Но чаще всего это происходит после того, как в детстве в руках у них побывали добрые, веселые тоненькие книжки с картинками на каждой странице. Книжки, заронившие первые зерна любви к поэзии, к музыке слова, к гибкости родного языка.

Какой бы поток информации ни обрушивался на наших детей через теле- и киноэкраны, радио, детские театры и, разумеется, через школьные уроки, хорошие детские стихи играют свою особую роль и в воспитании юного человека, и в сложном процессе познания им окружающего мира.

О чем же рассказывает юному читателю В. Шульжик в новой книжке? Что она несет ребятам? Ведь в сборнике почти семьдесят стихотворений, значит, у автора большая возможность поговорить с читателем.

Возьмем, например, «Стихи о далеком друге». Рассказано в них о старом лесничем, который живет «в лесу, где гомон птичий, один, как лесовик». Есть у него собака, «отличная собака, ее попробуй тронь...», есть у него винтовка и «старый добрый конь». И вот в эти стихи о лесничем и его друзьях, в добрый мир птиц и деревьев вдруг врывается тревожная нота:

Над крышей
Гомон птичий
И шорохи ветвей.
А в домике лесничий
Грустит без сыновей.

А дальше читатель узнает, что сыновья лесничего не просто уехали куда-то и где-то живут:

Они ушли когда-то
На фронт, а не куда-то,
Они ушли в солдаты,
И нет их много дней.

И еще узнают ребята, что так и не вернулись сыновья лесничего: «один погиб в деревне по имени Деревня, другой у реки по имени Река». Этот авторский прием, где за кажущейся неконкретностью (Деревня и Река с прописной буквы, да и сам лесничий «по имени Лесник») вдруг встает большое обобщение, когда поэт просит читателя написать «по адресу такому: Рос-

сия. Леснику», позволяет ему завести разговор с ребятами на важную общественную тему.

А в стихотворении «Накошу вам, кони, сена», теми же средствами детской поэзии, конечно, упрощенно, поднимается романтическая тема гражданской войны. А всего-то в этом стихотворении рассказывается как

Дед, в ромашках по колено,
Бродит по лугу, сердит.
Косит сено, носит сено
И на сено глаз косит.

Оказывается: «был косарь кавалеристом» и косит он сено для коней:

Ах вы, кони, птицы-кони,
Дети ветра и огня,
От засады и погони
Уносили вы меня.
Я тружусь для Вас косою,
А в ушах моих стоит
Зов трубы, раскаты боя,
Звон серебряных копыт...

Можно проводить с ребятами интересные беседы о нашей родной природе, о лесе и его обитателях. Они, конечно же, принесут свою пользу. И поэт не может соревноваться с краеведом в количестве тех полезных сведений, которые даст такая беседа. У поэта своя задача — эмоционально воздействовать на чувства читателя.

Есть в книжке «Ночная музыка» стихотворение «Часовой». В нем автор рассказывает, как в промокшем лесу от дождя не спрятался только часовой-муравей. «Дождинки колотили по стволу», «Но муравей еловую иглу сжимал, как будто воинскую пику». Чтобы спасти муравейник, он был готов пожертвовать собою и кричал человеку: «Быстрее уходи! Я — муравей, и я немало стою!» Поле сражения человек уступил без борьбы, а уходя «сахару пиленого кусок оставил на траве для часового».

И пусть ребята не узнают из этого стихотворения, чем полезен муравей, не узнают подробностей сложной жизни муравейника, но доброе отношение к маленькому муравью у них останется. Не может не остаться. А стихотворений, пробуждающих любовь к природе, к ее обитателям, в книжке много.

Еще с первых в русской поэзии стихотворений для детей, написанных Жуковским, с басен Крылова, сказок Пушкина, а потом стихотворений Некрасова, в детской поэзии утвердилась, как писал И. Мотышев в исследовании «Путь к книге»: «сюжетность и событийность стиха». Каждое стихотворение В. Шульжика рассказывает, пусть маленькую, но свою историю, и это также нельзя не отнести к достоинствам книжки.

Дети любят веселые стихи, да и кто из нас взрослых их не любит, — но дети особенно. Воспитание у маленького человека чувства юмора — это тоже, наверное.

¹ В. Шульжик. Ночная музыка. Стихи для детей. Хабаровск, Кн. изд., 1976.

одна из задач детской поэзии. Стихи у В. Шульжика, в большинстве своем, веселые. Это и короткое, всего из восьми строк стихотворение «По грибы старик собрался», это и стихотворение «Уронила белка шишку», и «Случай на телевиденье», и многие другие.

В книге «Ночная музыка» три раздела: «Утренний лес», «Ее Величество королева» и «Запах моря». В первом собраны стихи о лесе и «братьях наших меньших» — животных и зверях, стихи о людях, защищающих и преобразующих природу. Второй раздел составляют короткие сказочные истории, написанные с завидной выдумкой и юмором. Третий же раздел рассказывает о море и его обитателях.

Мне кажется, что эта часть сборника оказалась наиболее слабой. Есть, конечно, в ней и хорошие стихи, такие как «Запах моря», «Рыболов», «Арбуз-мореход», «Дельфин» и некоторые другие. Зато здесь встречаются стихотворения, хотя и написанные вполне профессионально, но решенные очень уж подручными средствами, теми, что на виду. Таково стихотворение «Шторм», в котором «море мокрыми руками хлещет скалы по щекам», ветер, разумеется, «рвет на клочья тучи» и только «один маяк на круче не боится ничего!» Ради этого маяка, собственно, и написано стихотворение. Вместо маяка можно было поставить утес, большой океанский корабль, что-то еще. Такими же стихотворениями, не выделяющимися авторскими находками, мне показались стихи «Ракотшельник», «Летучие рыбы», «Акула», «Коралл».

Но в целом книжка В. Шульжика принесет ребятам радость своим мягким юмором, теми маленькими и большими открытиями, которые делает юный читатель.

Нельзя не сказать и о других недостатках книги. Издательство щедро включило

в сборник большое количество стихов, но, экономя бумагу, сверстало эти стихи в подбор, так что часто на одной странице толпятся по два, а то и по три стихотворения. Стихам явно тесно на маленькой полосе набора. Бумага, на которой напечатана книга, серая и ломкая (типографская № 3). Можно вспомнить уже несколько постановлений, предусматривавших, что

для детских книг должна идти лучшая бумага. И Хабаровское книжное издательство иногда выпускает детские книги на такой бумаге, но вот книгам уже нескольких авторов на этот счет не везет.

И последнее. Мало, очень мало книг для ребят выпущено в Хабаровске с цветными иллюстрациями. Разговор об этом идет не сколько лет, но так и не находит положительного решения.

Н. НАВОЛОЧКИН

ТРИДЦАТЫЙ ПРАЗДНИК ЖИЗНИ

Я давно и пристрастно слежу за творчеством Ильи Фаликова. Пристрастно — потому, что принимаю его поэзию.

С высоты давнего знакомства с поэтом мне видятся в его творчестве три резко очерченных периода: «Розовый олень» (1966), «Олень» (1970), «Месяц гнезд» (1975)¹. Я должен сразу же оговориться: «Розовый олень» не название книги Фаликова, и даже не название его стихотворения. Так озаглавлен коллективный сборник издательства «Правда», собравший под своей обложкой лучшие стихи участников поэтического конкурса, проводимого газетой «Комсомольская правда».

Михаил Луконин тогда писал: «Илья Фаликов еще очень молод. Он делает первые шаги в поэзии. Его стихи отличаются упругой ритмикой, романтической приподнятостью, яркостью красок:

Высок-высок стоит восток
На сопках высоты орлиной,
Как розовый олень, восход
Идет по Сихотэ-Алиню, —

говорит поэт в стихотворении «Страна оленья», которую нашел его лирический герой в суровом краю романтиков и первопреходцев».

Но прошло время — пять лет — и спал розовый флер со «страны оленья» и появилась просто «Олень» — сборник стихов поэта, возмужавшего, издевавшего «льда и огня». Но это были та же страна, тот же лирический герой. Были в этой книге и ранние утраты, и горестные утра, и добрые вечера.

Сложна судьба поэта, но ведь ежели она проста — поэта нет. Так вот, просто «Олень» был далеко не прост. В этой переходной для поэта книге уже зрела книга иная, зрело иное восприятие жизни, иной отклик на события, происходящие внутри и вне поэта.

Фаликов назвал свою новую книгу «Месяц гнезд». В стихотворении «Приближение апреля», открывающем книгу, есть строки:

...Птиц на небе — не менее звезд.
Где ты, птичник? Покуда не поздно,
окрести его месяцем гнезд -
этот месяц.

А где наши гнезда?

В этом вопросе: «А где наши гнезда?» — свой смысл. Если даже «гнездо» поэта облицовано полированной мебелью, оно все равно парашаается ивовыми прутиками и колет постеленной сухой травой. Для настоящего поэта гнездо — земной шар, спле-

¹ И. Фаликов. Месяц гнезд. Владивосток, Дальневост. кн. изд., 1975.



тенный из веточек меридианов и широт. Огромное обиталище! И за всех больно, даже если кому-то сейчас радостно. Да, это так. Вот строчки из стихотворения, закрывающего книгу «Месяц гнезд».

Давай с тобой на пару
придумаем слова,
чтоб шла по тротуару
осенняя листва.

Чтоб шла, как жизнь проходит,
подошвами шурша,
и в шелест переходит
пристрастная душа.

...Поэтому, возможно,
знакомцы и родня
по правде, а не ложно
болеют за меня.

И просто все дается —
как золото, как медь...
И что мне остается?
О завтрашнем надеяться.

Смотрите, что происходит: рядом — «А где наши гнезда?» и «О завтрашнем надеяться?» А внутри — целый мир. Мир очень не ровный. Как сама земля. Так и поэзия, очевидно, не может быть ровной. Поэт не может жить «по привычке», если даже эти привычки он себе придумывает. Он пишет:

Мокнут спички, не стихает качка,
и, верна домашнему огню,
по привычке ждет меня рыбка —
да, привычкой это объясню.

Стихи эти о Шикотане, а на Шикотане никто никого «по привычке» не ждет, и никто ни к кому по привычке не ходит. Все только в первый раз. Таков уж остров в пустыню.

Может быть, здесь отсутствие того самого гнезда — колкого, но теплого, а значит — одиночество. Я не знаю и даже не предполагаю, я только сопереживаю. А это немало — заставить сопереживать. Я уже говорил о «розовой краске» в стихах Фаликова. В этой книге и в помине ее нет — розовой. Густые — то холодные, то теплые тона — палитра книги «Месяц звезд».

...Передо мною альманах «Поэзия» за 1974 год. В нем есть стихи Фаликова. Хорошие стихи. На обложке альманаха профиль Пушкина, начертанный быстрым пером самого поэта. Покатый лоб, покатый нос, похожий на кончик гусяного пера, и твердый подбородок, и завихрения буйных волос на затылке — черные пушкинские чернила.

Пусть не удивляет вас это отступление. Я — о традициях. О классических традициях русской поэзии. Фаликов в этом плане сугубо традиционен. Я прирастен и поэтому считаю, что это хорошо. «Месяц гнезд» — почти сплошные ямбы. Пять стоп или четыре стопы — это уже не столь

важно. Ямб! И все тут! И еще хорей. Любит этот размер Фаликов и не боится его.

Учителя Фаликова явно прослеживаются и среди них — Александр Межиров. Но при всем при этом — Фаликов — сам!

И это главное в его новой книге.

...Почему, как блажное дитя,
треплет ветер суровые нити
обложного дождя?

Что нас связывает меж собою?

Общий опыт? Убежище? Кров?

Или этот,
за кромкой прибоя,
рев далеких миров?

Кромка земного прибоя и «рев далеких миров». Всегда интересно проникнуть в сокровенное бытие автора. Поэты в этом смысле не очень гостеприимны. Только книга — дверь в его душевную обитель. Вышла книга — извольте! А книга ведь непременно пойдет по рукам с библиотечного благословения, как и должно быть.

Кстати, о свободе говорить сложно и ясно. Фаликов бесспорно владеет этим даром. Я не оговорился, именно владеет, а не просто обладает. Ведь обладать мало, надо еще уметь владеть им, этим святым даром.

Мы отличаемся друг от друга, отличия эти неосознаны, невидимы, но они есть и в том суть индивидуальности.

Когда закончу дело
постылое мое,
душа покинет тело, —
а кто я без нее?
При всем честном народе
уйдет в небытие,
как женщина уходит.
А кто я — без нее?

Когда «душа покинет тело» — это и есть финал жизни. Нет, не физический, а нравственный. Нет ничего страшнее духовной смерти.

Книга Ильи Фаликова «Месяц гнезд» — серьезная работа зрелого поэта. Это работа художника зоркого, обладающего тонким слухом. Музыкальным слухом. Я люблю такую поэзию. Я уже цитировал строчки из стихотворения «Циклон». Но прочтите его целиком от первой до двадцать пятой строчки, и вы услышите: «Будет воздух морозен и ясен. И такими же будут слова. И закат будет грозен и красен и пронизет насквозь дерева». Он весь музыkalен, поэт Илья Фаликов. И мне даже кажется порой, что это не книга стихотворений, а нотная тетрадь, где на пяти строгих линейках-веточках расположились чайки, иволги, олени, тигры, чижи. А люди, населяющие эту тетрадь, ходят между пяти линеек и общаются с их хозяевами, и получается музыка.

Поэту за тридцать. Стихотворение, строкой из которого я озаглавил эти заметки, написано как раз на рубеже тридцатилетия.

«Тридцатый праздник жизни» для Ильи Фаликова наступил. И можно искренне поздравить поэта с ним.

В. ПУШКИН.



САХАЛИНСКИЕ ТРОПЫ

ШТЕРНБЕРГА

Вышла в свет книга Н. И. Гаген-Торн «Лев Яковлевич Штернберг»¹. Историки культуры, этнографы — все, кто интересуется дальневосточной историей, получили новое исследование о крупном ученом — зачинателе сибирской этнографии, чьи труды о малых народах Дальнего Востока до сих пор являют пример глубокой научности.

В предисловии, написанном членом-корреспондентом АН СССР Д. А. Ольдерогге, говорится о той выдающейся роли, которую сыграл Л. Я. Штернберг в деле изучения малых народов Дальнего Востока. «Всю жизнь и научную деятельность Штернберга, — пишет Ольдерогге, — автор освещает в форме беллитризованной биографии, и перед нами встает образ замечательного человека, ученого и учителя, горячо, искренне и беззаветно любившего науку, ту науку, которой он отдал свою жизнь».

Н. И. Гаген-Торн в начале книги словно дает читателю ключ, который открывает сложную, полную тревог и испытаний жизнь человека, сосланного на каторгу. «Молодой человек, — читаем мы, — с яркими темными глазами и черной курчавой бородой шагает по камере. Шагает уже два часа, ждет, когда солнце поднимется так высоко, чтобы лучи отразились от белой стены напротив и осветили тюремную камеру... Третий год он в одиночке. Взяли в апреле, перед самыми государственными экзаменами... Не успел окончить университет», Этим молодым человеком и был Лев Яковлевич Штернберг. За участие в народолюбческом движении он был выслан на десять лет на остров Сахалин. Тяжелая жизнь не сломила Штернберга, он нашел в себе мужество, чтобы и в жизненно невыносимых условиях заняться этнографией и языком малоисследованного народа — нивхов.

В первой части книги, названной автором «Вихри враждебные веют над нами», рассказывается о революционной деятельности Л. Я. Штернберга, о первых годах его научно-исследовательской работы. Затем читатель познакомится с петербургским периодом жизни ученого, с его научно-организационной и педагогической деятельностью.

В становление и развитие советской этнографии Л. Я. Штернберг внес весомый вклад. «Многие совершенно не представляют себе, — писал он, — что без этнографии, без ее данных, классификации и обобщений нет и не может быть науки о человечестве и его культуре в пространстве и времени. Проще говоря: невозможна ни наука, которая именуется «историей», ни такая дисциплина, как социология... Величайшая заслуга этнографии в том именно, что она впервые установила конкретное представление о человечестве в целом. Это она, если можно так выразиться, впервые сделала переключку всех народов планеты».

Л. Я. Штернберг считал, что этнограф должен изучать культуру народа глубоко, обязательно знать его язык. «Этнография, — говорил Л. Я. Штернберг, — даже больше, чем наука: чем мировоззрение. Она — мирооткрытие». Да, исследователь-этнограф как бы открывает заново народ, изучает черты его истории, культуру, искусство, психологию, нравы. Работы Л. Я. Штернберга вдохновлены светлой мечтой о будущем народов, чью историю он изучал, в чей мир он старался проникнуть как можно глубже и обстоятельнее.

Основные свои труды Л. Я. Штернберг посвятил изучению нивхов Сахалина. Ученый понимал, что история этого народа, его социальный быт, верования, мировоззрение таят в себе много неразгаданных тайн. Нужно собрать как можно больше этнографических свидетельств о жизни этой народности, чтобы ее история не канула в прошлое. «В историческую могилу эти народы унесут с собой навеки много такого, что может служить к разгадке самых таинственных сторон истории учреждений, верований и древнейших миграций народов», — так писал Л. Я. Штернберг. Исследователь видел, в какой нищете живут малые народы — нивхи, нанайцы, оро-чи и другие. Но он также видел и то, что они наделены природой добрым нравом, мягким характером, глубокой человечностью.

Долгими вечерами Лев Яковлевич изучал нивхский язык, записывал сотни терминов, тщательно анализировал их. Постепенно он стал понимать нивхов, разговаривал на их языке. Этнографическое изучение нивхов привело Штернберга к настоящему открытию. В 1891 году исследователь записал: «У сахалинских гиляков (старое название нивхов. — П. Г.) еще живо супружеское право каждого гиляка на жен своих братьев и на всех сестер своей жены».

Энгельс, ознакомившись с работой Л. Я. Штернберга, высоко оценивал его заслуги в подтверждении им марксистского учения о развитии общества и существовании на заре человечества группового брака.

Л. Я. Штернберг также занимался изучением жизни и культуры нанайцев, ороков, айнов, негидальцев, орочей. История и этнография этих народов, их духовная

¹ Н. И. Гаген-Торн. Лев Яковлевич Штернберг. М., «Наука», 1975.

и материальная культура во многом раскрыта в его трудах. Штернберг считал, что «все народы одинаково способны к творчеству, и близко то время, когда человечество станет единым не только как единый физический коллектив, но и как единый коллектив культуры». Так сказать полвека тому назад мог только гуманист, глубоко и искренне веривший в то, что малые народы Дальнего Востока с помощью их старшего брата — русского народа — добьются замечательных успехов в области культуры, науки, искусства.

Л. Я. Штернберг создал свою этнографическую школу. Его ученики сегодня стали крупными исследователями в области истории, этнографии и языков малых народов Дальнего Востока. Это — С. В. Иванов, Ю. А. Крейнович, В. И. Цинциус и другие; они с честью выполняют заветы своего учителя. С. В. Иванов, пятидесятилетие научной деятельности которого недавно отмечала научная общественность Ленинграда, написал фундаментальную работу по декоративному искусству народов Амура. Работы Ю. А. Крейновича посвящены языку и этнографии нивхов. В области изучения языков малых народов, их древнейшей истории работает и В. И. Цинциус. Она помогает молодым исследователям постичь тайны древних языков народов Дальнего Востока.

За годы Советской власти из среды малых народов вышли свои ученые. В области филологии успешно работают кандидаты филологических наук: нивхка Г. А. Отаина, нанайцы Н. Б. Киле, С. Н. Оненко, чукча П. И. Инэнликей. Этнографией малых народов особенно плодотворно занимаются кандидаты исторических наук нивх Ч. М. Таксами, ительменка Н. К. Старкова, нанайка научный сотрудник Е. А. Гаер, эвенка У. П. Попова.

Вероятно, Н. И. Гаген-Торн не ставила перед собой задачу всеобъемлющего охвата жизни и творчества замечательного советского этнографа Л. Я. Штернберга. Пожалуй, в одной небольшой книжке такую задачу выполнить невозможно. И все же хотелось бы высказать ряд пожеланий и критических замечаний.

На наш взгляд, автору следовало более рельефно нарисовать образ Штернберга — человека. Рецензенту приходилось слушать людей, хорошо знавших Л. Я. Штернберга, они говорили о его необыкновенных человеческих достоинствах: искренности, исключительной доброжелательности, отзывчивости и чуткости. Читателю интересно было бы узнать Л. Я. Штернберга в кругу семьи и близких.

Желает быть лучшим оформление книги. Книга только выиграла бы, если бы в ней был приведен фотоматериал и графические рисунки. Нет сомнения, что автор располагает таким материалом.

Л. Я. Штернберг мечтал о том, чтобы малые народы жили полной и счастливой жизнью, чтобы все их мечты претворились в действительность. И свершилось чудо:

сегодня нивхи и нанайцы, ороки и ульчи, негидальцы и удэгейцы живут новой жизнью, которую им дала Советская власть.

П. ГОНТМАХЕР,
кандидат исторических наук.



ТОРЖЕСТВО РОССИЙСКОЙ КОММУНЫ

Именно об этом мечтали и это гениально предвидели К. Маркс и Ф. Энгельс, когда почти сто лет тому назад, 21 марта 1881 года, в письме Председателю Славянского митинга, созданного в Лондоне в честь годовщины Парижской коммуны, подчеркивали: враги коммуны никак не предполагали, что «не пройдет и десяти лет, как в далеком Петербурге произойдет событие¹, которое в конце концов должно будет неизбежно привести, быть может, после длительной и жестокой борьбы к созданию российской Коммуны»².

Основоположники научного коммунизма проявляли пристальное внимание к России; ее истории и культуре и особенно после 1861 года к судьбам капитализма и трудящихся масс нашей страны. Комплексное исследование данной проблемы важно прежде всего потому, что позволяет глубже осмыслить социально-экономические процессы, имевшие место в истории нашей родины во второй половине прошлого столетия и определившие место и роль России в мировом революционном движении. И не случайно отношение К. Маркса и Ф. Энгельса к России уже давно вызывает живой интерес исследователей и широких масс читателей.

Среди ряда работ, посвященных изучению данной проблемы, выгодно выделяется недавно опубликованная книга доктора исторических наук Р. П. Конюшей «Карл Маркс и революционная Россия»³. Перед нами тщательно выполненная монография, насыщенная богатейшим фактическим материалом и глубокими теоретическими обобщениями.

Монография Р. П. Конюшей подкупает не только богатством фактических данных, раскрывающих отношение классиков марксизма к России, ее революционного грядущего, но и глубиной анализа данной проблемы, а также остротой критики незадач-

¹ Имеется в виду убийство Александра II, которое произошло 1 (13) марта 1881 г. по приговору Исполнительного комитета «Народной воли».

² Сб. «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия». М., Политиздат, 1967, с. 87.

³ Р. П. Конюшая. «Карл Маркс и революционная Россия». М., Политиздат, 1975.

ливых фальсификаторов марксизма-ленинизма. Автор книги опирается не только на уже известные данные, но и широко использует значительный фонд рукописных материалов, хранящихся в Центральном партийном архиве. Лишь третья часть последнего, как указывает автор, опубликована ИМЛ при ЦК КПСС в XI, XII и XIII томах «Архива Маркса и Энгельса». Этим во многих отношениях определяется оригинальность данного исследования, его новизна и актуальность. Однако прежде всего острота проблемы, составляющей содержание монографии, мотивируется тем обстоятельством, что в последнее время в ряде стран буржуазного Запада широко распространяются чудовищные вымыслы о том, что якобы гениальный основоположник научного коммунизма, большой друг и страстный поборник прогрессивных и революционных сил России, видел в ней лишь реакцию и царизм, будто он проходил мимо созревших в стране революционных сил.

Все эти рюбели (И. Рюбель — автор пресловутого «Очерка духовной биографии К. Маркса»), краузе (имеется в виду книга Х. Краузе «Маркс и Энгельс и современная им Россия»), майеры и прочие «советологи» и отщепенцы из кожи лезут вон, чтобы «доказать», что Маркс и Энгельс «не могли дать объективной картины России», что «Маркс был немцем, ненавидящим Россию» и так далее.

Всем этим бредомствованиям явных и скрытых врагов марксизма-ленинизма, стремящихся утверждать, что Маркс не имеет ничего общего с теорией и практикой современного коммунистического движения, автор монографии противопоставляет Монблан неопровержимых фактов, подтверждаемых опытом истории и практикой современной эпохи, который нагляднейшим образом опровергает жалкие потуги незадачливых фальсификаторов. Напомним, что гениальный продолжатель дела Маркса и Энгельса В. И. Ленин, которому не были и не могли быть тогда известными архивы основоположников научного коммунизма, с удивительной точностью и глубиной определил их истинное отношение к России. «Маркс и Энгельс, оба знавшие русский язык и читавшие русские книги, — писал Владимир Ильич, — живо интересовались Россией, с сочувствием следили за русским революционным движением и поддерживали сношение с русскими революционерами»¹. Более того, они «...были полны самой радужной веры в русскую революцию и в ее могучее всемирное значение»².

Эти высказывания Ленина находят свое аргументированное подтверждение в монографии Р. П. Конюшей. Автор указывает на два периода в процессе изучения Рос-

сии Марксом и Энгельсом. Первый период восходит к 40-м годам XIX века и продолжается до начала 60-х годов, когда в процессе формирования марксизма и его утверждения в качестве революционной теории рабочего класса основоположники марксизма много внимания уделяли анализу внешней политики царизма в России, ее влияния на общественно-политическую жизнь в Европе. Примечательно, что уже в 40-х годах они квалифицировали царизм как один из основных оплотов реакции в Европе. На страницах «Новой Рейнской газеты» Маркс и Энгельс не только резко изобличали адептов реакционной России в лице царизма и связанных с ним многочисленных узурпаторов различных рангов. Уже тогда они выражали глубокую уверенность в том, что с помощью общеевропейской революции, возглавляемой пролетариатом, обязательно наступит новая полоса и в истории земли русской, когда «оковы тяжкие падут» и Россия вступит на путь великого революционного обновления.

Особый интерес представляет второй период в процессе изучения России Марксом и Энгельсом, который приобретает особый смысл в конце 60-х годов и продолжается Марксом до последнего дня его жизни (1883) и от этого рубежа до смерти Энгельса (1895). Именно этому периоду посвящена значительная часть монографии.

Интенсивность процесса изучения России Марксом и Энгельсом обусловлена рядом значительных явлений нашей отечественной истории, начиная с 1861 года. В результате поражения царизма в Крымской войне 50-х годов объективные условия исторического развития и ряд субъективных факторов общественной жизни страны, среди которых многочисленные крестьянские восстания занимают первое место, вызвали к жизни необходимость крестьянской реформы.

Анализ взглядов Маркса на реформу 1861 года и пореформенное социально-экономическое развитие России составляет содержание самой большой третьей главы монографии — «Социально-экономическое развитие России после 1861 года в оценке К. Маркса». Здесь убедительно показано, как тщательное изучение Марксом экономических работ выдающихся исследователей экономики России, начиная от «Писем без адреса» Н. Г. Чернышевского и «Положение рабочего класса в России» В. В. Берви-Флеровского и кончая работами Скалдина, Воронцова, Энгельгарта, а также многочисленных статистических материалов, характеризующих экономическое положение в России до и после крестьянской реформы 1861 года, привело К. Маркса к ряду важнейших выводов как относительно характера пресловутой реформы, так и перспектив социально-экономического и политического развития России.

Вскрывая сущность крестьянской реформы, К. Маркс решительно выступал против адептов официальной и либеральной пе-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, с. 13.

² В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 15, с. 247.

чати, превозносивших реформу как «вечный нерукотворный памятник души, сердца, мысли, энергии... наконец, беспредельной любви к народу императора Александра II». В противовес либеральному словословию, К. Маркс характеризовал реформу как «разбой и обман». На основании документальных и цифровых данных он разоблачал «мошенническое сколачивание помещиками капитала из крестьянских выкупных». Со свойственной Марксу революционной страстью и подлинно научной объективностью он квалифицировал реформу 1861 года как «антинародный акт», «акт царского вероломства», как «ловкую воровскую проделку».

Исследуя экономическое и политическое положение России в послереформенный период ее истории, Маркс и Энгельс были глубоко убеждены в том, что и для нее «настанет русский 1793 год». Классики марксизма указывали на неизбежность в России «грандиознейшей социальной революции», как писал Маркс в письме к Л. и П. Лафаргам от 5 марта 1870 года, ибо острота антагонистических противоречий между эксплуататорами и эксплуатируемыми реформой не только не была устранена, а еще более накалялась.

Анализируя положение крестьянских масс в России после реформы, К. Маркс констатировал непреодоленную закабаленность «освобожденного» крестьянства, а также сохранение барщинной системы земледелия, непомерную тяжесть выкупных платежей, всяческих сборов и поборов, которые навязывали крестьянству «добренские» помещики. На основании данных, опубликованных в «Трудах податной комиссии», Маркс убедительно вскрыл примечательные для тогдашнего русского государства чудовищные антагонизмы социальной жизни: паразитизм помещиков и нищету крестьянских масс; он обратил внимание на союз помещика и чиновника, предназначенный царскими властями для совместного угнетения и ограбления мужика.

Веками складывавшийся полицейско-бюрократический режим «чудовищной империи», как некогда А. И. Герцен называл Россию, выступал во времена Маркса и Энгельса в качестве мощной реакционной силы. «Разве русская правительственная система, — спрашивал Энгельс, — не то же самое, что военная оккупация, при которой гражданская власть и судебная иерархия организованы по военному образцу и которую должен целиком оплачивать народ?»¹. Однако тягостное положение широчайших масс народных не могло не вызывать соответствующего с их стороны сопротивления. Маркс и Энгельс с радостью констатировали вызревание революционного протеста. В своих «Записных книжках» К. Маркс сочувственно фиксирует наблю-

дения Флеровского, Скалдина и других современников эпохи реформы, которые свидетельствовали о нарастании народного гнева по адресу узурпаторов земли русской.

Особого внимания заслуживают те страницы центральной главы монографии, которые посвящены характеристике суждений К. Маркса по вопросу о развитии капитализма в России (с. 310—313). Пионером капитализма в земледелии явилась, по мысли Маркса, свекло-сахарная промышленность. Капитализация сельскохозяйственного производства утверждала дальнейшую дифференциацию крестьянства, усиливала «мироедство» и другие проявления пореформенного экономического развития страны. «Хотя Маркс, изучая пореформенную историю России, не имел в своем распоряжении всех тех (массовых) данных, — справедливо подчеркивает Р. П. Конюшая, — которые исследовал и которыми оперировал в своих трудах В. И. Ленин, все же он имел возможность получить, как это видно из его рукописей, правильное представление об основной тенденции, об общем характере и направлении пореформенного экономического развития страны».

В ходе исследования новых явлений в развитии экономики России Маркс обратил внимание и на такие факторы капитализации страны, как развитие торговли, железнодорожного транспорта, промышленности и т. д., наглядно свидетельствовавшие о том, что реформа 1861 года при всей ее ограниченности явилась в целом серьезным стимулом, определившим будущее страны.

Сопоставляя экономические исследования пореформенной России Маркса и В. И. Ленина, Р. П. Конюшая констатирует общность и полное совпадение их взглядов.

В процессе исследования новых экономических явлений, характеризующих пореформенную Россию, Маркс и Энгельс пришли к выводу о полной несостоятельности народнической концепции относительно русской сельской общины как искомой панацеи от всех социальных бедствий. «Вы помните, — писал в этой связи Ф. Энгельс Даниельсону в 1892 г., — что говорил наш автор в письме по поводу Жуковского: если Россия и дальше пойдет по тому пути, на который она вступила в 1861 г., то крестьянская община обречена на гибель. Мне кажется, что именно сейчас это начинает сбываться...»¹.

Будущее России основоположники научного коммунизма связывали с дальнейшим развитием капиталистической частной собственности, с вызреванием в недрах капитализма революционного пролетариата, которому и в этой стране надлежит быть «могильщиком» господина капитала.

«...Отмена крепостного права в сущно-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 9, с. 35.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 38, с. 265.

сти лишь ускорила процесс разложения... Предстоит грозная социальная революция»¹. Именно к этому умозаключению и пришел К. Маркс в результате тщательного и всестороннего анализа русских источников 60—70 годов прошлого столетия. Подробный анализ этих источников дан в IV главе труда Р. П. Конюшей, которая знаменательна уже по своему названию: «Вера в русскую революцию. Отношение к русским революционерам».

Пристальное изучение российской действительности привело основоположников марксизма к глубокому убеждению, что в России имеется превосходный источник революционной энергии народа. Этим и объясняется тот факт, что в своем предисловии к русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» — программному документу научного коммунизма (21/I-1882 г.) они подчеркивали «...Россия пред-

ставляет собой передовой отряд революционного движения в Европе»¹.

Дальнейший ход исторических событий блестяще оправдал великие предначертания основоположников научного коммунизма. С победой Великого Октября Россия действительно превратилась в оплот революционного движения всего мира; в результате полной и окончательной победы социализма в нашей стране она стала немеркнущим вдохновляющим маяком социального обновления всего человечества.

Исследование Р. П. Конюшей во многом обогащает наши представления об отношении К. Маркса и Ф. Энгельса к революционной России. Автор книги «Карл Маркс и революционная Россия» внес значительный вклад в развитие советской науки.

С. ВЛАДИМИРСКИЙ.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 32, с. 364.

¹ Сб. «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия». М., Политиздат, 1967, с. 89.



НОВЫЕ КНИГИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ

ХАБАРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

СОЛНЦЕ ВО ВСЕ НЕБО. Литературно-художественная хрестоматия о природе Дальнего Востока. Вст. ст. Вс. Сысоева. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 340 с. (Байкало-Амурская библиотека «Мужество»), Тираж 50 000 экз. Цена 1 р. 26 к.

Литературно-художественная хрестоматия «Солнце во все небо» — о неповторимой по красоте и своеобразию дальневосточной природе — выходит в серии «Байкало-Амурская библиотека «Мужество», посвященной строителям Байкало-Амурской магистрали. «В руках у вас книга «Солнце во все небо». В ней заключены лучшие произведения о природе Дальнего Востока... С наслаждением ее прочтут все, кто любит родную природу. Книга обогатит людей знаниями, поможет эстетическому воспитанию, развитию патриотических чувств, гордости за свой край. Многие, прочитав ее, захотят посетить наши края, связать свою судьбу с Дальним Востоком. Они не разочаруются в этом», — так пишет, обращаясь к молодым читателям, во вступительной статье дальневосточный натуралист и писатель Всеволод Сысоев.

М. Ханух. ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ. Очерки. Хабаровск. Кн. изд., 1976. 96 с. Тираж 1000 экз. Цена 12 коп.

«Один день из жизни» — первая книжка очерков журналиста-дальневосточника Михаила Хануха. Сформировалась она из его встреч с людьми, которые выращивают хлеб, строят самые современные машины и находятся на переднем крае науки. Герои его очерков — председатель колхоза «Заветы Ильича» Герой Социалистического Труда В. И. Пеллер, ветеран партии и труда З. Г. Сгибнев, врач П. С. Бессмертный и шофер Герой Социалистического Труда И. Я. Павлюков.

В. Г. Короленко. СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ. Повесть и рассказы. Послесл. В. Зарвойной.

Хабаровск, Кн. изд., 1976. 192 с. (Для детей среднего школьного возраста). Тираж 200 000 экз. Цена 24 коп.

В книгу русского писателя В. Г. Короленко вошли повесть «Слепой музыкант» и рассказы «Мгновение» и «Огоньки».

С. В. Стаценко. МЕТОД ИСПЫТАН ТРУДОМ. Лит. запись В. В. Фатеева. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 44 с. (Опыт новаторов — в массы!) Тираж 1000 экз. Цена 6 коп.

В брошюре бригадира укрупненной комплексной бригады докеров-механизаторов ордена Трудового Красного Знамени Ваннинского морского торгового порта С. В. Стаценко рассказывается о передовом методе погрузочно-разгрузочных операций, позволившем бригаде выполнить задание девятой пятилетки за три с половиной года.

РЫБОЛОВ ПРИАМУРЬЯ. Сборник. Ред.-сост. Е. И. Бугаенко. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 312 с. Тираж 50 000 экз. Цена 57 коп.

Сборник «Рыболов Приамурья» — добрый советчик любителям рыболовного спорта, в нем описаны наиболее интересные водоемы, маршруты, случаи из походной жизни энтузиастов спортивного рыболовства. В книжке имеется карта некоторых водоемов, выполненная в цвете.

«Книжка для рыболовов-любителей рассказывает о тайнах амурских проток, о секретах ловли амурских рыб, о том, как сварить уху, советует, куда поехать на рыбалку в очередной выходной. Отдых на природе, у реки, с удочкой или спиннингом в руке не только увлекательное занятие, но и отличное... лекарство... Пусть эта книжка будет вашим спутником в походах по Приамурью», — так авторы определяют цели этого ценного издания.

«Рыболов Приамурья» выходит вторым, существенно переработанным и дополненным изданием.

А. ЕВГРАФОВ.





Альфред ПРОЗОРОВ

ВАРЕЖКИ

Случилась эта история в детском саду.

Аня, Света, Коля, Наташа, Боря и остальные мальчики и девочки крепко спали после обеда. Не спали только варежки — черные, синие, красные, зеленые. Матерчатые и шерстяные. Все они тесно лежали на батарее парового отопления и грелись. А чтобы не скучно было, потихоньку разговаривали.

Анины варежки — зеленые, шерстяные и с красными цветочками — заговорили первыми. Они не перебивали друг дружку, а рассказывали по очереди, как вежливые и воспитанные люди.

— Ох, и поработали мы сегодня! Сначала в снежки играли, потом бабу снежную лепили, — сказала правая варежка.

— А еще не дали подраться Боре и Коле. Потом за веревочку возили санки на горку и подняли упавшую в снег Танечку из младшей группы, — добавила левая варежка.

— И мы хорошо потрудились, — стали рассказывать Светины варежки. — И бабу делать помогали, и ведро принесли, чтобы булочки из снега делать, — это сказала правая варежка.

А левая похвасталась:

— А я снег отряхнула с Таниной шубки и поставила около снежной бабы метлу, и получился дядя-дворник.

— Не дворник, а снеговик, — зашептали остальные варежки.

— Ну ладно, пускай снеговик, — согласились Светины варежки.

Им было тепло и совсем не хотелось спорить. Они сладко зевнули и стали засыпать.

А вы знаете, как зевают варежки, когда греются на батарее парового отопления? Они оттопыривают большой пальчик в сторону, и это значит, что им хочется спать. Вот так они и зевают.

— Уф, как мы устали и промокли! — забормотали Борины варежки. — Даже порвались немножко, когда гвоздь хотели вытащить из забора. А потом здорово стукнули Колю, когда отбирали у него лыжные палки.

Тут остальные варежки не выдержали и заговорили враз сердито и немножко громко:

— Как не стыдно! У вас же были свои лыжные палки. Это хулиганство.

— Да-да, были, — хмыкнули Борины варежки. — Были, но деревянные. А у Коли бамбуковые. Они лучше.

— Нехорошо обижать других и драться.

Борины варежки засопели, а остальные замолчали, чтобы успокоиться немножко. Ведь шуметь в садике, когда дети спят, нельзя. И варежки отлично об этом знали.

— А мы еще морковку вытащили из головы снеговика, — вдруг хихикнула правая Борина варежка.

— И съели? — спросили Анины варежки.

— Да, отдали Боре, а он ее схрумкал.

— Ах, так! Ну и сидите на полу, — рассердились Анины варежки и толкнули их на пол.

Так они и остались лежать на полу. Мокрые, с дырками на больших пальчиках.

Остальные стали засыпать и уснули, ведь в детском саду был тихий час.

Не спали только новенькие кожаные желтые Верины варежки. Лежали они в кабинке, где висело Верино пальто. Варежки были совсем сухие. Пока вся группа играла в снежки и лепила снежную бабу, Вера все ходила и смотрела на свои новые варежки. Она очень боялась их испачкать.

Новые кожаные варежки лежали в темноте, и им было очень-очень одиноко. Ведь плохо, когда ты один и не с кем поговорить.

— И мы гуляли, — шепнули они. — Мы тоже много ходили и много смотрели. — Но их никто не услышал.

...Это случилось в детском садике, куда ходят Аня, Света, Коля, Наташа, Боря и еще много других мальчиков и девочек. А историю эту мне рассказали варежки. Чьи варежки? Об этом, ребята, догадайтесь сами.

С А Н К И

— Мама, мы сегодня пойдем в садик? — спросила я утром.

— Нет, доченька. Сегодня суббота, выходной.

— Ура! — обрадовалась я. — В выходной день можно после завтрака до самого обеда играть на улице в снежки.

Когда мы покушали, мама сказала:

— Теперь иди погуляй!

Я быстро оделась и побежала к снежной горке. Она стояла возле нашего дома. Большая-большая. А получилась эта горка так. Сначала дядя Гриша толкал снег трактором и натаскал целую кучу, потом наши папы сделали из нее настоящую горку. Еще и водой ее полили. Когда на горку заберешься высоко, становится страшно. А сядешь на санки, покатишься вниз — и хочется кричать.

Около горки стояли Аня, Света, Наташа и Боря. Боря крепко держался за веревочку, а веревочка была крепко привязана к новеньким санкам. Санки были такие новые, такие красивые, что даже блестящие.

— Ме иф фафа фадарил. Я — менинник! — говорил Боря, а мы стояли, слушали и удивлялись, почему Боря так говорит.

— Я — менинник! — опять сказал Боря.

— Не менинник, а день рожденник, — сказала Света.

— Не день рожденник, а именинник! — поправила Аня.

— У мя фафетка во лту, — сказал Боря.

Теперь я догадалась, почему Боря так говорит, и снова стала смотреть на санки.

— Давай кататься на твоих санках с горки, — предложила Аня.

— Я фам! — сказал Боря и полез на снежную горку.

Он взобрался на самый верх, сел в свои новые санки и покатился вниз. Катился и кричал:

— А-а-а-а!

— Давайте кататься по очереди. Первый — Боря, потом — Наташа, потом Света, потом Катя, — сказала Аня.

— Я сейчас, — запыхтел Боря и опять полез на горку. Он уже съел конфетку и говорил теперь правильно.

Мы стояли и смотрели, а Боря катался и катался, а нам говорил:

— Я сейчас, я сейчас...

В конце концов нам это надоело, и мы захотели сделать снежную бабу. Аня, Света, Наташа и я стали катать большие снежные мячи. Из трех таких мячей получилась снежная баба. А потом мы стали делать медведя. Мы даже про Бору позабыли и про его новые санки.

— Я тоже буду с вами играть, — сказал Боря.

— Мы с тобой не играем, — ответила ему Аня.

Боря обиделся и опять полез на горку. Он сел на санки и покатился вниз, но кричать уже не стал.

А мы стали играть в прятки, а потом в догонялки.

Боре стало скучно, и он рассердился. Сердился-сердился и стал бросать в нас снежками. Потом он заплакал и пошел домой. Он крепко держался за веревочку, а веревочка была крепко привязана к его новым красивым санкам.





В Волочаевском совхозе — сенокос.

Фото В. Садового



ЮБИЛЕЙ

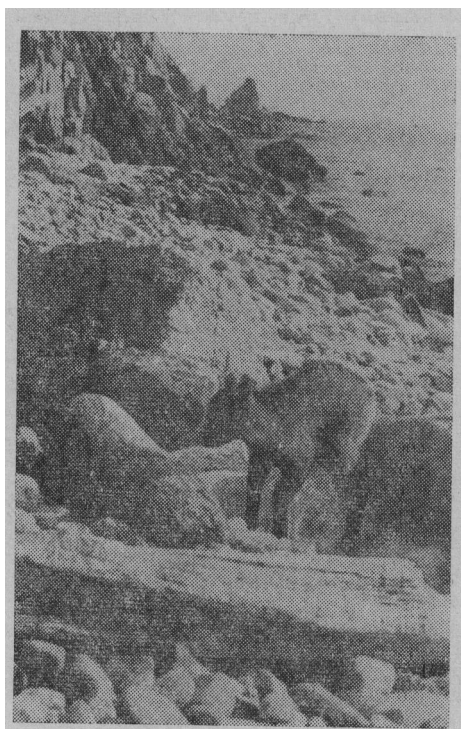
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Сихотэ-Алинский государственный заповедник отметил свое сорокалетие. Первоначально, в 1935 году, он создавался как резерват наиболее ценных и редких животных, и прежде всего соболя. Одновременно он стал охраняемым эталоном естественных ландшафтов Сихотэ-Алинской горной страны, представляющих особую научную и хозяйственную ценность.

Для заповедника выделена из хозяйственного использования территория наиболее сохранившейся елово-пихтовой тайги, кедрово-широколиственных и широколиственных лесов. В настоящее время его площадь составляет 340 200 гектаров на территории Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского районов Приморского края.

Пересеченный рельеф с абсолютными высотами от нуля у его границ на побережье Японского моря и до 1600 метров на вершинах основных хребтов обусловил вертикальную поясность в распределении растительности заповедника. Широколиственные леса в долинах с дубом, ильмом, липой, тополем и лианами при подъеме в горы сменяются хвойно-широколиственными породами с преобладанием корейского кедра, а затем и темнохвойной тайгой с пихтой белокорой и елью аякской. Выше идет криволесье из каменной березы, заросли кедрового стланика и высокогорная лишайниковая тундра.

Характерное для Приморья своеобразное сочетание северных и южных форм растительного и



животного мира наиболее полно представлено в заповеднике. Наряду с представителями северной и охотской фауны: лосем, кабаргой, бурым медведем, соболем, рысью, росомахой, зайцем-беляком и дикушей — в нем обитают южные маньчжурские виды: тигр, горал, непальская куница, или харза, гималайский медведь, енотовидная собака, маньчжурский заяц, крот, могер, полз Шренка, щитомордник. Эндемиком в заповеднике является единственная в Советском Союзе роца рододендрона Форм, произрастающая в Корею.

13 заповеднике установлено более 700 видов высших растений, в том числе 43 вида деревьев и 55 кустарников, 60 видов млекопитающих, более 320 видов птиц, 7 пресмыкающихся, около 30 видов рыб, более 600 видов бабочек, хотя изучение видового состава флоры и фауны в нем далеко не закончено.

Бесспорной заслугой заповедника является сохранение и увеличение численности тигров, соболя и многих других животных, типичных и уникальных ландшафтов и слагающих их природных комплексов Сихотэ-Алиня. Широко известны проведенные в заповеднике исследования по экологии тигра, изюбра, лося, горала, кабана, соболя, медведей, белки, птиц, насекомых, лесной и другой растительности.

По материалам, собранным в заповеднике,

опубликовано четыре сборника трудов и большое число работ в местных и центральных изданиях. Двадцать шесть книг летописей природы отражают стационарные наблюдения за годовыми и сезонными изменениями природы с момента организации заповедника.

При центральной базе заповедника в поселке Терней препаратором М. Я. Волковым создан музей природы Сихотэ-Алиня имени Л. Б. Капанова. Заповедник был участником Выставки достижений народного хозяйства, имеет почетные дипломы, медали и грамоты.

Для выполнения все возрастающих задач охраны и изучения природы Сихотэ-Алиньский заповедник нуждается в значительном увеличении его площади за счет неиспользуемых массивов тайги и зарастающих гарей к северу и северо-западу от его территории, прибрежного участка к северу от урочища Абрек и упорядочения заповедного режима в районе лагунных озер Благодатное и Голубичное. Необходимо создание охранной зоны вдоль сухопутных и морских границ заповедника. Это не только улучшит соблюдение заповедного режима на основной территории, но и создаст условия для проведения экспериментальных работ, требующих изменения уже сложившихся биогеоценозов.

Ю. МИРОТВОРЦЕВ,
кандидат биологических наук.

Спасли советские врачи

Пятнадцать дней находился на излечении в Холмской городской больнице японский рыбак Сабуро Мори. А случилось вот что.

Два японских судна вели промысел невдалеке от берегов Са-

халина. Одно из них зашло льдами. Когда другой экипаж пытался взять судно на буксир, лопнул трос, который тяжело ранил Сабуро Мори. В тяжелом состоянии рыбак был доставлен в больницу, где

ему сделали сложную операцию.

Покидая больницу после выздоровления, Сабуро Мори поблагодарил медицинский персонал за бескорыстную помощь.

«Советский Сахалин».

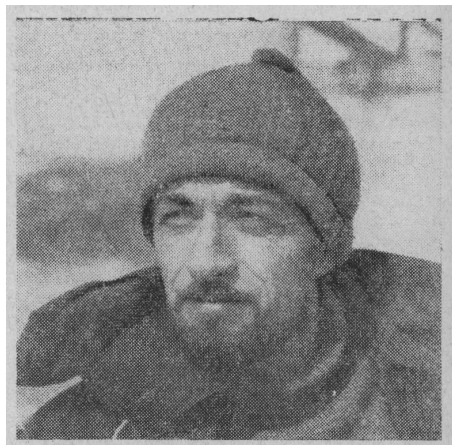
УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ

Косяки рыб шли по своему извечному пути. И вдруг они свернули. Взяли курс прямо на экспедиционную группу сейнеров. В этот день начальник экспедиции докладывал по радию с просторов океана: уловы исключительно богаты!

Мы с вами заглянули в будущий день. Насколько близкий, нам пока трудно сказать. Но борьба за этот день идет полным ходом у гидроакустиков Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. С помощью аппаратов и приборов они вслушиваются в разноголосую речь океана, фиксируют с помощью совершенной техники его звуки.

Уже несколько лет существует в районе поселка Подъяпольское их научный стационар. Один из его сотрудников — Андрей Михайлович Тихомиров (его азы видите на фотографии) почти круглый год наедине с морем, которое кажется проходящим туристам очень тихим, а ему, наоборот, шумным. Ведь он живет в мире всех его подводных звуков. Вместе с коллегами он ведет комплексные исследования воздействия физических полей на биологические объекты моря с целью регулирования их поведения.

Рекомендации ученых помогут в будущем промысловикам привлекать стада рыб и различные другие живые организмы к орудиям лова, а также производить управляемые перемещения их в пространстве. Кроме того, выводы специалистов помогут решить задачу эффективного ограждения водозаборных систем от попадания в них подводных жителей.



«В этом году здесь будет сооружен аквариальный комплекс со специальными устройствами для расширения исследования поведения рыб, — сказал нам в интервью заведующий сектором промышленной биоакустики этой лаборатории Александр Юрьевич Непрошин. — В разработке нашей новой аппаратуры для него активно участвуют студенты с кафедры гидроакустики и ультразвуковой техники ДВПИ. У нас союз науки, вуза, производства».

В. СВИРИДОВ.
Фото автора.



К вулканам на выходной

Склоны трех расположенных в окрестностях Петропавловска-Камчатского вулканов — Корякского, Авачинского и Козельского — все чаще становятся местом воскресного отдыха горожан. Сюда отправляются целыми коллективами. Многие хотят подышать чистейшим горным воздухом и... заглянуть в кратер вулкана.

В этот воскресный день на Авачинский вулкан отправились работники Петропавловского судоремонтного завода. Можете представить, сколько потом было разговоров об этом массовом восхождении!

О. ГРУЗДЕВ.
Фото автора.

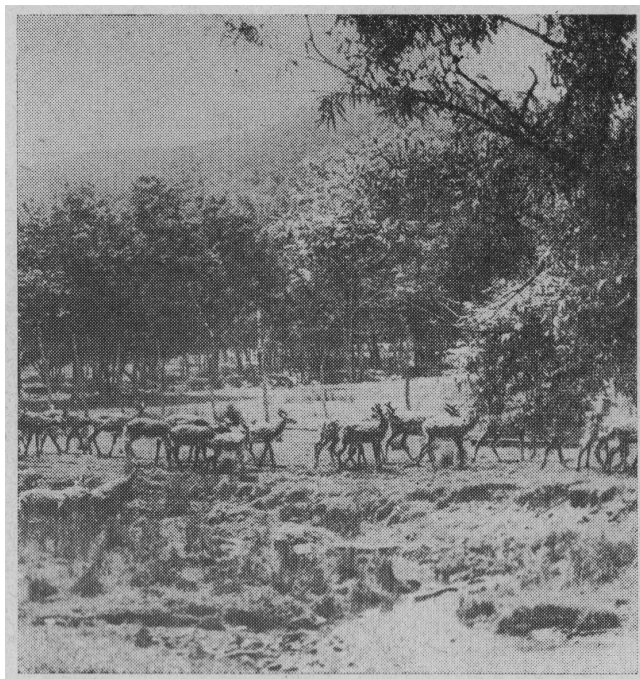
В ЦАРСТВЕ ПАНТАЧЕЙ

От Глазковки до оленефермы три километра. За поселком начинается тайга. Вдоль морского побережья — ферма, 1200 гектаров отведено. По сопкам, распадкам, увалам живут олени.

«Золото» фермы — рогачи-пантачи. Они — гордость хозяйства, дают панты, которые идут на изготовление ценного лечебного препарата — пантокрина.

В домике у речушки много уже лет живет егерь Ф. П. Сейфетинов с женой и сыном. Федор Петрович по-настоящему таежник-следопыт, страстный охотник. Тайга для него дом родной. В ней он хозяин, друг и защитник оленей.

С проблеском утренней зари начинается рабочий день у егеря. Федор Петрович седлает лошадку, берет винтовку и отправляется в свой обычный сорокавосемиклометровый обход. В прошлый раз видел следы тигра. Близко, к самой сетке, зверь подходил. Опасается егерь, как бы беды не вышло. Потому и торопится он в то самое место, к скалам. Метр за метром осматривает он ограду. Вот барсук подскоп сделал. Надо подправить. Много неприятностей доставляет рысь. Через сетку запросто перемахивает. Приходится егерю высеживать, чтобы избавиться от нежеланной гостии. И так каждый день. Тайга есть



тайга. И надо быть бдительным, чтобы сберечь оленье стадо.

В полдень на горной дороге слышится громохание трактора, и сразу же к кормушкам цепочкой бегут олени. Они знают, что трактор везет корм, вот и торопятся на обед. Сейчас на ферме

более тысячи оленей, из них более половины — пантачи.

На лужайке спокойно пасутся олени. Здесь им нечего опасаться. А к людям они давно привыкли. Да и охрана у них надежная.

И. ШИМАНСКИЙ.
Фото автора.



ДРОЗДЫ

Дрозды играют свою особую роль в жизни леса. Они чаще всего кормятся на земле, собирая насекомых не только с поверхности, но и добывая их из лесной подстилки и верхних слоев почвы. Особенно охотно дрозды копаются в сырых листьях на подсыхающих лужах, где находят личинки комаров и различных слизней.

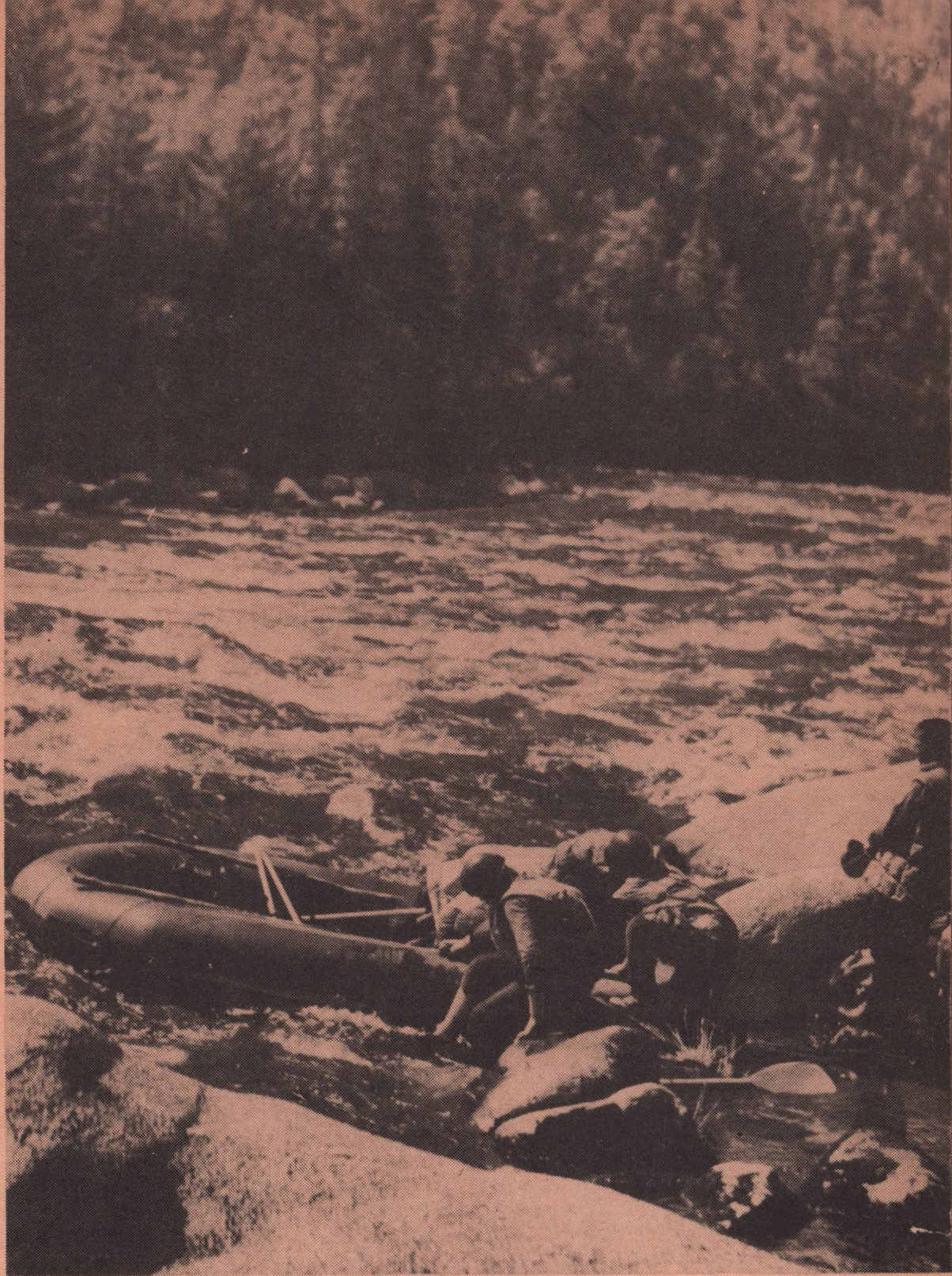
Осенью у дроздов меню разнообразнее. Питаясь окуклившимися насекомыми, они периодически переключаются на ягоды. Но и от этого тоже только польза. Семена ягод, проходя через кишечник птицы, не теряют всхожести и расселяются на большие расстояния.

Только крепкие морозы и снег заставляют дроздов улетать на зимовку, но они весной прилетят раньше других певчих птиц, как только появятся на лесных полянах проталины и станет доступной лесная подстилка.

На Дальнем Востоке обитает семь видов дроздов: сизый, бледный (он изображен на нашем снимке) и лесной каменный на юге, пестрый, сибирский и так называемый дрозд Науманна в северных районах и синий каменный, встречающийся у скалистых берегов морей.

В. ПОТОМКИН
Фото автора.





Изыскатели БАМа

Фото В. Знаменского

50 коп.

ИНДЕКС
73103